

Енисей

№ 1
2013



Красноярский краеведческий
и литературно-художественный альманах



Енисей

№ 1 * Красноярский краеведческий
2013 и литературно-художественный альманах

Владимир Шанин главный редактор

заместители
главного редактора:

Марина Саввиных по поэзии
Тамара Булевич по прозе

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

- Александр Астраханцев прозаик, председатель
Красноярского отделения
Литературного фонда России
- Владлен Белкин поэт
- Иван Булава прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии
- Владимир Замышляев кандидат филологических наук,
профессор, публицист
- Анатолий Зябрев прозаик, публицист
- Алексей Мещеряков поэт, прозаик, публицист,
председатель правления
Красноярского регионального
отделения Союза писателей России,
секретарь правления Союза
писателей России
- Анатолий Третьяков поэт
- Александр Щербаков поэт, прозаик, заслуженный
работник культуры РФ
- Анатолий Янжула прозаик



Красноярск
ИД «Класс Плюс»

ББК 84 (2 Рус Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке Министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

В оформлении обложки использованы
фрагменты картины Бориса Рязова
«Земля фронтовая».

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев

Подписано в печать: 09.08.2013
Тираж: 999 экз.
Формат: 70×100 16
Объём: 16,9 0,65 вкл. усл. печ. л.

Отпечатано в ИД «Класс Плюс»
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65
(строение 23) | т. 259 59 60

Содержание

ОТ РЕДАКЦИИ

Владимир Шанин *раздник со слеза и на лазах* 5

ОСТРОВА

билеи е уар краеведение

Виктор Астафьев *рден с ерти* 7

Владимир Замышляев *ро кий оло с и боль ое слово* 10

Александр Астраханцев *о те етре Коваленко* 15

Пётр Коваленко *Так б ло* 16

Лидия Рождественская *Керосиновая ла а*

Нин Шал иной 21

Нина Шалыгина *ронтов е баллад* 23

Геннадий Сысолятин *ерв е стихи и ерв й бой* 33

Александр Астраханцев *Не ая белая тица* 40

Александр Матвейчев *Моя еликая течественная* 56

Владимир Нестеренко *аветное желание* 79

Марат Валеев *изнь и необ кновенн е*

рикл чения Бориса до ина 84

Иван Булава *ероический рейс* 91

ДОМ ИСКУССТВ

культура и искусство Красноярья се одна

Марина Саввиных *Сtereo етрия*

литературной жизни 101

ВОЛНА И ЛИРА

о зия

Владимир Зыков *С аси и сохрани* 131

Виталий Пырх *ро ав ий солдат* 135

Анатолий Третьяков *Та жная весна* 139

Екатерина Сергеева *Лис нок в сердце* 145

НА СТРЕМНИНЕ

роза

Эдуард Русаков *Без вести ро ав ий* 147

Зинаида Кузнецова *День ан ела* 154

Тамара Булевич *Исцеление тай ой* 162

Виталий Пшеничников *Клятва* 179

Сергей Кузнечихин *Из рассказов етухова*

Алексея Лукича 190

ШИВЕРА

ублицистика

Александр « ербаков *оболь е ордости* 199

Владимир Шанин

Праздник со слезами на глазах

Вы взяли в руки очередную книгу обновлённого альманаха «Енисей». Номер посвящён празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию Сталинградской битвы, после которой Красная Армия начала своё триумфальное шествие к Победе.

Сегодня это великий, торжественный, счастливый праздник, праздник «со слезами на глазах», теперь уже самый большой и яркий памятник великому советскому народу, одолевшему фашизм. И слёзы радости — тому подтверждение.

Я помню тот счастливый день — 9 мая 1945 года. День был тёплым, солнечным. Мимо станции Красноярск шли и шли воинские эшелоны. Двери теплушек — «столыпинских» вагонов, украшенных цветами и зелёными ветками, — распахнуты настежь, и воины с сияющими лицами сидели, свесив ноги, и стояли, грудью подперев перекладину. Они — победители! И хотя ехали не домой, а на другую войну, на Дальний Восток, — и всё равно были счастливы: они пели, смеялись, что-то выкрикивали и махали нам руками. Что-то кричали и мы, подпрыгивая, приветствуя воинов, щедро получая от них то буханку хлеба, то кусок сахара, то немецкую шоколадку, даже гитлеровские марки. А мы, голодные дети, прятали подарки за пазухой, чтобы дома отдать матерям.

Праздник продолжался, стихийно возникая то здесь, то там; возле каждого дома, барака, на улицах и площадях люди пели, плясали, целовались, и не важно, свой или чужой целует тебя, — все тогда были родными друг другу, все были как одно целое. И слёзы радости впервые за четыре года страданий — явление в тот день необычное: даже утрата родных и близких в этой войне не могла омрачить Праздника.

И сегодня праздничная книга альманаха «Енисей» заполнена очерками, рассказами, стихами, отражающими то далёкое, памятное для нас, нынешних, время. Вы прочтёте одну из «затесей» Виктора Астафьева — «Орден смерти» — с подзаголовком «Письмо фронтовика». Эта короткая, по-астафьевски яркая, образная миниатюра представлена такой сценой: убитый фашист, смертный жетон, который фронтовик отослал в музей войны. Казалось бы, что тут особенного? Но Астафьев не был бы Астафьевым, если бы не завершил свою «затесь» следующим замечанием: «орден смерти» должен быть напоминанием «о безумии человеческого, в которое оно впадает не по разу в каждое столетие земного существования».

Поэтический рассказ ещё одного фронтовика из Абакана, Геннадия Сысолятина (1923–2003), «Первые стихи и первый бой» — о том, как он, молодой офицер, между жаркими боями писал стихи. «И вот уже полвека пишу стихи о Сталинградской битве», — признался позднее он, уже известный в России поэт, член Союза писателей СССР.

Я вижу себя и своих годков
В той битве за Сталинград.

Праздник Победы продолжается — праздник «с сединою на висках» каждый год шагает по планете в одно и то же время, 9 Мая. Нет человека, которого не затронула бы война: победа над фашизмом — это и его победа. Мы празднуем этот день, только всё реже и реже — «со слезами на глазах»: привыкли... И сегодняшнее старшее поколение — дети войны — другими глазами видит сцены ужасной человеческой трагедии, по-своему оценивая её уроки. Стоит лишь прочесть рассказы Эдуарда Русакова, Александра Астраханцева, Владимира Нестеренко, Александра Матвейчева, Нины Шалыгиной, Виталия Пшеничникова, Ивана Булавы и других прозаиков, помещённые в альманахе. Той же цели служит и поэзия, в которой и боль утраты близких, и вера в доброе, прекрасное, и безмерная радость оттого, что мы победили, и ярко выраженное патриотическое чувство за свою Родину, за её героический народ.

Виктор Астафьев

Орден смерти

Письмо фронтовика

Пришло письмо от ветерана Отечественной войны — туляка, в письме лежала тонкая, невзрачная, тускловатая алюминиевая пластинка овальной формы. На пластинке можно прочесть клеймение: в самом низу овала выбита буква «А». С волнением прочёл я сопроводительное письмо фронтовика:

«23 апреля 1944 года, после госпиталя, я пробирался на перекладных в свою воинскую часть, от станции Великие Луки до Ново-Сокольников, что в необъятной Калининской области.

Часть пути мы ехали поездом с паровозной тягой. Повсюду, куда ни кинешь взор, страшные следы войны: дотла сожжённые полустанки и будки, разбитая военная техника, взорванные, в необозримом хаосе валяющиеся около путей вагоны, опалённые, искорёженные пристанционные деревья, поваленные телефонные столбы в путанице проводов, скромные столбики надмогильников — памятников с обязательной красной пятиконечной звездой из жести — или печальные, с наклоном, православные, грубо обтёсанные топором кресты.

И полное безлюдье...

Наш воинский состав, состоящий из товарных полуразбитых вагонов, так называемый «пятьсот весёлый», двигался еле-еле, постукивая на стыках рельс, — паровоз топился сырыми дровами. Едва дотянув до Плескачёвской будки, наш тихоходный эшелон, испустив дух, устало загремел буферами: кончились дрова.

Последовала команда: «Всем в лес, на заготовку дров для паровоза!..»

Пассажиры, вооружившись пилами, топорами, — народ в основном военный — высыпали из теплушек и направились в густой смешанный лес, который начинался сразу же за железнодорожным полотном. Мы — небольшая группа офицеров-попутчиков — быстро уходили в глубь леса. На всякий случай, соблюдая осторожность — война была рядом, мы решили в своей полосе тщательно осмотреть близлежащую местность, так как ранее слышали о «бродячих» фрицах, которые разбежались при отступлении.

В лесу всё дышало покоем, пробовали голоса первые весенние птички, где-то далеко барабанил дятел, сильно пахло хвоей и прелыми листьями. Воздух был и чист, и свеж. Лучи робкого солнца ласково согревали землю, истерзанную войной. Стояла оттепель, и снег заметно протаивал, шумно обрушиваясь под тяжестью военных ботинок.

Весна, невзирая на войну, вступала в свои права.

Соблюдая осмотрительность, мы всё дальше уходили в лес. Неожиданно шедший впереди громко крикнул: «Ребята! Смотрите: мёртвые немцы!» И верно, недалеко от лесной тропинки, по которой мы шли, в яме, похожей на воронку от крупной авиабомбы, в самых различных позах, как застала их смерть, лежали пять немецких солдат, пять замёрзших трупов.

Мы подошли ближе к кромке ямы, которая со всех сторон была окружена высокими темно-зелёными разлапистыми мрачными елями, припорошёнными шапками белого пышного снега. Снег в яме и на трупах ещё не растаял и прикрывал мертвецов, будто одеялом. Погибшие лежали как на леднике и хорошо сохранились, никем после гибели не тронутые, в полной своей полевой форме.

Поражённые страшной картиной, мы долго молчали, стоя у лесной могилы, ставшей по злой воле войны последним прибежищем фашистских солдат. Кто знает, как и когда разыгралась ещё одна из бесчисленных трагедий войны. Свидетелей не осталось, а молчаливый тёмный лес умеет хранить свои страшные тайны.

Хорошо помню, бросилась мне в глаза одна деталь, поразила моё воображение: мертвецы, видимо, тяжело раненные, были очень небрежно, неумело и, наверное, второпях, наспех перевязаны грязными бинтами. У каждого солдата виднелась на шее, на тонком шёлковом шнурке, алюминиевая бирка-пластинка, о назначении и устройстве которой я узнал позднее. А в тот момент мне невольно подумалось: на родине погибших, там, в далёкой Германии, никогда не узнают, где встретили свой последний, смертный час солдаты вермахта — отцы и сыновья, семьи которых будут долго и безутешно плакать и ждать. Плакать и ждать погибших не за правое дело в лесных русских дебрях...

Мне запомнился один из убитых — атлетически сложенный светловолосый солдат средних лет с породистыми чертами красивого крупного мужского лица. Его широкая грудь, прикрытая внакидку серо-зелёным мундиром с оторванными погонами и чёрно-красной муаровой лентой на борту куртки — знаком «За зимовку в России», была такая награда в гитлеровской армии, — была перевязана крестнакрест серо-грязными бинтами, которые спереди потемнели от запёкшейся крови.

Мертвец лежал на боку, и алюминиевый жетон на тонком шнурке свешивался с шеи великана. Я долго смотрел в открытые голубые глаза убитого войной немца, которые были устремлены в высокое голубое небо, и тихо сказал, более себе, чем стоявшим рядом товарищам: «Судите меня, люди, суди меня, Бог», — вынул из ножен чёрный армейский нож-финку и... одним движением срезал шнурок с жетоном. «Потомкам на память», — сказал я своим попутчикам.

Так оказался смертный жетон неизвестного солдата в 1944 году накрепко вшитым в мой фронтовой дневник, который я, вопреки

известному запретительному приказу Генштаба, вёл всю войну шифром, известным лишь мне одному. «Конструкция» этого жетона весьма продумана и представляет собой следующее: внизу и вверху пластинки выбиты клеймами по-немецки сокращённое наименование воинской части, в которой служил солдат вермахта, и его личный номер. В середине жетона расположены три узких продолговатых щели для того, чтобы при необходимости можно было его быстро, без особых усилий разломить на две равные половинки. Кроме того, на обеих частях жетона были пробиты отверстия небольшого диаметра — для хранения в военном архиве.

Бирка строжайше носилась на шее каждого немецкого солдата и была своеобразным солдатским «орденом», который германский вермахт вручал каждому военнослужащему, отправленному в действительную армию. В случае гибели товарищи погибшего тут же, на поле боя, обламывали одну половинку жетона и предъявляли её в воинскую часть как свидетельство смерти солдата «за фатерлянд»...

Вторую половинку смертного жетона могла снять с покойного только похоронная команда. Таким образом, в гитлеровской армии, кроме обычного списочного учёта в подразделениях, убитые ещё дважды учитывались овальными бирками.

И здесь с железной обязательностью неумолимо действовала известная немецкая пунктуальность: « » і » » — «порядок есть порядок».

Сей немецкий орден я отослал в музей войны как напоминание о безумии человечества, в которое оно впадает не по разу в каждое столетие земного существования».

Владимир Замышляев

Громкий голос и большое слово

Памяти писателя А. И. Чмыхало

На юбилеях и похоронах писателя выступающие с речами всегда что-то преувеличивают в достоинствах живущего или умершего. На поминках, конечно, не принято хулить «образ» усопшего, и провожать его в физическое небытие желательно с благодарностью ему за сделанное им при жизни. По истечении некоторого времени память о покинутом нас человеке успокаивается. Оставленное им наследство просматривается и оценивается в равновесии с отрезком времени (хотя время неделимо) его актуального присутствия среди живых. И возникает желание поделиться воспоминаниями о том, кого знал, исходя из собственных наблюдений, не преследуя никакой корысти. Всегда хочется правды, несмотря на то что и она не абсолютна.

Анатолия Ивановича Чмыхало я помню «громким человеком». Крупное телосложение, зычный голос с актёрскими модуляциями, публичными ораторскими приёмами — это человек, порождённый советской эпохой: Великой Отечественной войной 1941–1945 годов, послевоенным возрождением, великими новостройками в стране, в Сибири, на земле Красноярья. Герои того времени все были величественными, напористыми, пафосными патриотами («на виду») — не то что нынешнее племя, мелкое и робкое. Слабых людей на больших должностях не держали. А фронтовик Анатолий Чмыхало тринадцать лет «твёрдой рукой» руководил Красноярской писательской организацией и проводил «линию партии» на этом поприще довольно решительно, иначе бы его при «руководящей и направляющей силе» одной партии не потерпели так долго в роли ответственного писательского лидера. И сама писательская организация в крае, как и Союз писателей СССР в стране, считалась проводником коммунистической идеологии, высоко ценилась за способность влиять на умы и сердца людей, на их мобилизацию на труд и подвиг «во имя светлого будущего». Исторически справедливо рассматривать «совковых» писателей как созидателей великой страны, её художественных летописей и образов. По словам Александра Твардовского, «тут ни убавить, ни прибавить, — так это было на земле». Только глупо полностью отождествлять художественную литературу и политику. Мы так не думаем. И этого никогда не было. Великий Советский Союз как политическая организация распался, но художественная литература, рождённая в бурях и буднях его бытия, осталась. Наступает время, когда её снова будут перечитывать.

Как руководил А. И. Чмыхало писательской организацией, я мог наблюдать непосредственно в 1975–1976 годах. Я работал инструктором в отделе культуры Красноярского крайкома КПСС. В мои обязанности входило курирование творческих союзов писателей, художников, театральных деятелей и других. И сам А. И. Чмыхало, и организация под его руководством жили и работали, содействуя общественным и экономическим преобразованиям в крае, постоянно встречались с читателями в городах и рабочих посёлках, в сельских районах, на новостройках и полевых станах. Как писал Анатолий Третьяков, он однажды ночевал в сельском клубе и «спал на столе президиума», а сельские доярки поили его парным молоком «вместо гонорара». В общежитиях рабочих КраЗа действовал литературный лекторий, где нередко выступал писатель А. Е. Зябрев. Подобных примеров в истории тех лет не перечислить.

Писателей знали во всех уголках края, их зазывали на встречи, относились к ним как к людям, несущим свет, добро и правду. Общественный авторитет писателей был необычайно высок. Этому способствовал и литературный альманах «Енисей», выходявший большими тиражами и не залёживавшийся в книжных киосках и магазинах. Главным редактором альманаха был А. И. Чмыхало. Его жена Валентина Никифоровна работала заместителем директора краевого книготорга, помогала писателям, Красноярскому книжному издательству в распространении художественной и другой литературы по всему краю.

Не могу не рассказать об одном интересном событии, в котором А. И. Чмыхало и я вместе участвовали. В очередной раз на литературные «Енисейские встречи» приехало со всей страны сто писателей! Такой, прямо скажем, непростой «боевой десант». Надо было всех встретить, устроить, организовать поездки по краю для встреч с читателями, накормить, напоить...

Самая большая группа писателей отправлялась на юг края, в Шушенское, на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Общественная жизнь в месте ссылки В. И. Ленина была «под градусом» встреч с писателями. Над некоторыми из них сибиряки Шушенского района дружески посмеялись. Сильва Капутикян, замечательная поэтесса из Армении, привезла в своём чемодане зимнее тёплое пальто, а «Енисейские встречи» проходили в летнее время. Мать напугала Сильву: «Ты же в Сибирь едешь, там всегда холодно...» Сильва Капутикян убедилась в том, что Сибирь бывает и жаркой, и вместе с шушенцами смеялась над собой.

Ответственными за эти «Енисейские встречи» были А. И. Чмыхало, как «вождь» писательской организации, и я, как инструктор, с важным поручением от партийного комитета — «не потерять писателей» и мобилизовать местные партийные организации на обеспечение пребывания десанта писателей «в гостях» на берегах Енисея.

Из Шушенского мы с писателями двумя автобусами переехали в город Минусинск и Минусинский район. На границе двух районов, Шушенского и Минусинского, наше «явление» встречала группа знатных людей Минусинска и района во главе с первым секретарём райкома КПСС, Героем Социалистического Труда Н. В. Евсеенко. После общественной встречи в Минусинске писатели группами разъехались по району и встречались с тружениками сельского хозяйства в колхозах и совхозах, на полях и в клубах. А вечером все вернулись, собрались и встретились с руководством города Минусинска и района на банкете в сосновом бору, недалеко от города. Состоялась необычайное заседание за основными столами, под звёздами, при нарастающем гуле говорящих, произносящих небывалые тосты на русском языке и на языках всех народов СССР — из Белоруссии, Прибалтики, с Украины, Кавказа, Поволжья... Думское заседание писателей удалось на славу!

Уже за полночь А. И. Чмыхало и мне предстояло главное: действительно никого «не потерять» в лесу, собрать опять в автобусы и увезти в Шушенское, где была новая гостиница, способная вместить всех писателей. Когда поехали, то минусинцы вручили А. И. Чмыхало два новоиспечённых каравай хлеба. Его вкусный запах я, кажется, никогда не забуду. А. И. Чмыхало сидел рядом с водителем автобуса, лицом к писателям в салоне, держа каравай хлеба в могучих руках. Духмяный запах хлеба возбудил писателей, и они закричали: «Хлеба, хлеба!» И получилось зрелище! А. И. Чмыхало стал отрывать куски от караваев и кидать их в салон. Писатели ловили хлеб и вкушали! Ко времени приезда в Шушенское караваи были съедены и признаны лучшим хлебом в мире!

Когда в одном месте собирается такое большое количество писателей разных национальностей, талантов и амбиций — «на гениальность», то управлять их «движением к массам и обратно» очень непросто. Думаю, что только твёрдая воля А. И. Чмыхало, его умение ладить и с партийными секретарями, и с разноязычными писателями, душевное дружелюбие по отношению к людям помогали организовывать и проводить в крае такие большие общественно-литературные акции. И вообще, в те годы Красноярская писательская организация всегда была на виду и на слуху у населения края, ибо все жили под песенным лозунгом: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». И надо благодарно помнить о роли А. И. Чмыхало, крупного человека и писателя, о значительном вкладе в ту «кипучую, боевую жизнь».

После 1976 года произошла смена в руководстве Красноярской писательской организацией. Скажу откровенно, что среди писателей (любое творчество не бесспорно) бывают трения и конфликты, разногласия поколений, возникновение среди ветеранов литературы молодой поросли писателей. Красноярская писательская организация значительно увеличилась числом и уменьем. Наряду

с писателями фронтового поколения (А. И. Чмыхало, И. Сибирцев, Н. Волков, И. Назаров, Н. Шагурин, И. Пантелеев, К. Шней-Красиков, М. Перевозчиков, Н. Мамин, И. Уразов, А. Зябров) подросли молодые писатели В. Назаров, З. Яхнин, Р. Солнцев, А. Третьяков, В. Белкин, А. Фёдорова, А. «ербаков, А. Ероховец, потом В. Шанин, С. Павлов, О. Корабельников, С. Задереев, О. Пащенко, В. Ермаков, С. Кузнечихин, Н. Ерёмин, Э. Русаков, А. Астраханцев, М. Успенский, А. Мещеряков и другие. Молодые талантливые писатели всё более овладевали вниманием читателей, много выступали и печатались в Красноярске и в Москве.

При «смене власти» в писательской организации — от А. И. Чмыхало к Н. И. Волокитину — я участвовал в роли куратора от краевого партийного комитета. К этому времени уже не было в Красноярске известного Алексея Черкасова, уехавшего в Симферополь. И наметился переезд из Вологды в родную Овсянку В. П. Астафьева, чем и было обусловлено переизбрание руководителя Красноярской писательской организации. Писателя Н. И. Волокитина, литературного уроженца села Казачинское, мы уговорили переехать из Томска и стать руководителем организации писателей в Красноярске — ради переезда в родные места В. П. Астафьева, что и было сделано при поддержке большинства писателей.

А. И. Чмыхало сильно переживал свою отставку. Утром, идя на работу в крайком КПСС к девяти часам, я видел его, стоящего под елями перед краевым партийным комитетом, очень взволнованным. Он ожидал меня. Я приглашал его пройти вместе в здание крайкома КПСС, на «идеологический» этаж, где мы подолгу беседовали о «текущем моменте». Я успокаивал его и говорил, что через тринадцать лет правления он может и отдохнуть от этой службы, что у него будет больше свободного времени и он напишет новые романы.

Он действительно написал роман «Отложенный выстрел» и потом другие произведения.

После 1991 года и особенно после 2001 года А. И. Чмыхало стал представлять себя как «жертву советского режима», что не соответствует действительности. Да, пострадал от цензуры его роман «Половодье» с образом адмирала Колчака, но иной политической оценки романа «Половодье» и быть не могло в стране, победившей в Гражданскую войну армии белогвардейцев. Адмирал Колчак, погубивший немало людей в Сибири, в Красноярском крае, и до сих пор не является в среде красноярцев героем и образом гражданского вдохновения. Его информационный, художественный, кинематографический культ — надуманный, политически конъюнктурный.

Крепкая дружба А. И. Чмыхало с главой администрации Красноярска П. И. Пимашковым подтверждает, что оба они были, по сути, всё-таки «совковыми». На прощании с телом покойного А. И. Чмыхало в Доме учителя П. И. Пимашков назвал несколько раз своего

друга-писателя «великим». Это, конечно, преувеличение. В сравнении с В. П. Астафьевым даже Алексей Черкасов не тянет на такое возвеличивание, хотя его трилогия — «Хмель», «Конь рыжий», «Чёрный тополь» — постоянно переиздается в России.

Будем справедливы по отношению к А. И. Чмыхало в том смысле, что он остаётся в нашей памяти крупным советским писателем с характером сибиряка, патриотом Красноярья, гражданином своего времени, знатоком истории Сибири, её переселенческих поколений, свободолюбивых устремлений. Не будем преувеличивать, но не будем и преуменьшать его заслуг перед красноярской литературой, перед писательской организацией, в целом перед культурой и общественной жизнью Красноярского края. Будем помнить Анатолия Ивановича Чмыхало и читать его книги в прозе, в стихах, в мемуарах.

Александр Астраханцев

О поэте Петре Коваленко

Ушёл из жизни, три с небольшим месяца не дожив до своего девяностолетия, старейший писатель Красноярья, член Союза писателей России, поэт Пётр Павлович Коваленко. Родившись в Ужурском районе Красноярского края в день Петра и Павла — 12 июля 1923 года, он прямо со школьной скамьи вместе со всем своим классом с первых же дней Великой Отечественной войны отправился на фронт добровольцем и, начав войну рядовым, закончил свою «военную карьеру» командиром разведроты. Инвалид ВОВ второй группы; имеет шесть боевых орденов и медалей.

Для меня Пётр Павлович всегда был образцом стойкости русского солдата, который в огне не горит и в воде не тонет, причём — в прямом смысле: год его рождения был самым «убойным» в той войне, и то, что Пётр Павлович выжил в той мясорубке, «отсиживаясь» в окопах на передовой линии, частенько ходя и в разведку, и в атаки, и будучи четырежды раненным (причём последнее ранение — тяжелейшее, в результате которого было удалено более половины искромсанного кишечника), — иначе как чудом не назовёшь.

Вернувшись домой, он почти всю жизнь прожил на станции Крутояр Ужурского района и, несмотря на инвалидность, страдая от ран, сорок семь лет проработал на Красноярской железной дороге. Ветеран труда; имеет трудовые награды.

Живя там вместе с семьёй в деревянном домишке без всяких удобств, он держал корову, собственноручно таскал воду, дрова и уголь, топил печь, копал огород; при этом был ещё и страстным рыбаком и охотником. И то, что его природный поэтический талант пробил себе дорогу в профессиональную поэзию, находясь в деревенской глуши, в полном творческом одиночестве, вдали от крупных культурных центров, иначе как вторым чудом не назовёшь — только это, скорее, уже не чудо, а результат многолетней, многотрудной, каждодневной духовной работы над собой.

Он много писал о войне, причём каждая строка его стихотворений, посвящённых ей, дышит необыкновенной правдой, оплаченной собственной кровью. В. П. Астафьев считал его одним из лучших русских поэтов, писавших о войне. Но, ко всему прочему, был он ещё и глубоким и тонким лириком, много писавшим и о страстной любви к женщине, и о нежной любви к своей малой родине — Причulyмью.

Пётр Коваленко
Так было

* * *

Иду один я вечером.
Вокруг горят снега.
Где вы, друзья-разведчики
Сто пятого полка?
Вы помните под Вязьмою
Расстрелянный лесок,
Снарядами распаханый
Кровавый пятачок?
Что было вам намечено —
Всё сделано сполна.
Где вы, друзья-разведчики?
Ответом — тишина.
Ракетами расцветенный,
Горел под нами снег.
Но шли вперёд разведчики,
По пояс шли в огне.
Под Харьковом, под Оршею,
В Карпатах голубых
Лежат друзья надёжные
В доспехах боевых.
Чернявые и русые,
В неполных двадцать лет
Легли за землю русскую,
За всех держа ответ.
Тревожное Отечество
И верность сберегли.
А вот себя, разведчики,
Сберечь вы не смогли.
Что было нам намечено —
Всё сделано сполна.
Зову друзей-разведчиков.
Ответом — тишина.

алла а о л

Мы, признаться, боялись ходить по окопам:
От землянки к землянке — как между ножей.
Притаившийся снайпер без промаха шлёпал
Меж бровей.

Сколько можно такое терпеть!
Уходили ребята в засаду.
А ночами мы их хоронили молчком.
И давила гнетущая тяжесть солдата
Под соском...
Пять ночей и пять дней
Я лежал, притаившись за камнем.
Я — охотник,
Меня научила тайга:
Если надо — недели сидеть в ожиданье,
Если бить — только в глаз,
Чтобы — наверняка.
На шестые...
Чуть свет посерел на опушке,
Я заметил, как дрогнула ветка куста,
И короткую песнь оборвала кукушка
Неспроста.
Чуть сверкнуло стекло...
Хватит! Время не терпит!
Ведь недаром навскидку я бил из ружья.
Полсекунды всего
Между жизнью и смертью
Он помедлил...
Жизнь выиграл я.

* * *

Мы ушли из школы
В маршевые роты.
От доски — в окопы,
В родинках чернил.
Не росой июльской,
А солдатским потом,
Не водой, а кровью
Я в боях их смыл.

* * *

Стою на кромке жизни, как на полюсе,
И вспоминаю прошлое. Зачем?
Никто мне не подаст ни рук, ни голоса —
Огромный мир безжалостен и нем.
В последний путь мне ничего не надо;
Сгорит костром прощальный мой закат.
Оставлю всё — и книги, и награды, —
Пусть обо мне ещё поговорят.
Возьму с собой в могилу только шрамы —
Их на земле хватает без моих...
Костёр заката гаснет, гаснет пламя,
И зимний лес таинственно притих.

* * *

Я получил твоё письмо.
Оно меня прожгло, как пуля,
И больно память всколыхнуло,
Как будто крепкое вино.
И засочились кровью раны.
Средь ночи, как в наркозных снах,
Жену зову на помощь, няню,
Бьюсь в чьих-то трепетных руках.
И, пересилив шок, по полю
Спешу с такими же, как сам,
На смену доблестным героям,
Подмогой братьям и отцам.
Нас на войне не берегли,
И мы не береглись как надо:
Мы в полный рост в атаки шли
И облетали листопадом.
Как много-много гибло нас!
Вот с ним ползли мы к доту рядом.
И на моих глазах фугас
Попал в него —
И нет солдата.
Меня слепили, как Адама,
Из груды грязи.
Вот — живу.
И что ни ночь,
К горящей Вязьме
Спешу — и брежу наяву.

* * *

Опять до света не сомкнул я глаз —
Не от безделья,
Не хандрой опутан:
Ночную тишь на клочья рвёт фугас,
И бьют фашисты беглым из орудий.
Мы, распластавшись прямо на снегу,
Лежим всю ночь.
Вперёд — никак, ни шагу.
И я, как штык,
В уме точку строку,
Чтоб в трудный час
Вдохнуть в друзей отвагу.
И пусть меня ругают невпопад
За рифмы неудачные и темы —
Я чувствую дыханье,
Пульс солдат
И, как умею, топаю со всеми.
И чей-то стон,
И чей-то крик души
Меня в который раз навывлет ранит.
Я слышу павших голоса: «Пиши!..» —
И с песнями иду, живые, с вами.
И годы, словно мины, шелестят,
И глаз я не смыкаю до рассвета.
Да если б я не жил судьбой солдат,
То никогда не стал бы я поэтом!

* * *

Не всех война в могилы уложила,
Ведь кое-кто, как я,
В бинтах пришёл домой.
Пока во мне
Кипит хоть капля силы —
Я памяти бессменный часовой.
Не претендую на пустую славу,
Беру за нотой ноту,
Как редут.
И буду петь без фальши ртом кровавым,
Пока убитые не оживут.

* * *

Не приходите плакать на могилы,
Не убивайтесь в столах и мольбе.
Мы мало жили,
Очень мало жили,
Но нашей позавидуют судьбе.
Не приклоняйте головы седые
К пожухлым травам...
Наш — другой удел.
Мы были и остались молодыми,
И тленье не коснулось наших тел.
Не мы, а время
Нам покорным стало.
Что годы?
Ветер!
А эпоха — миг!
Венками прошумят у пьедесталов
И прошуршат томами новых книг.
На смену им, теснясь, придут другие
И будут петь
И пить в помин вино.
Мы с ними рядом встанем, молодые,—
Ведь смертью нам бессмертие дано.
Так не ходите плакать на могилы,
Не убивайтесь в столах и мольбе.
Мы мало жили,
Очень мало жили,
Но нашей позавидуют судьбе.

* * *

Зачем обманывать себя?
Мы знаем цену
Сталинским победам.
Кровавей битвы
Не было и нету.
Вновь повторить —
Расколется земля!

Лидия Рождественская

Керосиновая лампа Нины Шалыгиной

Символом её жизни была неугасимая керосиновая лампа. Фитиль с трепетным огоньком поэзии освещал пространство её письменного стола, источая знакомый с детства запах и погружая в воспоминания, которые, ложась на чистые листы бумаги вязью кириллицы, становились строчками стихов, то наивных, то женственно-чувственных, то философски осмысленных, наполненных мудростью прожитых лет, сладким и горьким опытом бабьей доли и скрупулёзностью деталей, так свойственной историкам. Нина Александровна Шалыгина по одной из своих профессий была историком-архивистом, и, видимо, эта её юношеская страсть то и дело давала о себе знать. И, как никакая другая из человеческих страстей, что были ведомы этой увлекающейся женщине на долгом жизненном пути, усаживала её к компьютеру. Писать и переписывать главную книгу жизни, где каждая строка была данью предкам — семье, породившей её на свет. Два объёмистых тома стали итогом её труда: «Царский подарок» — так называется эта книга. И был бы третий, она не раз говорила, что работа над ним отнимает у неё все силы, но отложить её, а тем более оставить она не может — ради внуков своих и правнука; разбросанных на просторах бывшего Союза родственников. Как скорбно осознавать, что архивные документы, страницы черновиков никогда больше не узнают прикосновения её рук. И всем её замыслам не суждено сбыться.

Примерно за неделю до ставшей теперь для нас печальной даты мы говорили с Ниной Александровной по телефону и даже договорились встретиться — вот только она выйдет из больницы. Такое уже случалось в наших почти соседских отношениях с тех пор, как она переехала из любимого своего Зеленогорска в Красноярск, в Академгородок. Но не теперь...

Нина Шалыгина была героиней моей передачи «Просто женщина». И я помню её порывистой, совсем не сидящей на одном месте, в её уютном, от потолка до пола увешанном картинами сына доме, где она жила, писала стихи и разговаривала с белым попугаем Гошей, который был, как утверждала она, её ровесником.

Был конец зимы, снег ещё сугробами лежал на крохотном приусадебном участке. В доме жарко топилась печь, куда Нина Александровна то и дело подбрасывала дрова, и мы говорили с ней о жизни и поэзии. Она любила и то, и другое, как может любить женщина единственного сына, — до самозабвения. И её образная речь

до сих пор вспоминается мне, и её стихи нет-нет да звучат во мне. Особенно одна строчка про дворянку-любовь, не могу объяснить почему, ставшую лейтмотивом той моей передачи. Потом я слушала песни, написанные на её стихи,— объяснение в любви Сибири, ставшей за пятьдесят с лишним прожитых здесь лет ей родной. А потом, кажется мне, мы и не расставались, встречались на творческих вечерах красноярских поэтов и композиторов, на воскресных посиделках литературного творческого объединения «Керосиновая лампа», которую, по неумности своего характера, организовала она вместе с сыном Александром Александровым, собирая вокруг себя красноярских поэтов и прозаиков. Гостеприимный и хлебосольный их дом превращался тогда в салон, где читались совсем новые стихи. Потом он переместился на набережную Енисея, на борт теплохода «Пересвет», где обрёл новую жизнь... С лёгкой руки хозяина и по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, «Капитанский клуб» стал организатором традиционных литературно-музыкальных рождественских, крещенских и пасхальных встреч, одной из постоянных участниц которых всегда была Нина Александровна Шалыгина. И даже когда ей нездоровилось, она всё равно была с нами. Её духовные стихи, положенные на музыку, звучали над Енисеем. И каждый раз, в негромком авторском исполнении, звучали её новые стихи. Возраст и болезни не могли лишить её поэтического дара, но до обидного рано лишили жизни.

Когда люди покидают землю, становится сиротливо и больно; когда её покидают поэты — ещё больней. Ведь вместе с ними уходят ненаписанные стихи. Нина Шалыгина навсегда останется для меня просто женщиной, одной из моих героинь, что стала частицей моего сердца.

Нина Шалыгина

Фронтовые баллады

Отрывки из романа «Царский подарок»

— Специально для тебя, Тонечка, могу привести пример настоящей дружбы бойца окопного и того, кто всю войну состоял при начальстве. Да ты и сама, вероятно, обратила внимание, как часто в гостях у Мефодия — ординарца командира полка Леонова — бывает гвардии рядовой Балобанов. Люди совсем разные, встретились только на войне. И вот сложилась настоящая дружба.

Тоня отчётливо представила себе этих двух совершенно непохожих друг на друга бойцов. Огромного, уже в годах, Балобанова, в коротко обрзанных кирзовых сапогах. От него постоянно разило табачищем. И Мефодия — стройного, подтянутого щёголя, в офицерских, не по званию, до блеска начищенных юфтевых сапогах. Носил он офицерскую шинель. По разрешению командира ему оставлял кудрявый чуб полковой парикмахер. Тогда как бойцы почти поголовно были оболванены вездесущей машинкой «под ноль».

Мефодий, как говорили в части, одним из первых гармонистов освоил трофейный аккордеон «Вальтмайстер». И даже других научил одной рукой играть «Собачий вальс».

Он курил папиросы, а Балобанов — какую-то особенно зловредную самосадную махру. При приближении к нему собака Пальма чихала, потом тёрла двумя лапами нос. Балобанов специально пускал на неё дым, оскорблялся её поведением и говорил:

— Чо, немчура? Не любишь русский дух?

Она глядела в сторону и безнадежно укладывалась у ног Чоловика — хозяйина собаки, пока тот о чём-то ей совершенно непонятном беседовал с этим неуютным и громким человеком. Так что у неё были свои причины недолго любить Балобанова.

Причины этой любви объяснил ей дядя Алёша в один из дождливых сентябрьских дней их железнодорожного путешествия:

— Вот ведь диво! Дружили два совсем непохожих человека. Дружили крепко и надёжно. И дружба эта порой вызывала изумление. Балобанов — запасливый такой, но не жадный. Поэтому вокруг него постоянно кто-нибудь «промышлял» то махоркой, которую ему слали из дома, то каким-нибудь нехитрым солдатским приладом. У Мефодия никогда и никаких запасов не водилось, за что ему не раз выговаривал гвардии полковник. Ординарец всё раздавал, щедро делился с любым, кто попросит, всем, что имел сам. И это — не диво! Рос он в детском доме, а то и вовсе беспризорником, поэтому

скопидомство, то есть накопительство, было ему чуждо. Сибиряку Балобанову давно перевалило за тридцать, а москвичу Мефодию было только двадцать два. Держался он обособленно и, по первому взгляду, даже недоступно: как-никак при высоком начальстве состоит! Но это только напускной вид! Если бойцы просили его похлопотать за них перед полковником, он никогда не отказывал. Так что высокомерие его было явно напускным. Хотелось по-мальчишески поиграть в начальство, и всё тут! С детства парнишка испытал на себе всякую человеческую несправедливость. Поэтому понимал слабости солдатские, их тоску по дому. У него не было ни дома, ни лома! Единственным человеком, к кому прирос сердцем, был этот громогласный друг, с кем ходил он в свою самую первую атаку. Тогда Балобанов, сибиряк и охотник, вывел его и себя из окружения под Смоленском, спас парня от верной смерти. А ещё видел парнишка в нём ту доброту, которую искала одинокая душа всю его расхристанную жизнь. И совсем не чудеса, что взял его комполка в ординарцы! Хотя до войны от голодухи детдомовец приворовывал. И даже был в детской колонии. Это не удивляло: среди рокосовцев воевали бойцы и не с такими биографиями. И с небывалой храбростью. А тихони и паиньки мальчишки-девочки к ним не попадали. А что гвардии полковник Леонов полвойны жизнь свою доверял именно этому быстрому как стрела, вёрткому цыгановатому молодцу, говорит о многом. Сам Мефодий прошёл сквозь войну, как сквозь игольное ушко, и «батю» своего сберёг. Почему он называл за глаза полковника «батей»? Так вот, чтобы ты знала, «батей» на фронте обычно называли командира батальона. Да так оно и было — ординарцем боец стал ещё при гвардии капитане Леонове, когда тот командовал батальоном. До войны, совершенно гражданский, Леонов преподавал в Московском пединституте. На фронте, когда надо было выбирать себе ординарца, взял трудного, но самого бесшабашного из молодых. А ещё веселило редкое имя этого рослого смуглика. За время совместной службы по-отечески полюбил своего ординарца, и когда английская королева каждому кантемировцу подарила по отрезку высококачественного сукна на шинель, распорядился сшить из этого отреза шинель для Мефодия. Это было ещё в Судовой Вишне. Шил её лучший портной Львова — Ефим Хацман. Видела, какая на нём шинель? Надо сказать, что и офицерские сапожки, и роскошную шинель подопечный командира полка носит только в расположении части. Ибо за её пределами его сцапает первый же солдатский патруль. Когда надо ехать куда-нибудь, он с грустью надевает свою длиннополую шинель из грубого сукна и кирзовые сапоги, которые от редкого пользования пересыхали и никак не лезли на ноги. Балобанов всегда пребывал в своём обычном добротном солдатском виде. Из боёв часть каждый раз выходила сильно поредевшей. При переформировании Балобанова несколько раз собирались перевести

в другую дивизию, как очень опытного и толкового бойца, но его друг раз за разом отстаивал своего товарища. И они снова воевали вместе! Сибиряк дружил со всеми сразу, и если видел, как у новичка коленки подгибаются в первом бою,— опекал его, учил извечной своей хитрости — не высовываться, но и не прятаться: «Уши оттопырь! Слышишь, как пуля-пчела жужжит? Она знак тебе подаёт: «Ужало! Укушу! У-у-у». А ты к стенке окопчика прижмись и сиди. А окоп — не ленись — глубже копай! Понял?» А ещё он слыл за богатенького: ему присылали из дома ценные посылки. А что на фронте ценней всего? Ну конечно же, зверская махра. Хватало той посылки ненадолго — он не жадничал. Но без курева не оставался: угощённые бойцы и ему отсыпали из домашних кисетов. А когда случилось совсем туго с куревом, шла в ход солдатская присказка: «Браток! Дай сорок»,— что означает: дай бычок докурить! Тут ты наверняка подумала, что дружба его с Мефодием основана именно на том принципе «ты — мне, я — тебе»? Ан нет! Как только часть отводили на отдых, ординарец Леонова находил своего друга, ошупывал его со всех сторон, прямо-таки как девку какую, на предмет, не ранен ли он. Знал, что тот всегда лез в самую гущу боя. Ходил по окопам, почти не сгибаясь. Сплёвывал сквозь зубы и похохатывал: «Нас, сибиряков, никакая пуля-дура не берёт!» Так и проходил всю войну с прибаутками: «Кто на меня нападёт, от меня и погибнет! Не отлита пуля на хлебороба и охотника!» Он за друга своего тоже боялся и рад был, что и тот цел-невредим. Тут я тебе пояснить хочу кое-что. Известное дело, что пока боец один на один с пулями и со снарядами — старший офицер наблюдает за боем с контрольного пункта, КП то есть. С ним адъютант и ординарец. Какое ни есть, а укрытие. Это в самом начале войны командир должен был впереди бойцов в бой идти. Перебили лучших офицеров, командовать стало некому. Вот и вышел приказ командиров беречь. Впрочем, разве можно кого-либо надёжно на войне сбересть? Вот только в нашей дивизии за полгода два командира сменилось. А в батальоне?

Дядя Алёша ещё что-то рассказывал, пересыпая речь своей присказкой о чудесах и о диве, но Тоня обычно засыпала, не дослушав до конца. Окончание этой истории было впереди — оно пришлось на самый конец ноября, когда разъехались по домам уставшие от войны бойцы. И когда уже не было в живых рассказчика.

А пока что был сентябрь. Штабная машина. Под звучание голоса дяди Алёши и постукивание платформы на стыках спалось безмятежно и крепко. Пальма, с которой обычно приходил гость, тоже засыпала. Её оставляли в машине до следующего визита.

Между тем пришёл конец октября. Началась повальная демобилизация. И хотя её ждали с нетерпением, не все уезжали быстро и охотно, как не все потом сразу сняли военную форму, а особенно

военные фуражки, которые в деревнях, например, были модны до полного износа!

Душа солдатская рвалась домой, и всё же нелёгким получалось расставание с друзьями, приобретёнными на прошедшей войне, которая, казалось, сидит у всех в печёнках.

Одни убывали на гражданку сразу же, наскоро попрощавшись: их ждали, они спешили. Многие потеряли свои семьи, родимые гнёзда. Им торопиться было некуда. Но старшина снимал с довольствия, выдавал на дорогу сухой паёк. И живи, дорогой, где хочешь и как хочешь!

Поезда, переполненные демобилизованными, забивали перегоны: дорожная колея во многих местах была только одна, другие только ещё восстанавливались. Кругом неразбериха. На станции, куда Тоня с папой несколько раз ездила по каким-то папиным делам, она видела составы, увешанные гирляндами желающих уехать — на крышах, на подножках. А посадка в вагон через окна? Вы такое видели?

Шуточное ли дело — даже из одного только Кантемировского корпуса демобилизовали сразу больше половины личного состава. Сначала домой отправляли семейных да заводских и колхозников, чтобы было кому заменить измороженных работой женщин и малолеток.

Убыл Балобанов в свою далёкую и загадочную Сибирь, о которой так много говаривал ещё на фронте любому слушателю. А для друга своего, Мефодия, отдельно добавлял:

— После войны поедешь ко мне в Атаманово. Дом у меня листвяжный, добротный и просторный. Места всем хватит. Да и куда тебе ехать? Кто тебя ждёт? В нашем колхозе девки — во! Кровь с молоком. Взять хотя бы сестру моей Натальи! В самом соку!

А уж в военном городке под Москвой уговорам сибиряка и вовсе не было конца. Анна Сергеевна, мама Тони, говорила бывшему детдомовцу, что нельзя такому одинокому человеку, как он, терять эту дружбу, рождённую и выращенную на фронте:

— Ну кто тебе роднее сибиряка?

Из Сибири на имя оставленного друга пришло несколько писем. Мефодий читал их вслух ещё не демобилизовавшимся бойцам, написанные чернильным карандашом, коряво, но нежно: «Приезжай, друг! Всё как я обещал. Свояченица ждёт. Карточку, что мы с тобой в Варшаве снимались, к себе утащила».

Подъедали бойцы Мефодия:

— Гляди-ка, «дед» тебя уже заочно сватает.

(«Дедами» молодые бойцы называли всех, кто был чуть старше их.)

Тот отшучивался как мог. Получив из штаба проездные документы, от командира полка — немалые подарки, наставления и нежные целования в обе щёки — от Тониной мамы (вот уж — телячьи нежности!), уехал к своему другу.

Через месяц пришло от Мефодия письмо на имя Карима. Восторженное! Сибирь его очаровала, Енисей — поразил и восхитил. Но

особенно похвалялся парень, что на днях взамен красноармейской книжки получит настоящий паспорт, так как принят на работу не колхозником, а завклубом и совместительствует — киномехаником.

А ещё писал, что крепко жмёт Кариму руку за подаренный аккордеон. Председатель колхоза как увидел на его плече сверкающее чудо, так сразу отправил в район оформляться на завклубом. «Без него, — писал счастливчик, — ходить бы мне в колхозниках без паспорта. А так я — вольная птица! Куда захочу — туда полечу!»

То, что Мефодий, человек по рождению городской, осел в селе — случай в части исключительный. Даже многие бывшие колхозники старались остаться в городе, шли на любую работу.

Тоня своей близкой подругой считала Машеньку — фронтовую жену комбата, гвардии майора дяди Миши Шишкина. И была не согласна со своей мамой, которая называла Машу ППЖ комбата. Но только за глаза. А в глаза — Машей. Тоне было обидно, что её друга так обзывает мама. Какой-то собачьей кличкой.

Это же непонятное для Тони слово прилаживала мама заочно и к другим молоденьким и ладненьким девушкам части. А ещё называла их «фифочками», общалась с ними только в крайних случаях, хотя почти что в каждой офицерской палатке жили молоденькие и очень красивые девушки.

И Тоне нетрудно было заметить, что и к самим офицерам, у кого жили девушки, мама относилась недружелюбно.

Истинную расшифровку слова «ППЖ» Тоня узнала много позже. Оно, как оказалось, обошло все фронты, варьируясь в деталях, но не меняя сути дела. А у девочки Тони, кроме уважения и восхищения, эти девушки ничего не вызывали.

Приставка «ППЖ» прилепилась ко многим девушкам и женщинам, призванным на фронт, которые так или иначе устроили свою временную или не временную судьбу. Всех их смешали в одну кучу: и тех, кто встретил на войне свою первую и, может быть, единственную любовь, и тех не уродившихся «приятными во всех отношениях» бедолажек, что спасались от многочисленных ухватистых и изголодавшихся по женской ласке бойцовских лап в обозе какого-нибудь пожилого офицера.

Умозаключения такие никак не могли родиться в головке десятилетней девочки. За ними были годы дальнейших наблюдений, воспоминаний, жизненного опыта, сопоставлений.

«Несогласие с маминым неуважением к девушкам-бойцам началось с Машеньки, — записала в своём дневнике Тоня. — Её великая любовь к гвардии майору Шишкину родилась на фронте. А там, как я теперь знаю, совсем по-особому складывался союз между мужчиной и женщиной. Заключался он чаще всего на словах, иногда в кругу

друзей. А то и путём регистрации в удостоверении личности или красноармейской книжке».

Шла долгая, кровавая и затяжная война. Но для большинства это была пора молодости.

Никто не знал, останется ли живым до конца хотя бы этого боя. Любовь брала своё. Безудержная, огромная, как небо или вся жизнь. Так, вероятно, казалось! Кто тогда думал о том, что будет? Живы ли те, кого они любили до войны? Сколько ещё осталось её, этой жизни?

Каким-то непонятным образом в свои десять лет Тоня поняла, что внезапная знакомица её мамы, гусятница тётя Клава, — враг Машеньки, санинструктора Вари и других милых девушек. Тоня несколько раз ловила её брезгливо-укоризненные взгляды, когда кто-нибудь из них в фартовых пилотках набекрень и в щегольских сапожках, надетых на изящные ножки, похрустывая новенькими ремнями, появлялся в самых неожиданных местах расположения части.

Однажды... Впрочем, это никакого отношения к нашему рассказу не имеет. Речь о Машеньке, о милой музыкантше Машеньке. Только о ней, верном, замечательном друге маленькой девочки Тони. Всё лучшее из того времени связано с ней. А вот о фронтовых эпизодах её жизни случилось узнавать почти совсем случайно.

Однажды Тонечка промочила ноги, рано забралась на свою лежанку. Проснувшись неожиданно. Почти с потолка падал уютный свет лампы «летучая мышь». Очевидно, вышел из строя трофейный движок, которым освещалась эта и комбатская палатки.

От буржуйки до самого войлочного выхода простирались две громадные тени. Карим говорил, а Анна Сергеевна, Тонина мама, иногда задавала свои вопросы.

Речь шла о фронтовой Машеньке. Поэтому проснувшаяся Тоня вся обратилась в слух.

— Комбат, гвардии майор Шишкин, прибыл к нам месяца за два до окончания войны. Сразу после гибели прежнего командира, гвардии майора Алексея Чернавина. В расположении части он появился с гвардии сержантом Марией и гвардии ефрейтором Степаном. Прибыл из какой-то соседней части. Вначале на Марию косились. Принимали за пустышку, удачно пристроившуюся к старшему офицеру — человеку, как вы знаете, немолодому.

Голос мамы:

— А как ещё можно было думать? Он же совсем старик. Ему, наверное, за тридцать?!

Карим будто не слышал вопроса:

— Плохотнюк, наш начштаба, так и вовсе посчитал, что новенькая — просто-напросто очередная мифическая боевая единица, какие уже в избытке имелись в части. Но ему на раздумье не осталось времени. Нас тут же бросили на прорыв. Это была обычная работа:

где случался затор, боевым клином врубались рокошсовцы, а в их составе — наш Кантемировский корпус, со своей устрашающей для фрицев эмблемой — дубовыми листьями на всей технике. Противник чаще всего против нас выдвигал немецкие танковые корпуса «Адольф Гитлер» и «Мёртвая голова». Мотострелки, то есть мы, как всегда, двигались за танками на всеми проклинаемых бронетранспортёрах. — А что, пешком разве лучше? — это снова мама.

— Сейчас поясню. Сидят на этих неуклюжих машинах бойцы ничем не прикрытые. А немецкие «кукушки» щёлкают их одного за другим. В том бою под деревней Дахау особенно ярились немецкие охотники за людьми, ведя прицельный обстрел сразу из нескольких мест. Бессмысленные потери. Атака захлебнулась. Танки ушли вперёд, никем не поддержанные. Маша и другие девушки-снайперы попросили дать им время выследить и обезвредить «кукушек». Согласие сверху получили. В течение некоторого времени поочерёдно умолкли немецкие снайперы и пулемётчики. Остался только один немец на чердаке деревенской кирхи. Последний. Его никак не могли снять. Маша выскользнула из окопа, притаилась где-то недалеко — невидимая и неслышимая. Между тем фриц уже выследил и уничтожил Нечибайло — лучшего нашего снайпера. Вечерело. Косое солнце ослепляло бойцов, как бы содействуя вражескому стрелку. Наконец раздался одиночный выстрел справа, где, казалось, нет никого. Немецкая «кукушка» тряпичной куклой вывалилась из чердачного окна. Маша появилась в окопчике с росинками пота на лбу и с очередными нарезками на своей снайперской винтовке. Да там уже и нарезать было негде! Больше ни у кого не возникало сомнений в отношении фронтовой подруги комбата. И однажды, когда во время короткой передышки нашу дивизию вывели на несколько дней с передовой, Маша надела новую гимнастёрку, на которой сиял орден Красной Звезды, который она получила в прежней части. Тут уж её зауважали все! — Карим! Не хочешь ли ты сказать, что все ППЖ награды получали заслуженно? — с каким-то особым придыханием спросила мама.

— За всех не ручаюсь, а за сержанта Марию — голову положу! — отчеканил говорящий и, не сбиваясь с заданного ритма, продолжал свой рассказ: — Бойцы её полюбили за непонятную для такой юной девушки почти материнскую заботу о быте батальона, а особенно о её любимом комбате. Как только часть выходила на временный отдых, Маша через майора, минуя все иные инстанции, изыскивала для бойцов возможность организовать баню или хотя бы купание и постирушки в какой-либо речушке. А уж «вошебойка», где прожаривали одежду бойцов, всегда по её досмотру была у майора под руками. Если своя отстанет, Маша выпросит у соседа справа или соседа слева. А ещё меня всегда удивляла её предельная аккуратность. Кочевая жизнь, вокруг грязь, кровь и смерть, а там, где комбат с Машей, — какой-то особый порядок, будь то землянка, палатка или

просто щель в окопе, прикрытая сверху от дождя или снега куском брезента. На привалах она помогала бойцам: подшивала подворотнички, писала за неграмотных письма. Сама обычно получала из рук Васи, полкового почтальона, самую большую стопку треугольников.

Тут уж Тоня не выдержала и почти крикнула:

— А однажды при мне ей принесли совсем необычное письмо, не треугольник, а красивый конверт. Она, не распечатав, кинула его в печку.

— А ну спать! Соплива ещё в защитницы!

«Мы никогда не говорили с моей взрослой подругой о войне, о её делах и заботах,— читала Тоня в своём дневнике.— Так что до того вечера я знала только, что она — хохотушка, затейница и неугомонная в игре партнёра».

Дружили мы с ней самозабвенно, хотя Маша относилась ко мне совсем по-иному, чем дядя Алёша Устинов. Она со мной играла в бесконечные игры, а он принимал меня за рассудительную не по годам и вёл беседы как со взрослой.

Машенька жила в палатке комбата Шишкина. Он действительно казался совсем стариком, рябоватый и молчаливый. А она — тоненькая, с шапкой кудрявых золотистых волос, с огромными солнечными глазами. Самая весёлая из всех девушек полка. Шефство надо мной, девочкой, взяла ещё в Судовой Вишне, под Львовом. Машенька будто не видела нашей разницы в годах. Очевидно, до ужасной войны она не успела наиграться в куклы. Ей не хватило детства. И вот окончилась война. Мне моё детство вернули. А ей?

Уж как обрадовалась Машенька, сама ещё почти что ребёнок, когда в расположении части появилась я, Тоня,— настоящая, живая девочка, которую можно наряжать в любые платья, сурьмить брови, мастерить для неё замысловатые костюмы. А ещё — часами играть при мне дивную классическую музыку. Больше не было вокруг смертей, умолкли пушки. Отложила Маша свою снайперскую винтовку.

Сейчас кое-кто возмущается, почему я, Тоня, Антонина Александровна, не люблю современные бешеные ритмы. А могу ли я их любить, если в своём детстве слушала и слушала иную музыку, выпархивающую из-под рук любимой моей удивительной музыкантши?

В ту послевоенную осень мы с ней очень часто бывали вместе. В свободное от её службы время. А ещё — когда Машенька не сидела на лежанке с видом несчастной раненой птицы, обхватив руками коленки. В последние недели перед её отъездом из части это случилось всё чаще.

Всё остальное время гвардии сержант была неутомима в выдумках. Тонкая в талии, с необычайно приветливой улыбкой на губах, она играла со мной как с равной. Пела песни и романсы, подыгрывая себе на губной гармошке, аккордеоне или рояле, который занимал почти половину сдвоенной палатки комбата.

Я забывала, что она дурачилась ради меня. К комбату Шишкину, или, как я его тогда называла, к дяде Мише, относилась нежно и бережно, хотя много капризничала, заставляя его бегать за ней по перелеску, плескала на него студёной водой.

Он был счастлив, иногда во время наших прогулок подхватывал её на руки и нёс перед собой бережно, как тонкую фарфоровую вазу. Ещё бы! Позади война. Теперь не очень утомляет служба — все дела идут как-то сами по себе. Но уже надвигались тучи, и всё предвещало конец этой счастливой жизни. А пока...

Когда комбат вместе с моим отцом уходили на целый день на службу, а мама носилась где-то по общественным делам, я пробиралась в большую палатку моей милой музыкантши, и закручивалась наша самая захватывающая игра. На меня примерялись все диковинные наряды, невиданные шляпки, к нашей игре присоединялись девушки из других офицерских палаток. Звучала бравурная музыка, разыгрывались комические сценки.

Я становилась то атаманшей, то принцессой, то восточной красавицей. Не знаю, делали ли меня, костлявую худышку, эти наряды красавицей, но Машенька глядела на меня восхищённо.

Мама вообще недолюбливала, что я так часто бегала в комбатскую палатку. И считала, что меня там балуют. А Машины намёки на мою якобы особенную внешность вообще находила недопустимыми: — Маша! Нельзя же девчонке голову так кружить! Подумает ещё, что действительно красавица! — и добавляла уже на полуукраинском: — Ничего в ней хорошего нет. Погана!

Я уходила в школу в сопровождении Карима. Возвращалась после обеда. Потом учила уроки. Как-то не видела Машу два дня: шла подготовка к празднику, и я должна была принимать участие в пирамиде, стоять на самом верху на плечах противного Гарика.

Утром в воскресенье, едва дождавшись, когда уйдёт дядя Миша, я ворвалась к Машеньке. Она сидела на лежанке, обхватив коленки руками. Совсем не такая, как всегда. Я подобралась к ней сзади, двумя руками закрыла её глаза:

— Угадай, кто я?

В ответ — ни звука. Будто неживая, Маша повернулась ко мне:

— А! Это ты?

— Маша! Что случилось?! Что с тобой?

Она кинулась мне на шею и зарыдала. Тогда я ещё не знала, что её демобилизовали и предложили срочно уехать».

Память снова и снова выхватывала из прошлого сцену отъезда милой Машеньки на гражданку.

Уже давно грозный командир дивизии Леонов приказал Шишкину привезти свою семью. Направили вызов на каждого из членов комбатской семьи. Жене-колхознице долго не давали справку, не

отпускали, ведь у неё, как и у других колхозников, не было паспорта. И вообще никакого документа.

Наконец, после повторного обращения войсковой части к местным властям, пришла телеграмма от жены майора: «Справку получили. Выезжаем такого-то».

А майор всё не смел сказать о предстоящей разлуке своей любимой Маше. Кто-то из штабных придумал наконец-то, как этот вопрос решить. Машу уговорили поехать в Горький, чтобы закончить консерваторию. Напрасно она возражала, что это невозможно, так как ранена кисть руки. Все хором уверяли её, что играет она отменно.

Поезд уже подвозил к станции назначения исстрадавшихся «пишкунят» и их маму (благо, что гражданские поезда в ту пору двигались со скоростью черепахи!), а бедная Маша всё не сдавалась.

Наконец вестовой принёс Маше настоящее письмо из консерватории с приглашением продолжить учёбу. Она взяла со своего любимого слово, что разлука эта будет недолгой.

Увы! Разлука оказалась вечной. И пианисткой снайпер Маша не стала — раненая рука не позволяла подолгу музицировать. Окончив консерваторию, превратилась гвардии сержант Маша в знаменитую на всю страну женщину — дирижёра симфонического оркестра.

Любовь к настоящей музыке, привитая в детстве Машенькой, дала Тоне счастливую случайность ещё раз увидеть свою наставницу и друга своего детства. Она давным-давно была не Тоней, а взрослой и даже зрелой Антониной Александровной, у неё был взрослый сын.

Жили тогда в Сибири. Но однажды по телевизору передавали концерт симфонического оркестра под управлением женщины. Это была Маша!

«Я узнала мою Машеньку! Фамилия у неё была другая, но это не могло ввести меня в заблуждение. Душу всколыхнула эта телевизионная встреча. Как наяву встали передо мной прекрасные и трагичные страницы первой послевоенной осени.

Вот и сейчас, в ночь перед Новым, две тысячи шестым годом, прошли перед глазами все вы, мои дорогие взрослые друзья. Вы, которые относились ко мне, такому заморышу, как к своей ровне. Приобщили к высшим звукам мира искусства. Научили отличать добро от зла. Явили неповторимое чудо фронтовой, а значит, земной любви и верности друг другу.

Сегодня я заново проживаю те далёкие дни, креплюсь, чтобы не расплакаться, вспомнив потери. И плачу, плачу, плачу без слёз. Их уже нет, они давно выплаканы до самого дна.

Дорогая Маша, Мария, несравненная музыкантша! Я хотела бы написать тебе письмо. Но разве объяснит моё состояние души письмо, даже самое пространное? И я пишу сразу всем, кто любил на войне, и их детям, и их потомкам. Конечно, слишком на многое замахнулась. Но позволяю себе это только потому, что узнавала вас через свой незамутнённый детский взгляд».

Геннадий Сысолятин

Первые стихи и первый бой

В 1982 году на страницах журнала «Военные знания» (№ 11) был опубликован мой материал участника и очевидца под заголовком «В боях под Клетской». Откликнулись знакомые однополчане, письма которых храню. А два года спустя журнал «Советский воин» (июль 1984) представил читателям мою подборку стихотворений, в которую вошло и стихотворение о миномёте — экспонате волгоградского Музея обороны.

На той же он плите опорной,
Исправен у него лафет,
Не зачехлён и хобот чёрный,
А вот прицела в шлице нет.

Теперь прицел ему не нужен.
Наладчик, сняв его, ушёл.
От жара выстрелов остужен
И навсегда пробанен он.

Я подошёл — блестит винтами,
Теплеет грозных лет металл...
Его с закрытыми глазами
Я разобрал бы и собрал.

И — наяву — мне снова снится
Та огневая в том году,
Над стылой речкою Царицей,
С врагами мёртвыми на льду.

И он — могучая мортира,
Знакомый сталинградцам бас...
После Победы, в годы мира,
Он сдан в музей, как мы — в запас.

Вернулся я за кряж Урала,
Живу в саянской стороне.
Не перекован на орала
Он, побратим железный мне.

И — юности моей страничка,
Чьи строки писаны огнём! —
Прикреплена к нему табличка,
Чтоб мой потомок знал о нём.

В моих висках седая замять,
И дома столько трудных дел.
Но обновить былую память
Я, всё оставив, полетел.

Тихонько глажу срез я дульный,
Где выступает ободок.
И на плиту кладу багульник —
Саяно-шушенский цветок.

Стихотворение написал в творческой командировке, в которую послал меня секретариат правления Союза писателей РСФСР, когда я, бывший миномётчик, участник Сталинградской битвы, попросился в места былых боёв. Чтобы написать поэтическую книжку. Тот миномёт, который видел в музее, был из другой воинской части. Но встреча с ним взволновала больше всего. Ведь при окружении и ликвидации немецко-фашистской 6-й армии сам командовал точно такими же грозными самоварами-самопалами.

Теперь журналы с напечатанными воспоминаниями и стихами и вышедшая в Москве в 1984-м книжка «Снежная родина» хранятся в том же ящике стола, где лежит давний документ. Вот он.

С выцветшей фотокарточки уцелевшего удостоверения личности начсостава РККА смотрит на меня молоденький лейтенант, одетый в гимнастёрку без погон, которые ещё не были введены. На отложном воротничке — полевые петлицы, на каждой по два квадратика. Снимок сделан в апреле 1942 года, и тогда же выдано удостоверение. Лейтенант — вчерашний учитель начальной школы в сибирском селе на Верхнем Енисее. Он только что окончил артиллерийско-миномётное училище и прибыл в формирующийся полк, где назначен командиром взвода управления миномётной батареи. «Справлюсь ли со своими обязанностями? Смогу ли командовать?» — словно спрашивает себя этот изумлённый паренек. Конечно же, он изумлён своим командирским положением...

Это мой снимок и моё удостоверение. На оттиске круглой гербовой печати, наложенной на уголок снимка, значит: «Отдельный 108-й миномётный полк РКК». Удостоверение подписал военком полка батальонный комиссар Аленицкий.

Дороже всего мне запись на последней страничке, сделанная уже в феврале сорок третьего: «Лейтенанту Сысолятину Геннадию Филимоновичу Благодарность Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина за отличные боевые действия при окружении и ликвидации немецко-фашистских войск в районе Сталинграда. Основание: Приказ Верховного Главнокомандующего войсками Донского фронта от 2 февраля 1943 года. Начальник штаба полка старший лейтенант Клычков».

Эта запись и содержит ответ на вопрос, который задавал себе небострелянный лейтенант. Ответ такой: «Да, ты справился, ты смог!»

Такие же удостоверения получили мои товарищи по выпуску — лейтенанты Улитин, Провоторов, Киселёв, Лоскутов, Володьянов, Ивлев, Водостоев, Малинка, Голубков и Снагощенко — все из одного училища. И у тех из них, кто дожил до конца войны, кто, как я, находится сейчас в преддверии пятидесятилетия Сталинградской битвы, — вписанные строки благодарности Верховного должны вызывать слёзы на глазах. Невзирая на нынешнее отношение к Сталину окружающих и нас самих.

Мы были в числе основателей 108-го миномётного. Формировали полк в Кировской области, на реке Чепце, притоке Вятки. Вначале немного об этом формировании...

К нам поступали бойцы различных советских национальностей и уральское оружие. Коней получали из Хакасии и Тувы.

Помню, командир полка майор Якимов, чернявый, крепко сбитый и подвижный, командировал меня и Ивана Снагощенко в Нижний Новгород — тогда город Горький. Мы встретили там большую группу каракалпаков, старшим в ней был лейтенант Нагуманов, который в дальнейшем продолжал службу в нашем полку вместе со своими земляками. Попутно, заехав в город Семёнов, центр кустарной хохломы, добыли для полка полный короб расписных кленовых ложек, что-то более шестисот штук. Эти ложки немного позднее и поехали с нами на фронт.

Уже после Сталинградской битвы и пленения Паулюса полковые весельчаки сложили и распространили такой анекдот. Высший генералитет — Жуков, Рокоссовский, Ерёменко — ломает головы: нет подходящих ложек — положить на стол, за которым собрались кормить Паулюса и его битых генералов. Металлические не подойдут — кушанье горячее, а немцы и так крепко обожглись на Сталинграде. А нам их ещё допрашивать. Надо дать деревянные ложки... «Может, спецсамолёт пошлём?» — спрашивает Ерёменко. «Не успеем, — отвечает Жуков. — Паулюса уже ведут». — «Не надо самолёта, — говорит, хитро улыбаясь, Рокоссовский. — Лучше обратимся к Николаю Николаевичу Воронову. На моём Донском фронте я видел его миномётчиков. Как раз такие у них ложки, да ещё всех цветов радуги. Правда, за обмотками их долго «славяне» носили. Но в этом уже сам Паулюс виноват — мог раньше сдать... Так как, Георгий Константинович, вы смотрите на счёт этих ложек?» Жуков подумал и говорит: «Сойдут ложки. Звоните, товарищ Рокоссовский, скорее маршалу артиллерии...»

«Славяне»!.. Помню их многих, бойцов нашей батареи: каракалпак Уразметов, татарин Едяшов, латыш Ледерах, русский уралец Жигилев... Были и чуваша, и мордвина, и марийцы... Люди из многих республик, придя в боевые расчёты, хорошо усвоили грозную матчасть, а вскоре и того лучше показали себя в ратном деле.

Якимов умело сколачивал полк. До всего ему было дело, даже до строевых песен. Однажды вечером, когда я дежурил по штабу,

застал меня за листком бумаги. Делал я для полковой стенгазеты стихотворные зарисовки портретов будущих соратников. Были там и строчки о самом Якимове:

Да, он суров, об этом нет и спора.
Но та суровость в битвах рождена.
Он опытен — недаром у майора
На гимнастёрке рдеют ордена...

— Стихи? Давно пишешь? Вот как! А ну покажи...

Прочитав, хмыкнул. Подумал немного и сказал, возвращая листок:

— Позарез нужна песня полка. Собственная... Сделаешь текст?

— Постараюсь, товарищ майор...

Текст появился примерно через неделю. Не совсем я им был доволен. Но более опытных авторов не оказалось. И критиков тоже. Якимов с Аленицким прочитали и мигом утвердили представленные куплеты в ранге полковой песни. Вот они:

Крылатой ласточкой лети
Ты на врага, стальная мина.
Пусть ляжет немцам на пути
Разрывов огненных лавина.
Пусть красит небо жаркий бой
На дальнем западе пожаром.
Врагу ответит сто восьмой
Опустошительным ударом...

Сейчас мне кажется наивным образ мины, летящей на врага «ласточкой», не вяжется он с её грозным предназначением. Но тогда он мне казался точным. Да и моё начальство, видимо, утверждая стихи, было подкуплено заключительными строчками, содержащими номер полка.

Теперь дело оставалось за мелодией. Она была подобрана начальником артснабжения полка Рубиновичем. И песня зазвучала в строю. С момента написания редкий день её не пели. С ней выехали на фронт. Пелась она и под Клетской, где полк развернул боевые порядки. Пелась и в самом Сталинграде, куда мы пришли, разрезав пополам окружённую группировку противника.

После войны, уже десятилетия проработав в литературе, встретился с необходимостью получить в секретариате СП СССР справку о творческом стаже. Такая справка мне была дана. Прочитал её — растрогался. В справке подтверждалось, что стаж этот начат в грозном 1942 году, когда первая моя песня была исполнена родным полком...

Возвращаюсь в ту осень. В третьей декаде октября погрузились в эшелоны. С Воскресенска нас повернули на Борисоглебск и Поворино. Значит, попадём на Дон или Волгу... Первый «мессершмитт» налетел перед станицей Раковка — бомбил и обстреливал. К счастью, жертв не было. В Раковке разгрузились и пошли форсированным маршем

к Дону, через Арчединские пески. Возле переправы ко мне подъехал верхом командир полка:

— Хорошо воюй, лейтенант. И опиши первый бой...

Нам выдали топографические карты. По примеру командира батареи Василия Ивановича Костюнина согнул свою карту так, чтобы сразу бросались в глаза квадраты с голубой извилиной Дона, станции Клетской и выселком Мелоклетским. Дон и эти населённые пункты уже оставались за нами. Утром, после переправы, я увидел их со склона высоты, из вершины длинной извилистой балки Фаткино. Смотреть надо было не туда, а вперёд, на высоты. Их занимал противник — части 376-й пехотной дивизии немцев и 1-й конной дивизии румын. Наш полк поддерживал 27-ю гвардейскую стрелковую дивизию, входившую в нашу 21-ю армию, которой командовал генерал-лейтенант И. М. Чистяков. Почти вся армия сосредоточилась здесь, в таких балках. Мы, миномётчики РГК, были поставлены на самые важные в стратегическом отношении участки.

Помню утро 7 ноября на НП. Меня и весь взвод управления только что поздравили с 25-й годовщиной Великого Октября комбат Костюнин и политрук батареи Шумков. А потом предупредили: «Гляди в оба!» Гляжу... снизу вверх на румынские кольца с колючей проволокой, до которых от меня шестьдесят метров — разведчик Лимонов ночью вымерял.

Мы с Костюниным всё-таки ухитрились пристрелять румынскую траншею. Была опасность «завезти» по своему НП. От первого разрыва дальность полёта мины регулировали уже не прицелом, а уровнем.

13 ноября я участвовал в разведке боем на нашем участке. Впервые шёл в атаку с пехотой. Рядом — разведчик Лимонов, старший сержант Лебедев с телефонным аппаратом и связист Закандырин с катушкой провода. Удалось пострелять — всей батареей по обнаруженным целям. Продвинулись более чем на километр, но приказано было отойти на исходную позицию. Видел близко от себя румын в жёлтых шинелях и бараньих косматых папахах, на ногах постолы и краги... Обновил автомат — дал несколько очередей. Лимонов участвовал в штурме дзота, был ранен в руку, его отправили в тылы с другими ранеными. На нас сыпались пятидесятимиллиметровые мины врага. Берёг карту и таблицу стрельб — для верности нёс их за пазухой ватника. Думал, если ранит или убьёт, сохранятся добытые данные. Боялся, что растеряем имущество взвода — телефон, катушки с кабелем. Не растеряли. Ухитрились ещё добыть немецкую заплечную катушку с цепной передачей, как у велосипеда... Из боя вышли только тогда, когда противник напустил на нас сверху «мессеры», а по земле — танки. Координаты засечённых целей Костюнин сообщил в штаб полка.

На другой день залп прощального салюта прогремел над телами убитых ночью в рукопашной схватке моих товарищей по училищу — командира третьей батареи Егоренко и его командира взвода

управления Водостоева. Противники пытались захватить их живыми на НП. С ними, обороняя НП, погибли несколько человек из взвода. Мы стали осторожнее, бдительнее...

Да, наши удары по врагу, отжатою от Дона, в те дни были мощнее его ответных, но он вплоть до утра 19 ноября беспокоил наше правое крыло Донского фронта артралётами, контратаками и вот такими вылазками.

И вот утро 19 ноября. О готовящемся мощном нашем артралёте и наступлении нашей пехоты по всему фронту мы знали, ждали только условного часа «Ч». А знал ли что-то противник? Наверное, ведь он с воздуха видел передвижение наших войск, концентрацию артиллерии, танков. И готовил запасные рубежи...

Сыро, туманно, рассвет медлит. Мы ничего не видим с нашего НП в вершине балки, но установки для ведения ураганного огня заранее даны огневым взводам. Телефонист передаёт Костюнину трубку, в ней голос Якимова:

— Сверим часы, комбат.

На «кировских» Костюнина ровно семь. Туман не рассеялся. Семь двадцать — команда «Сирена», что означает приготовиться. И вот семь тридцать. Команда «Ураган».

Ударила разом вся артиллерия. Стремительно понеслись, оставляя огненные хвосты, снаряды «катюш», «андрюши». Со стоном прорезали воздух 152-миллиметровые гранаты пушек-гаубиц. Зашуршали стабилизаторами наши 120-миллиметровые стальные «ласточки». В последующие минуты мы оглохли от канонады за нами, шипения и стоны над нами и разрывов впереди. Туман сгорал, пропоротый калёными бивнями снарядов и мин. А ещё разметали огненные смерчи разрывов. Посветлело, но впереди было черно — на скалах высот плясала смерть.

Но что это? Снаряды и мины рвутся в нашей балке, на гребнях её берегов. Оказалось — бьют ещё не подавленные вражеские батареи и отдельные орудия.

В воздухе — пучки ракет, сигналы к переносу огня. Бьём в глубину вражеской обороны и мы, и вся артиллерия нашего участка фронта. Появляются духовой оркестр, знамёна. Пауза в артподготовке. Оркестр играет «Интернационал». Поднялась и пошла вперёд гвардейская пехота, рванулись танки. Снова бежим вперёд, теперь уже за огневым валом.

Выскакиваю на бруствер румынской траншеи. Она вся разворочена, на дне — полусасыпанные трупы в жёлтых шинелях, оружие, ранцы из телячьих шкур, крытые зелёным овчинные тулупы... Сбоку от меня, громохая, переползает траншею танк КВ.

Снова Лебедев и Закандырин тянут за мной провод.

Вторая траншея... Та же картина разгрома. Перепрыгиваем с бруствера на траверс. Тут вижу раненого командира миномётной

роты гвардейского батальона. Перед артподготовкой рядом были, ещё закурили из одного портсигара. Потом комроты вёл из балки огонь. Его маленькие миномёты били яростно...

— Что с тобой, друг?

Скрипит зубами, зажимает рукой живот. Пальцы в крови. Лицо серое. Два бойца тащат к нему носилки... Бежим дальше. Поравнялись с нашим горящим лёгким танком БТ-7. Два танкиста катаются по земле — гасят ватники, из которых сыплются искры. Вдруг танкисты вскакивают и устремляются прочь от танка. Отчаянно машут нам. Мы тоже отбегаем. Взрыв. Башня слетела прочь. А тяжёлый КВ — вон, впереди. От него рикошетят раскалённые немецкие болванки. Видим, откуда бьёт немецкое противотанковое орудие. Вычисляю данные. Лебедев передаёт их на батарею, она стреляет. Мины проносятся над нашими головами — пошли правильно.

Поднимаюсь от телефона. Что такое? На нас идёт строй румын, в колонне по четыре. Идут в ногу, быстро приближаются. Психическая атака, что ли? Нет! Все без оружия. А сбоку наш автоматчик, сзади — другой. Кричат нам:

— Пачками сдаются румыны!

С огневой передают приказание начальника штаба полка Куцевалова свёртывать НП. Огневики тоже снимаются с ОП, ждём их колонну. Вот она: конные упряжки с миномётами и остатками боекомплекта мин вытягиваются в гору. Надо нам поспеть за пехотой, сбившей противника со всех рубежей и вышедшей на оперативный простор. Движемся все в гору, по просёлку. А справа и слева — тоже колонны артиллерии и миномётов. Вот собирается весь наш полк. К нам верхами подъезжают Куцевалов и ПНШ Клычков. Где же сам Якимов? — Нет Якимова. Убит осколком снаряда. Капитан Куцевалов принял командование, — сообщает Клычков, который теперь исполняет обязанности начальника штаба.

Стараюсь подавить слёзы. Гибель командира полка — горе для всех нас. Но у меня беда своя, теперь, как мне кажется, непоправимая. Ведь только Якимову и было нужно моё творчество, думал я. Только Якимов в меня поверил как в автора. Сначала ту песню заказал, потом описание первого боя... Появятся такие стихи — кому покажу?..

Майор Якимов скончался по дороге в госпиталь, в кузове автомашины. Медсестра Фаина Сорокина всё время держала его раненую голову у себя на коленях... Фаина сейчас тоже ехала с нами. И плакала — женщинам незачем скрывать слёзы. И тогда на дороге, в походной колонне, нацеленной на город Калач-на-Дону, я, закусив губу, дал себе слово выполнить наказ майора Якимова. И вот уже более полувека пишу стихи о Сталинградской битве. И они выходят в газетах и журналах, в моих сборниках. Когда писал стихотворение о миномёте, старался отразить врезавшееся в память и сердце утро 19 ноября 1942 года на нашем участке Донского фронта под Клетской.

Александр Астраханцев

Немая белая птица

Иван был последним, третьим сыном Матрёны Лыковой. Муж её Прокоп умер от живота не старым ещё человеком. Только довели до районной больницы за двадцать вёрст — и умер. Всю взрослую жизнь проработал в колхозе и до военного времени не дожил, царствие ему небесное. А двое сыновей Матрёны воевали на фронте.

Старшего, Петра, мобилизовали через месяц после начала войны. Он исправно отписывал с фронта матери и жене с сынком — жена Полина жила в своём доме на верхней улице — о том, что определён по артиллерийской части при конях, что служить тяжело, что уже получил медаль, и просил высылать посылками: летом — хороших крепких портянок, зимой — шерстяные носки и рукавицы-собачонки, и обязательно с любой посылкой — своего, деревенского, табаку-самосаду.

От среднего, Тимофея, вестей не было — пропал и пропал, бедный соколик. Забрали его ещё перед войной, служил где-то далеко на западе, у самой границы, и с начала войны — ни слуху ни духу о нём. Матрёна не плачет по нём, верит — живой, ждёт-пождёт вести и тихонько молится за него. С молодости не молилась, в Бога не верила; все говорили тогда: Бога будто нет, один опий, — так и совестно было перед людьми. Но божничку родительскую сохранила и теперь часто обращала к ней лицо и не то вспоминала, не то сочиняла молитвы, глядя на чёрный лик Божьей Матери с младенцем на руках в засиженном мухами тусклом серебряном окладе. Но о Боге не думала, никак не представляя его себе. И получались скорей не молитвы, а заклинания, исходящие на дольний белый свет её материнскую силу и веру в то, что сын её средний жив на земле.

Часто видала она Тимошу во сне. Сон был всегда один, и она любила пересказывать его соседкам и снохе: будто она, Матрёна, только-только собралась выгнать корову за ворота, в стадо, — а утро свежее, трава от росы бусая; заря, чисто росой умытая, горит, торопит солнышко... Глядь, а в калитку — Тимоша, весь в военном, с сумочкой через плечо, с какой уходил из дому, и улыбается краше солнышка. «На побывку, маманя, на побывку», — говорит и шагает к ней, руки этак разведя — обнять будто бы хочет. Идёт, идёт к ней — несколько шагов осталось, а дойти-то не может. Она будто смотрит на лицо его, а на лице его уже нет улыбки — чисто страданье. «Живой, но раненый», — говорили ей знающие соседки. Если честно, виделся

ей в этом сне плохой знак, но она отгоняла тяжёлые думы и ждала-надеялась. Так было легче.

Младшего, Ивана, в армию не брали. Свезли в район, проверили и отпустили: не годен. В детстве с ним случилась беда: баловался и упал в колодец; сверху крышка сруба пристукнула его и захлопнулась, и сколько он там пробыл, полуживой да испуганный, в кровище, в ледяной воде,— неизвестно, пока парнишата, что с ним играли, не насмелились побежать и покликать помощь. С тех пор он немного заикается и вроде как не в себе. Тихий, смирный, глазки ясные, а — не в себе. Чуть-чуть, совсем немножко. Даже, что дурачок, не скажешь, а просто раздумчивый стал. Велят ему: «Ваня, сделай то-то»,— а он ровно не слышит. Второй, а то и третий раз повторяют — дойдёт до него, сделает. Но не всегда так — иной раз сразу всё понимает. Отец был жив — так любил, грешным делом, выпить; придёт в праздник пьяный и колобродит по избе; Матрёна кроет его почём зря, а Ваня встрянет промеж да и рассудит, как взрослый: «Зачем, маманя, ругашь зря? Тятка же не понимает. Ты лучше завтра его поругай». Прокоп с Матрёной — оба так и засветятся.

Только в школе не смог учиться, ушёл из шестого класса. В общем-то, сама Матрёна забрала его: зачем ребёнка мучить? Тёрся около отца на конном дворе — запрягал, распрягал, треножил коней, пас жеребят на лугу за конюшной, а с пятнадцати лет наладился пасти коров, уже всерьёз, и приглянулась ему пастьба милей всякого дела.

Каждый год теперь, много лет подряд, с весны до глубокой осени, с рассвета до заката обдувал Ивана вольный ветер, мочил дождь, палило солнышко. С рассвета дотемна на ногах, в картузе с козырьком, в латаном плаще, латаных сапогах, с торбой за плечами. Хорошо, коли дождь недолог — развеет ветерком в поле, обсушит. А как зарядит на целый день — беда: не держат воды ни плащишко, ни сапоги, так и ходит весь день сырой.

Кожа на лице его где задубела, где облезла — еле-еле румянец пробивается; брови и волосы выгорали до белизны; а между тем волос у него рос длинный да кудрявый. Мать брала тогда большие портняжные ножницы и оскубала кое-как там, где большеросло. Иван страсть как не любил стричься — лязг ножниц за ушами внушал ему ужас: он вжимал голову в плечи, сидел не шевелясь и до конца не выдерживал — вскакивал, бурча что-то, и убегал на улицу.

Летом Иван не любил ночевать в избе. Теснота, духота мучили его; он уходил на сеновал и спал там на сене под старым овчинным тулупом, то вольно разметавшись, когда тепло, то сжавшись в комочек, когда холодно. Матрёну беспокоили его привычки: дичал летом, похож становился больше на лесного зверя, чем на человека. До того доходило, что есть дома отказывался: не завтракал, не ужинал,— а наберёт сырых картошек, огурцов и ест в поле неизвестно как. Ругалась с ним.

Однако знала Матрёна, как любит он своё дело и как умело его справляет: за несколько лет пастьбы у него не было случая потерь и падежа; так научился понимать коров, таким неутомимым был, так знал каждую корову в стаде по норову — помнил, за сколькими отёлами она, когда покрыта, когда телиться будет, — что считался лучшим пастухом, один пас в восемнадцать лет самую большую ценность в колхозе — молочное стадо. Без коня — какие кони? — всё ножками.

Знала, как любит он поле, простор, тишину. Любил, как птицы по утрам поют, как цветики в зелёной травке цветут. Знал травы разные, птиц в гнёздах, зайцев в колках, лис и барсуков в норах по косогорам — всё-то он знал.

Сначала он часто приносил в деревню зайчат, кукушат, бурундучков и давал ребятам поиграть, но пацаны умучивали их до полусмерти и с жадностью смотрели потом, как собаки пожирают их, ещё живых, попискивающих. Он перестал их приносить. Сам-то не умел обидеть ни единой твари, чувствуя в ней бьющуюся живую душу, родственную себе. Даже коровы не мог обидеть.

А людей дичился. Не любил он быть с людьми. Живя одновременно среди природы и среди людей, мучился, чувствуя, как люди враждебны траве, лесу, животным. И не только диким — домашним.

А в общем — что сказать? Не в себе немного парень: помалкивает, отвечает не сразу, слегка заикается. Ну а те, кто его не знает, и во все не заметят ничего: просто деревенский парень, стеснительный, работающий, сильный.

Летом — при стаде на лугах, зимой — на ферме: возил сено, силос из ям, наём на пашню, молоко на молокозавод. Девки и бабы поглядывали на него с интересом. Да и он на них поглядывал, но пока побаивался. Так бы и женился со временем, и прожил бы спокойную жизнь, если б не война.

А между тем прошло два года с начала её. Всех, считай, здоровых мужиков по селу уже позабирали; и вот, прямо посреди лета, — повестка Ивану. Пацан, что её принёс, передал: велено, мол, собираться послезавтра в семь утра к сельсовету, оттуда и повезут.

Чуяло Матрёнино сердце: не оставят Ивана в покое, возьмут, придёт час, и его, но когда он пришёл, этот час, её будто ожгло, опалило всю — так неожиданно это было. А Ване хоть бы что — на следующий день хотел, как всегда, спозаранку идти работать. Матрёна не пустила. Дома-то не особо хозяйственный — всё в поле да в поле, а тут разошёлся, двор подмёл, в калитке новую столбушку вкопал, да хорошо так вкопал — ровно вросла. И всё мурлычет что-то под нос: рад, дурачок, что ли, что и он понадобился? Понимает ведь, что не к тётке Вальче на блины в Звеньягино ехать, — а радуется.

Матрёна шила новую торбу. Редкая слеза падала на холстинку и оставляла тёмный следок. Вытрет Матрёна подолом глаза, и снова застилает их едкая горячая водица, и Матрёна часто укалывает пальцы.

Из остатков муки, что хранила на случай, замесила тесто — испечь хорошего хлеба на дорогу. Вытрясла всю муку из теса, поставила на печь квашонку.

Уже оторвался от неё спелым яблочком Иван, уже учится она быть одна, и дума её ищет опоры, бежит вспять жизни, туда, где молодость, свету много, всё внове, малые дети радуют, а Прокоп — здоровый. Потом дума её крадётся росной тропкой на погост, где он лежит, зарытый, и мысленно говорит с ним о том, что вырастили они ладных таких сыновей — и Ваня в счёт, и он годен оказался на войну с тёмной силой. Дальше бегут у неё мысли: за порог, за околицу, туда, где начинается дорога на далёкий проклятый запад, куда ушли уже и Пётр, и Тимоша, и заранее страшно ей той минуты, когда её родной Ваня покатится по этой дороге за солнышком. Страшно — кабы душа-то отвердела да выдержала быть одной, совсем осиротевшей на белом свете.

Новый день пришёл. Сшила торбочку, уложила пару белья, чашку с ложкой, испекла хлеб, сварила загодя яички. И так-то тихонько всё плакала и плакала, что и слёз напоследок не осталось.

Сходила под вечер на край села, к мельнику Марикею, принесла под полой чекушку самогонки. Вечером пришла Поля с внучком. Матрёна собрала на стол, сели, выпили помаленьку, честь честью. — Ну, Ванюша, провожаю я тебя, сынок, — пришла пора и с тобой мне проститься, — вздохнув, торжественно и строго сказала Матрёна, чокаясь с сыном и снохой. — Такая, видать, у меня судьба — всех сынов на фронт проводить. Воюй, сынок, без позора, и оборони тебя Бог от пули.

— Вот, мам, и Ванюша сгодился, — сказала Полина. — А от Пети давно весточки не было. Как он там? Хоть бы на денёк отпустили! — и так тягостно вздохнула при этом, что Матрёна, только за собой признавая всю силу тоски по сыновьям, поняла бабью жгучую тоску снохи по её сыну и пожалела Полину.

— Может, где Петра встретишь? — сказала Полина.

— Узнай там, Ваня, и про Тимошу, — попросила мать. — Пospрошай у бывалых солдат: может, кто воевал с ним или слышал, — они, бывалые, много знают.

Полина записала на бумажке почтовые военные адреса Петра и Тимофея и бумажку положила в торбу.

Долго они сидели за столом, а перед ними на стене висели засиженные мухами тёмные рамки с фотографиями, и всё больше среди них — фотографии военных; на них сейчас остановила взгляд Матрёна. Тут и сыновья её, и муж, солдат первой германской, и родичи мужа — потому что и в его, и в её роду, наверное, не было мужика, который бы где-нибудь когда-нибудь не воевал.

Ночью тучи облокли небо, пал дождь, дорогу развезло. Утром Матрёне пришлось, провожая сына, надевать тяжёлые старые мужнины сапоги.

— Чо, Мотя, провожашь свою Ванюшку? — спрашивали соседки, проводившие коров в стадо.

Они прекрасно знали, что она провожает его на фронт, — вопрос был знаком вежливости и участия.

— Провожая последнего, — тихо отвечала Матрёна, и опять все знали, что она провожает последнего, — ей надо было высказать в своём ответе гордость и горечь своего положения.

— Войне, бают, поворот. Счас много солдат потребуется — фрица гнать. А из Ванюшки справный солдат будет, — покачивали головами женщины, и в том, как это говорилось, была надежда на окончание войны и на возвращение мужчин домой, и им была понятна Матрёнина гордость.

Кроме Ивана, по повесткам призывались в этот раз ещё трое: два молодёнка-школьника, которым пришло время идти, и школьный учитель. Школьников провожали матери, учителя — жена с двумя детьми. Матери провожали детей с достоинством: видно, выплакали своё дома и уже пообвыкли. А учительская жёнка обливалась слезами: только теперь проняло её насквозь, что разлучается с ним, может быть, навеки. Уговорит, успокоит её учитель: совестно, мол, Катюша, так-то при людях, держи себя в руках, а то уж будто хоронишь, — отвернётся со школьниками словом перекинуться. И так это у него с ними складно беседа течёт, будто у старшего брата с младшенькими, а уж учительша снова изводится, и детки её, глядя на неё, ревут.

Долго сидели на лавочке перед воротами сельсовета. Наконец приехал парнишка в бричке-одноколке. Школьники забрались первыми, забарахтались, как щенки, в духмяной кошенине, загалдели, загыгыкали. Учитель приструнил их нестрою; уселись, уложили торбы, умяли под собой кошенину — только головы из брички торчат рядком. А Ваня позади всех — особнячком, и сжалось сердце у Матрёны: так больно и обидно было ей на него смотреть — экой неловкий да неудальй, прости Господи, не умеет ни за себя постоять, ни словом перемолвиться. Ох как тяжко ему будет — всегда-то оттолкнутый да обиженный. Как такого отправлять в чужую сторону да на такое дело? Но ведь не сядешь, не поедешь вместо него!

Бричка тронулась, женщины всхлипнули, утёрли глаза концами платков; детишки, что тут были, помахали ладошками. Матрёна не плакала — только стояла, сложив руки, и смотрела, смотрела, как бричка прокатилась по улице, спустилась к пруду, взобралась на косогор и тихо, медленно скрылась за ним. А когда скрылась — побрела, не замечая остальных, домой. Дома до вечера, пока не пришла корова, просидела на лавке, тоскливо глядя в окно. Надо было работу исполнять, но она сейчас отстранилась от всего — привыкала к одиночеству и тишине.

Не было от Ивана вестей — будто в воду канул, и у Матрёны свежее прежних, за Тимошу, начались новые тревоги и переживания. Ей советовали написать в район, в военкомат. Она уже подговорила

сноху помочь ей написать, да всё откладывала на завтра, да на послезавтра, да на следующую неделю — жалко попусту серьёзных людей беспокоить, — и всё ждала: будет ей весточка от Ивана. Высматривала каждого прохожего на улице, и всякая маленькая примета наводила её на мысль о письме: вот собака залаяла, вот сорока застрекотала на плетне, вот паучок спустился с потолка, вот сон какой-то неясный, с деньгами, видела...

Время шло, надо было работать — летний день, известно, год кормит. Урывая время от колхозной работы, где утречком, где вечером, окучила картошку, докосила, что не докосили с Ваней, и сгребла сено, сметала сама два стожка. Не дал ей Бог большой силы, тяжело было: где раньше попевала с мужем, потом с сыновьями, теперь надо одной. И попевала, мучаясь от болезненной усталости в руках и спине, радуясь хотя бы тому, что ещё не подоспели боли в пояснице. Они начинались у неё после летних тяжёлых работ и мучили потом всю осень, самое ценное время, когда надо убирать картошку и овощ, и ей приходилось работать тогда, терпя и перемогая эту боль, едва не ползая на четвереньках.

Однажды под вечер в её дом вошли — и сердце её наполнилось тревогой в предчувствии чего-то нехорошего, скребущего душу неизвестностью, — двое в плащах и фуражках. Поздоровались, встали в дверях, обежали дом взглядами.

— Здравствуйте, — вежливо сказала Матрёна, машинально вытирая руки о передник. — Проходите, садитесь, — и повела рукой в сторону лавки, что тянулась вдоль стены, справляясь в то же время с предчувствием, хотя на коричневом от загара, морщинистом уже, хотя ей было всего пятьдесят, лице ничего не отразилось.

Так научилась она за свою жизнь прятать чувства, что никто бы никогда и не узнал, есть ли они там, остались ли с молодой поры, не превратились ли в чёрные камни, за которые она пряталась.

— Ничего, постоим, — сказал один из них. — Мы, мать, проверяем противопожарную безопасность — чтобы кто не сгорел случайно.

— Пожарники мы, — пояснил второй. — Ты нам покажи свой дом, а мы посмотрим.

У Матрёны отлегло, и всё же осталась тревога: ох, неспроста они! И отчего бы эта тревога?

Тот, кто заговорил первым, подошёл к русской печи, заглянул в неё, потом за печь, на печь, в подклеть печи, где зимой куры живут. — Где у тебя, мать, сыновья-то? — спросил первый, повернувшись к ней так резко, что аж напугал.

— Воюют. Где ж им ещё быть? — тихо ответила Матрёна.

— Ну, мать, показывай теперь подпол, — сказал разговорчивый, а сам уже нашёл глазами крышку с кольцом.

Поднял её, залез, обшарил фонариком нутро. Второй тем временем зашёл в горницу. Матрёна не успевала следить за обоими сразу.

Потом пошли с ней на улицу. Разговорчивый, кряхтя, полез на чердак и долго там возился, чихая, шурша банными вениками и пересушенными связками самосада. Слез, отряхнулся, проворчал строго: — Ты чего же это, мать, такое безобразие там развела? Смотри — сгодишь. Убери, убери оттуда всё!

Потом пошли осмотреть сарай, амбар, баньку, что стояла особняком посреди огорода — там, где огород к речке сбегает. Осмотрели и ушли.

Через неделю по селу прошёл слух: «У Матрёны сын дезертировал». А который сын-то? Да неизвестно. Вроде как младший, Иван, — тот, которого месяц назад взяли.

Матрёне передала слух Полина.

Полина сама терзалась: уж не её ли Пётр, случаем? Да нет, не похоже на Петра, он мужик крепкий, надёжный, — а всё ж таки скребёт её беспокойное сердце. Чего не передумаешь в долгие ночи! Война — она всё может с людьми сделать. Да ведь две недели назад письмо прислал, а в нём Ивана наставлял, как солдатом быть. Да письмо, вишь, не попало в срок.

Матрёна слухам верить не хотела и не могла — всё утро её протестовало, физически не принимало, отвергало слух. Маялась, не находя себе места ни в поле, ни в доме, ни в огороде. Вот и пожарники тоже — не зря ведь были, ох, чуяло её сердце, не зря! И первая её мысль была, когда она наконец не то что поверила слуху, а, скорей, сжилась с ним, потому что слух шёл упорный: неуж Тимоша? И сердце её облилось горячей кровью. Неизвестно, была ли бы такая весть ей в горечь — уж исстрадалась о нём, изныла её душа, рвясь навстречу пропавшему без вести сыночку, паря немой белой птицей над бесконечными земными просторами. Но нет, то не Тимоша, не может то быть Тимоша — он чистый, как ангел, прекрасный, как витязь, он храбрый пресветлый воин: ей ли не знать его? Теперь, когда можно было надеяться, что он жив, ей чаще стало видеться страшно: что идёт он будто бы, шатаясь и обливаясь кровью, клонясь и клонясь, вперёд, через пожарища, и спина его тонет в дыму. Лишь остался за ним на опалённой траве смятый кровавый след, и капли крови на ней — как огненные уголёчки, от которых дымится земля. И где-то впереди он будто бы не дошёл до врага, упал посреди поля и лежит там с тех пор дни, недели, месяцы, и ветер с дождём белят его русые волосы, и некому прибрать его бедное тело; распадается, чернеет провалами его белый лик, а сквозь восковые руки прорастает трава.

Нет, то, конечно же, всё-таки Ваня — его тёмная душенька, куда и матери не забраться, не высветить никакой силой. К страданию о среднем сыне ей прибавилось страдание о младшем. И опять видится ей: как сидел он, пригорюнившись, трясясь на задке брички, тихий, неумелый, нескладный, а потом — как бежит он серым зайчонком по кустам и травам, испуганный, затравленный, а далеко-далеко

вокруг заходят со всех сторон невидимые его загонщики в фуражках, окружают его, стягивают кольцо плотней и туже.

Так вот, только так умела она думать — картинами, и чем старше становилась, тем картины становились шире, огромнее. Сама она стала суше, темней лицом и молчаливее — горе и видения сушили её тело и мозг.

Соседки здоровались, заводили разговоры о мелочах, о домашних делах, но, как заметила Матрёна, — или уж так мнительна стала? — о войне, о мужьях и сыновьях-солдатах не заговаривали, и голоса их при этом стали приторны, а взгляды внимательны и остры — будто присматривались к ней как к чужачке, будто старались скрыть от неё свои беды и боли.

Снова к ней наведалься тот, разговорчивый: пожарник — не пожарник, милиционер — не милиционер, — одним словом, страж порядка, уже один. Теперь он болтал мало. Матрёна и вовсе молчала — сидела на табуретке, сложив руки и глядя прямо перед собой, пока тот шарил за печкой, лазал в подпол, ходил на улицу осмотреть сарай, амбар, баню, шебаршил вениками на чердаке.

— Так, мать, и не убрала веники-то? Смотри, наживёшь беду! — выговорил он ей, возвращаясь в дом. — Сыновья в гости не жаловали?

Матрёна не ответила. Только поглядела на него долгим невидящим взглядом — а Ваня бежит, пробирается от кустика к кусту, и кольцо всё плотней и ближе... Страж порядка посмотрел на неё пронзительно, вприщур, как бы стараясь угадать, о чём она думает. И ушёл, видно, так и не догадавшись.

Слух об Иване прошелестел по деревне луковой шелухой, осыпался и сменился новыми — много разных ползучих слухов ходило в те поры по деревням и сёлам. Только этот, об Иване, ожёг Матрёну и с тех пор, не унимаясь, горит и горит в мозгу неровным чадающим пламенем днём и ночью.

Подступила осень. Упали первые жёлтые листья с тополя, и первые морозные утренники обуглили картофельную и огуречную ботву в огороде. В воздухе стало чисто, просторно и прохладно.

Матрёна всё ждала ночами стука в дверь. И дождалась. Только легла — а лечь и встать ей становилось всё тяжелей и тяжелей: опять болела поясница, и пока днём топталась — ничего, а уж как лечь да встать — мука, — стучат в дверь. Вздрыгнула Матрёна, напряглась: не показалось ли? Стук повторился. Сердце забило; вскочила, забыв про поясницу, накинула кофту и — в сени: — Кто там?

Никого как будто. Подождала. И тогда тихо, как из погреба: — Мама, открой! — и нетерпеливо переступили на крыльце ноги.

Иван! — и сердце её упало; до самого этого момента никак не могла вконец увериться, что её сын — дезертир. Открыла — чёрный

звёздный провал двери заслонила тёмная фигура. Впустила, закрыла дверь на задвижку, на ощупь вошла с ним в тёмную духоту избы, плотно задёрнула на окнах занавески, с горем пополам засветила коптилку — руки не слушаются, дрожат, крошат драгоценные спички.

Иван тяжело, устало прошёл, сел на лавку возле стола. А вид-то, вид, Господи! — вгляделась она в него при крохотном, в ноготок, пламени. Лицо тёмное, измождённое, непокрытая голова всклокочена, торчит во все стороны волосьё, всё в сенной трухе, борода вылезла клочками, гимнастёрка грязная, поверх неё зелёная фуфайчонка с оборванными пуговицами висит ремками.

— Убежал я, ма,— глухо произнёс он, а сам, мигая воспалёнными глазами, выжидающе смотрит, что мать скажет.

Заругается? Заплачет? Проклянёт?

— Зачем же ты, Ванюша, сделал этак-то? Каку беду на себя накликать! Тебя тут уже искали. Не простится тебе этот грех,— прошептала она тихо, но горячо.

— Не мог я боле, чижало,— Иван не то вздохнул, не то всхлинул.— Дай, ма, поесть.

Засуетилась Матрёна. Достала из печки горшок остатних постных щей, сковородку с подсохшими драниками, положила на стол несколько луковок, огурчик, принесла из сеней крынку холодного молока. Иван принялся шумно есть — хлебать щи, хрустеть луком и огурцом. Матрёна села напротив, сложив руки на столе.

— Ну и что же, что чижало? Всем чижало. Перетерпится, переможет. Петро там, Тимоша там, братцы-то твои,— им рази не чижало? Тимоша, может, уже и голову сложил. Поди, Ваня, повинись!

— Не пойду,— угрюмо сказал Иван.

— Хочешь, я с тобой пойду, скажу им, что ты головой слаб? Может, простят?

Иван ничего не ответил, продолжая есть.

— Что же делать-то? Поймают тебя. Расстреляют или посадят. Время-то како, Господи! Были уже два раза.

Иван всё съел, поискал глазами, чего бы ещё съесть.

— Ах ты, Господи, и дать-то больше нечего! Может, ещё молочка попьёшь?

Иван подумал.

— Не надо,— подвинулся к краю стола, склонился низко, облокотившись одной рукой о стол.— Чижало, ма, не могу. Ничо не умею. Строем ходить, право-лево держать — понять не могу. Сержант ругается громко — а у меня страх. Смеются надо мной, бьют, толкают. Эту самую... гранату при мне взорвали — кы-ык жажнет! — Ивана передёрнула судорога.— На поезде мы ехали — я и убежал.

Ах, как она понимала, что с ним происходит, как ему тяжело. Но ещё тяжелее ей было видеть своего сына таким; не хотело её сердце смириться с тем, что он у неё дезертир.

— Отродясь не было в родове ни у нас, ни у отца дезертиров. Позор-то какой, Ванюша, ты бы знал! Народ, Ваня воюет, тут думать об себе не приходится. Как жить-то теперь? Как людям в глаза глядеть?

Иван молчал, всё так же опустив голову.

— А не знаю. Но не могу я, ма. Я убежать не хотел — хотел только в поле сходить. Пошёл, пошёл, и тут поле началось, солнышко светит, жаворонки чирикают, и так мне стало чижало — разрывается грудь. Вот, кажись, сдохну сейчас, не выдержу — так чижало. Веришь ли — слёзы сами потекли. Ну, я и пошёл, пошёл...

— Зачем не воротился?

— Воротился! А ашалона на станции нету — уехали. Я и забоялся.

— А дом-то же нашёл!

— Не знаю, как и нашёл. Шёл и шёл. Страшно днём-то, так я ночью.

— Нет, должен ты, Ваня, всё ж таки пойти заявиться. Так и так, мол, отстал от ашалона, шёл долго.

— Ну да, так и поверят! — буркнул Иван. — Не могу я, боюсь, — он медленно отёр ладонью заросшую щёку и уронил голову на руку. — Устал я, ма, спать хочу.

— Как же спать-то? — схватилась Матрёна за голову. — Придут и заберут!

— На сеновале спрячусь.

— Окстись, Ваня! Найдут и там — они всё обшаривают.

— Пойду я, ма, — уныло произнёс Иван.

Она принесла ему из кладовки старый овинный кожушок и шапку; он надел их и пошёл спать на сеновал.

Ушёл, а у Матрёны какой сон? Глаз до утра не сомкнула — лежала и думала, как ей теперь быть с Иваном. Не жизнь это — прятаться на сеновале: не стражи, так зима найдёт. В подпол? Придут, посветят фонариком — и готово. Ежели выкопать потайной ход в подполе — так этот, разговорчивый, её подпол уже наизусть знает. В амбаре есть погребушка, её стражи не заметили — на крышке кадка стоит, а в кадке охвостье для кур. Сухо в погребе, стенки жердями забраны, только кислый запах остался — Прокоп, когда жив был, кожи там, таясь от милиции, выделявал. Бросить туда сенца, тулуп, драньё всякое, опять кадку поставить... Опять же, как будет кормиться? Как на двор ходить? Как обороняться от приметливых соседских взглядов?

Встала раным-рано, до света, с первым петушьим звоном. Растопила плиту, подоила корову, вместо хлеба — быстро завела и пожарила пресные драники, сварила два яичка и понесла всё это вместе с крынкой молока в стайку.

— Ваня! — позвала тихо.

Зашуршало сено. Иван промычал спросонья, пошуршал сеном, высунул голову в проём сеновала. Матрёна подала ему наверх еду, спросила:

— Ну как ты, не замёрз?

А у самой губы не сойдутся — утренник студёный, с инеем, и всё страшно, кабы кто не приметил: с самого того часа, как Иван заявился, всё ей мерещатся чьи-то шаги по двору, скрип калитки, лай собак в дальнем конце улицы. Иван взял еду. Дождаться, пока поест, она не стала — надо было проводить корову в стадо да бежать на работу.

Весь день на работе не знала покоя её головушка. Руки опускаются; выпрямится отдохнуть — и замрёт, ничего вокруг не видя, — только одно на уме: как там Иван? Не вышел ли средь бела дня на воздух? Не пришли ли за ним? Не забрались ли в стайку соседские пострелята? Она в последнее время вообще не своя стала, а уж сегодня совсем никуда, заметят ведь...

Вечером пришла домой — успеть коровушку встретить, подоить, телушку с курочками загнать, а уж картошку копать некогда — надо стготовить поесть Ивану. И всё боязно: взглянет в окошко, не идут ли по улице, и замрёт; так тяжело на душе — а ведь всего один день как Иван дома; висит камнем тяжкий грех, отравляет душу — ни минуты забвенья от него. За что на такую кару обрёт он её? И как теперь жить? Изо дня в день, из недели в неделю — неизвестно сколько.

Как стемнело, снова понесла ему поесть. Покликала тихонько, опять зашевелилось сено. Едва видно, как свесился в проём Иван, взял еду, буркнул:

— Отоспался. Приготовь каку сумочку, пойду я.

— Куда пойдёшь-то?

— Не знаю. Не могу я здесь больше. Да ить и поймают же.

«Да, конечно, конечно, — сказала она самой себе. — Надо идти».

Освободила ему мешочек, приладила лямку из куска верёвки, положила в него драников, огурцов, лука, сварила и сложила туда все, какие были, яички. Ночью Иван поскрёбся в дверь, зашёл.

— Ну, приготовила?

— Вот, на.

Иван посидел ещё на лавке. Неохота ему, видать, было уходить.

— Повинился бы ты, Вань. Не расстреляют же?

Иван ничего не ответил. Посидел ещё.

— Ладно, ма, я пошёл.

Не стала она больше спрашивать, куда: какая разница? Горе мыкать, от людей прятаться, бродяжить.

Дней через десять пришёл страж. Матрёна обмерла: ну всё, пришли по её грешную душу, заберут за то, что прятала дезертира, засудят. Но нет, проверил, поспрашивал, где сыновья, и подался.

Второй раз Иван пришёл через полтора месяца, ночью, в непроглядную темь. Уже самый конец осени был, последнюю картошку и овощ с огородов пособрали, уже земля морозной корочкой покрылась, но снега ещё не было. Зашёл, сел, а на нём лица нет. Глаза ввалились, бегают туда-сюда, без конца испуганно озирается, из-за перекошенных губ

в сваянной бородёнке — оскал жёлтых зубов. Матрёна не спрашивала, где и как он провёл время, — и так понятно: лесным загнанным зверем жил. Больно, слёзно было на него глядеть.

— Ох, Иван, Иван, боль ты моя, наказание моё, — тихо причитала она. — Сколь же ты мучиться-то будешь? За что тебя Бог наказал — и меня, грешную? И что мне с тобой делать? Пропадёшь ты совсем. Ой-ёй-ёй, как жить, как жить?

А сама тем временем накормила его, нагрела воды, чтобы вымылся, нашла всю старую мужскую одежду, переодеть его, и уложила спать в горнице — всё равно уж теперь, а сама в ту ночь своими руками отодвинула сорокаведёрную кадь с охвостем в амбаре, наносила туда сена, тряпья, тулуп стародавний сбросила, оставила там на кадушке коптилку со спичками, а чуть ночь пошла на убыль — разбудила Ивана и, разрывая себе сердце, отвела в его новое жилище, в схоронку, — чуть ли не живого в могилу отправила. «А чем не могила? — нехорошо подумала она. — Сыра земля, камень и тлетворный, кислый подземный запах...» Да что делать-то? Не думала не гадала, что сына живым хоронить придётся.

Иван жил в погребке тихо, покорно: намаялся, набегался парень, натерпелся страху, да голоду, да холоду. Сутками сидел без движенья, как мышка в норе. Тёмной ночью просил выпустить его ненадолго, вылезал, шастал тенью по двору, заходил в избу. Матрёна теперь совсем перестала затворять дверь на ночь, несмотря на то что время военное, в селе полно чужих, эвакуированных, без конца идут через село калеки, бездомные, голодные, раздетые, просят Христа ради чего-нибудь — только чтоб в рот положить.

Осторожно, чтоб не наткаться на углы, Иван крался тёмной тенью в дом, садился за стол, ел медленно, без желания, потом долго молча сидел. Матрёне сдавалось, что он с каждым днём слабнет — душевно и физически. Стала рубить кур, поить его наваром и кормить курятиной. «Ладно, проживём без кур, — рассуждала она. — Оставлю двух на расплод да посажу весной парить, авось к осени новые нарастут». Курятину Иван ел, жамкал кости, урчал от удовольствия.

И всё молчал. И Матрёна молчала. А о чём говорить-то? Как-то странно она теперь относилась к сыну. Жалела, делала всё, что надо делать, чтобы выжил, делала стойко, терпеливо. Но холодом тронуло её сердце, словно смотрела она теперь на всё — и на Ивана тоже — сквозь прозрачную ледяшку. Состраданием, отчаянием и любовью ожгло, пронзило её в последний раз сильно, когда Иван пришёл ночью после своего последнего бега. С той поры холодало в её груди, тихонько остывало и покрывалось серой золой. Остались только терпение и томительное, нудное, выматывающее ожидание каждый день конца — чем дальше, тем острее, потому что длиться это вечно не могло. Как она не привыкла к такой жизни, скрытной, тайной, нечистой!

Началась зима — выпал первый настоящий зимний снежок, пушистый, обильный, какому всегда рады и мал и стар. А Матрёне он добавил забот. Потом начались морозы, потянул северный калёный хиус. Ночью месяц выглядывал сквозь быстро бегущие облака, и когда выглядывал — разливал безжизненный, мёртвый свет на пустые дворы и улицы. Но свет этот её раздражал: казалось, что он — слишком сильный, яркий, прямо как солнце.

Иванов погреб медленно промерзал; крадучись в тени стрех, он приходил продрогший, трясущийся. В последнее время он совсем вымерз — исхудал, согнулся, как старичок, почернел лицом. Придёт в избу и греется, греется возле печки, трёт руки и никак не может согреться. Вот оно где, истинное-то наказание, — страшней уже, кажется, и нет ничего. Так думала Матрёна, а вслух говорила:

— Ты уж осторожней, Иван, счас на снегу больно хорошо всё видать...

Как-то днём прибежала Полина, сказала:

— Мама, люди шепчутся — ты Ивана прятешь.

Не дрогнула Матрёна, не забилося сильнее её сердце, не опустились руки — только замерла на минуту, собираясь с ответом.

— Раз люди говорят, — ответила она, — значит, так и есть. От них не скроешься.

— Правда, что ль? — отступила на шаг Полина и огляделась по избе, будто надеясь тут же заметить спрятанного Ивана. Перешла на шёпот: — Так ведь заберут!

— Значит, тому и быть. А ты, дочка, не мешайся — тут наш с Иваном ответ.

Несколько дней спустя глянула Матрёна на улицу — и выпал из её рук ухват: идёт! Далеко его приметил. Узнала. Неторопко идёт: на работе, чай, — куда спешить? Подняла ухват, поставил в угол. Села за стол, подперла щеку кулаком. Тот самый идёт, что всегда приходил. Вот уж открыл калитку, прохрустел сапогами вдоль двора, вошёл в избу, крепко хлопнув дверью.

— Здорово, мать, — сказал резко, без улыбочек. — Где сын? Показывай!

Матрёна продолжала молча сидеть за столом, подперев голову и отрешённо глядя в окно.

— Ну, вредная старуха. Всё равно ведь найду.

Он вытащил пистолет и фонарик, привычно заглянув под печь, где теперь жили куры, слазал в подполье, осмотрел и простукал там все стенки. Вышел на улицу, постоял в раздумье, внимательно осматриваясь кругом, и напрямиком направился к амбару, заметив, видно, следы на снегу.

Долго его не было, и Матрёна не выдержала — выскочила немного погоды, накинув телогрейку, и — тоже туда.

В амбаре был открыт лаз, над лазом с пистолетом и фонариком стоял страж, а из погреба вылезал Иван. Давно она не видела его при дневном свете, а к ночному виду его привыкла — или уж

сослепу ночью рассмотреть не могла? Из погреба вылезал почти мертвец с синими губами, с чёрными кругами под глазами, с тёмным грязным комком вместо бороды, а загноившиеся глаза его смотрели с застывшим ужасом одинаково и на стража, и на мать, и на весь белый свет.

Увидев эти глаза, она вздрогнула и подумала, что, может быть, видит его в последний раз, что сейчас отнимут его у неё навсегда, и с новой силой вспыхнула в ней жаркая, неистребимая любовь к родному детищу, поломанному, раздавленному, угасающему телом. — Лицом к стене! — рявкнул страж на вылезшего Ивана, и тот, качнувшись в страхе, как-то боком на неверных ногах прислонился к стенке. — Не стреляй! — душераздирающе крикнула Матрёна, хватая за рукав стража, — ей показалось, что он сейчас застрелит Ивана. — Он больной, не в себе, не понимает ничего!

— Отстань, мать, — нехотя отмахнулся от неё страж, в одной руке держа пистолет, а другой доставая из кармана ремешок. — Никто не собирается стрелять. Отвезу куда надо, а там разберутся, больной или не больной.

Он сунул пистолет в карман и схватил руки Ивана, желая завести их за спину, но, видимо, не почувствовал в них никакой силы, спрятал ремешок в карман и крепко ухватил Ивана повыше локтя.

— Так что, мать, прощайся с сынком. Больной — так полечат, а здоровый — в дальнюю командировку отправят, лет на десяток, — довольный выполненной работой, усмехнулся страж и дёрнул Ивана за локоть. — Пошли!

И они пошли со двора прямым ходом в сельсовет, плотно сцепившись руками — будто два друга идут, и пока шли по улице, их провожали долгими взглядами редкие женщины, да мальчишки бежали следом, ухая от страха и любопытства при виде «страшили», да остервенело, чуя чужаков, гавкали из подворотен собаки. И всё это отдавало такой сельской неторопливостью, покоем даже — будто на свете в это время не было никаких войн и преступлений.

Это потом уже парнишка, тот самый, что летом отвозил Ивана в бричке на войну, а потом его же, вместе с милиционером, уже в стареньких скрипучих дровнях, всюду связанных верёвочками и проволокой, — в район, рассказывал Матрёне, как всё было. А она, с сухими, без слезинки, глазами, с тёмным лицом, обвязанным тёмным платком, в стёганой телогрейке с чёрными суконными заплатами, в чёрной же юбке и чёрных же, с кожаными задниками, валенках, стояла перед ним, как изваяние из тёмного шершавого камня. Только лицо не из камня — оно теплей его, оно будто из дерева, тёмного тоже, шершавого, но — с тёплым медвяным отливом, как старая лиственница, к примеру, из которой срублены здесь дома лет сто назад, а то и побольше.

И парнишка тот подробно рассказывал ей, как сели они, вместе с Иваном и милиционером, возле сельсовета в его дровни и тронулись в путь, как он понужал свою лошаде́нку, измотанную зимними ездками по сугробам за сеном да за дровами, да как милиционер курил без конца свои папироски и балагурил с парнишкой: «Ну, на тот свет с тобой ездить в самый раз: и ста лет не пройдёт, как довезёшь»,— а Иван сидел сзади неподвижно, будто глухой и слепой, голову повесивши. Только встрепенётся иногда, повертит ею, будто увидел что-то знакомое, и опять опустит. Так проехали километра три, спустились в ложок, перетаскились через замёрзший ручей, и тут, перед подъёмом, лошадь остановилась помочиться. «Перекур,— будто бы сказал парнишка,— двигатель перегрелся»,— а страж подмигнул ему и говорит: «И мы тоже заодно сольём»,— соскочил и шагнул в снег, к придорожной осинке.

Тут Иван встрепенулся, повёл вокруг глазами и вроде как даже улыбнулся, будто место знакомое узнал. Завозился в соломе, на которой сидел,— да как прыгнет в другую сторону от милиционера, да и рванул по снегу к осинничку, наискосок по склону, всё больше вверх забирая.

«Смотри, Ванька-то побежал!»— удивлённо сказал парнишка. Милиционер оглянулся и махом сиганул через дровни, доставая пистолет.

«Стой! — заорал.— Стой, мать твою так, стой, стрелять буду!»— и в воздух пальнул, так что эхо раскатилось по ближним заснеженным сограм.

Чокнутый-то чокнутый Иван, и, кажется, уже не осталось в нём никаких сил после погребя, и смотреть-то там не на что — скелет скелетом, и дух от него такой, что сидеть рядом муторно,— а так рванул во все лопатки, будто заяц, только почуявши носом, как свобода пахнет. Не может его догнать милиционер, и всё: мелькает перед ним Иван в осинничке шагах в сорока, а там, дальше, ельники начинаются, и время уже ближе к вечеру. Заскочит в ельник — и ищи-свищи.

Милиционер и орал, и пистолетом размахивал, а как только вскочил на место почище да различил Иванову спину яснее — пал на колени, прицелился, выстрелил несколько раз, но, видно, промазал. А Иван и споткнись в тот момент — от страху, скорей всего,— и упал на трухлявый пенёк, лицом вперёд. Тут милиционер вскочил, пробежал ещё несколько шагов и снова выстрелил. И такая тишина кругом стала после выстрела, что прямо вот слышно, как пуля ширкнула в Ивана, рванула телогрейку и рубаху на нём и с хрустом вошла внутрь. Он уронил голову, захрипел, что-то крикнуть, похоже, хотел, а руками всё гребёт под себя старую прель вместе со снегом.

Милиционер подбежал, перевернул его, пульс пощупал, телогрейку задрал — посмотреть, что там за рана, выпрямился, закурил. Потом машет рукой, кричит: «Эй, пацан, а ну давай с лошадью сюда!»

Парнишка перетрухал малость: вон как дело-то обернулось, тут, брат, не шутят, тут всё всерьёз,— и тотчас же, нещадно стегая лошадёнку — никак не хотела сходить с дороги! — погнал её напрямик, через осинник и пни-колоды. Лошадь упирается, дровни трещат, а он знай погоняет, прута не жалея. Лошадь оглоблю-то и выломала. Примотали они её вдвоём кое-как, вытащили лошадь вместе с санями опять на дорогу, потом выволокли Иваново тело, взвалили на дровни лицом вниз, чтобы не пугал. А пока волокли, милиционер спускал на парнишке зло. «Эх,— говорит,— перекрестить бы тебя самого этой оглоблей, чтоб знал, как колхозное добро переводить! И дали же мне детский сад, сопли им тут на кулак мотать!.. И этот урод тоже... Бывают же заячьи души — до суда не доживают! Откуда он у вас такой красивый взялся? Первый в районе. Чемпион по бегу!..» — «Что, назад теперь ехать?» — будто бы насупленно спросил обиженный на милиционера мальчишка. «Какой «назад»? Дальше поехали — сдать мне его надо по всей форме! А потом ещё протокол писать будем, и ты тоже подпишешься — видел же всё! Так и так, мол, на выезде из села, при попытке к бегству!»

Александр Матвейчев

Моя Великая Отечественная

ойна есть убийство.

Лев Толстой

О

Солнечным июньским полднем по высокой пустынной дамбе, мощённой щербатыми бульжниками, купая босые ноги в горячей пыли обочины, возвращаюсь, поддёргивая короткие штанишки, с утреннего детского сеанса в единственном городском кинотеатре. Нахожусь под впечатлением от фильма «Маузеристы». Вот бы так же расправляться с врагами, как наши одетые в кожанки бойцы: стрелять без промаха в беляков сразу из двух маузеров!.. Мне восемь с половиной лет, позади первый класс, впереди — первые в жизни летние каникулы. Купайся и загорай на вятском пляже, рыбачь, читай книжки. Играй в войну красных с белыми. В бабки, лапту, лото или домино.

Бреду домой в Заошму — пропахший бардой и опилками рабочий посёлок со спиртовым и кирпичным заводами и лесопилкой в районном городишке Мамадыш. Где, как говорит старшая сестра, в сороковом году жителей стало больше восьми тысяч. Если так дело пойдёт, думаю я, то скоро и Москву догоним!..

С обеих сторон дамбы — разлившаяся в половодье речка Ошма, приток Вятки. После половодья она превращается в мелководную, с вязкими илистыми берегами, местами поросшими камышом, тальником и ольшаником, речку. А сейчас Ошма слилась с Вяткой, превратилась в полноводную красавицу. По её ослепительной глади снуют катера и смолёные остроносые лодки с рыбаками и хозяйственными мужиками, запасающими брёвна. Сосна плывёт с верховьев, как будто никому не нужная, из Кировских леспромхозов. Самое благодатное время запасать, вопреки запретам властей, лесины на дрова и постройки.

Из громкоговорителя, прибитого на столбе, или с какого-то катера разносится в голубом пространстве музыка, как будто вещает само небо.

Репродуктор смолкает, и после внушительного треска диктор трижды, с интервалами, повторяет: «Внимание! Говорит Москва! Передаём важное правительственное сообщение!» Репродуктор снова замолкает, только задумчиво хрустит, словно грызёт ржаной сухарь. И вдруг из него, как всплеск молнии и удар грома, картаво-бесстрастным

голосом председателя Совета народных комиссаров Молотова в меня навсегда вонзается страшной реальностью слово: *война* . .

Было ли это на самом деле, а сейчас мне только кажется, что в тот миг солнце померкло, лодки и катера на водной глади замерли, как в стоп-кадре, и только люди метались на них и что-то кричали. В мир природы и в души народа вошло нечто, что грозило невозвратимыми потерями и жуткими последствиями. Это я почувствовал на себе, словно мигом постарев на много лет.

И конечно, подумал о старшем брате Кирилле: осенью сорокового его забрали в армию, и он писал, что учится в Петрозаводске, в школе младших командиров. Значит, мы его не скоро увидим. И увидим ли?.. Недаром мама, слушая радио об оккупации немцами стран Европы, повторяет: «Ой, только бы не война!..» В Гражданскую войну погиб её младший брат Борис. А в двадцать девятом и старшего брата Николая Ивановича — сельского учителя и видного чекиста — упрятали в психушку в Сарапуле за неприятие чекистских методов расправы с «врагами народа». И когда и отчего он умер, как и о месте его захоронения, никто толком не узнал. Ни жена, ни трое сыновей, воевавших в Отечественную с немцами за Родину...

С новостью о войне я забегаю к приятелю по школе, Гришке Хайруллину, и мы, валяясь на лужайке в тени бревенчатого дома наших соседей, обсуждаем, как сбежим на фронт. А там, подпустив немцев поближе, будем косить их из пулемёта «максим», как чапаевская Анка...

Однако родители опередили нас с уходом на позиции. Гришкиного отца, как резервиста, отправили на фронт от двух сыновей и больной чахоткой жены. А мою маму «подставила» дочь Наталия. У мамы на попечительстве было двое детей — я, восьмилетний, и десятилетняя племянница-сирота Веруська, — и её бы рыть окопы не погнало. А Наташа, патриотка, большевичка, секретарь райкома комсомола, взяла на себя заботу о детях. И мама-сердечница полгода — в холоде, голоде, в борьбе со вшами — копала мёрзлую землю на правом берегу Волги. Вместе с тысячами других людей — русских, татар, чувашей, удмуртов, башкир, — в основном женщин и негодных для армии мужиков, собранных из разных республик и областей сооружать траншеи, дзоты, опорные огневые и командные пункты на случай падения Москвы и выхода немецких орд к Казани. Много народа полегло там не от пуль, бомб и снарядов, а от мороза, недоедания, тифа и дизентерии.

Слава Богу, сотни километров глубоко эшелонированных оборонительных позиций нашей армии не понадобились: немец, после поражения под Москвой, в августе сорок второго ударил, на свою погибель, далеко южнее Казани — по Сталинграду.

Гришкин отец вскоре погиб, мать умерла от туберкулёза. Гришку приютил мамадышский детдом, а его трёхлетнего братишку взяла

к себе бездетная сестра убитого отца, жившая тоже в Мамадыше, в слободе Заошма, рядом со спиртовым заводом.

Наталии, сестре, некогда было прилежно заботиться обо мне и сироте — десятилетней Веруське. Она родилась от неизвестного отца маминной сестры, Лукерьи, умершей перед войной от туберкулёза, полученного от свинцовой типографской пыли. А наша опекунша Наталия пропадала в райкоме комсомола сутками, мобилизуя и направляя молодёжь на боевые и трудовые подвиги.

За нами приглядывала бездетная хозяйка дома, почтальонша тётя Надя. С утра она уходила разносить письма и похоронки, поручая нам выполнение многочисленных домашних заданий. Мы с десятилетней Верой пилили и кололи дрова, топили печку, варили картошку и кашу, стирали и мыли пол, кормили моего пса Джека. И вместе спали на просторной русской печке. А утром слушали радиосообщения Совинформбюро о положении на фронтах.

Перед сном рассказывали друг другу жуткие сказки или строили коварные планы борьбы с оккупантами, если они захватят Мамадыш. Городская электростанция, если были исправны локомотивы с генераторами, начинала работать с наступлением темноты и останавливалась в полночь. Частенько уроки приходилось делать при свете настольной керосиновой лампы или свечи.

Страшнее зимы с сорок первого на сорок второй год я не помню. Морозы за тридцать градусов с ноября стояли сухие, смертельные. Одежка, исключая валенки, лишь символически зимняя, школа далеко. Пока добежишь — душа и тело превращаются в ледяную сосульку. А приходилось вставать в пять утра и до школы сбегать, в сопровождении верного лохматого Джека, в очередь за хлебом в центр Мамадыша. Сначала ждать открытия булочной не меньше часа в длинной очереди на улице, а потом — рискуя быть задавленным немилосердными взрослыми. Когда магазин открывался, каждый стремился прорваться к прилавку первым. Взрослых одолевал страх опоздать на работу: за пять минут опоздания можно было угодить в ГУЛАГ на неопределённый срок.

А чёрный пёс терпеливо дожидался меня и хлебного довеска на улице.

От разговоров взрослых в очереди брала тоска: отстоят ли наши Москву? что будет, если немец дойдёт до нашего города?.. Недаром же власть приказала с вечера не зажигать фонари на столбах и плотно занавешивать окна домов. С наступлением темноты было страшно выбегать в надворную уборную, поэтому ходили в вёдра. К Казани якобы уже прорывались немецкие самолёты и сбрасывали бомбы. А от столицы Татарии до Мамадыша всего полторы сотни километров — двадцать минут лёта. И на весь наш городок не было ни одного бомбоубежища. Говорили, что вот-вот заставят рыть укрытия во всех дворах или в огородах.

А в школе ко мне придиралась пожилая учительница, Екатерина Иосифовна. Однажды за болтовню во время урока приказала выйти из класса. Я не подчинился. Она подскочила ко мне и стала выдёргивать за шиворот, как злая бабка репку из грядки, силой. Я уцепился за край пюпитра, закашлялся от удушья. И тогда она сдёрнула с моих ног валенки, вытолкнула ударом колена под зад в коридор. Засеменила в учительскую и позвонила в райком комсомола моей сестре. Та до лета сорок первого работала директрисой этой школы — до избрания её секретарём райкома комсомола.

Наташа приехала довольно скоро на райкомовской кошёвке и, увидев меня в коридоре у окна без валенок, спросила, куда я их девал.

— Сдал в фонд обороны! — нашёлся я с ответом.

Эта фраза сразу превратилась в домашний анекдот на всю оставшуюся жизнь. Сбор тёплых вещей для фронтовиков в фонд обороны был патриотическим почином. На фронт отсылались посылки с вязаными носками и варежками, валенками, портянками, махоркой. Отдельно собирались деньги, драгоценности на производство вооружения — танков, самолётов, пушек.

Всё для фронта! Всё для победы! Смерть немецким оккупантам! За Родину! За Сталина! Победа будет за нами!..

Сестре валенки вернули, и она меня с комфортом, на кошёвке, укутав в казённый овчинный тулуп, доставила домой. А вечером попыталась продолжить воспитание невесомым клеёнчатый ремешком. Однако я разрушил её коварный план: нырнул под стол, брыкался, и она не могла меня оттуда вытащить. И кричал, что убегу на фронт и всё расскажу брату Кириллу. Мы уже получили от него пару треугольных коротких писем с передовой, написанных каллиграфическим почерком, понятным даже мне, второкласснику. Навсегда врезалась в память фраза из одного из этих дорогих посланий с бойни: «Ломаю рога фашистскому зверю...»

В начале зимы, по первому снегу, приполз к калитке дома, громко скуля и истекая кровью, мой Джек. Я и Веруська со слезами затащили его во двор и потом в пустой хлев, уложили на солому, и я укрыл его своим пальтишком. Какой-то негодяй выстрелил в пса дробью, ранил в шею и выбил правый глаз. Мы его выходили, но я остался без пальто и вынужден был ходить в школу в старой, мне до пят, шубейке моей сестры, пока портной порол и шил мне обнову из пиджака мужа тёти Нади, воевавшего на неизвестном фронте. В кладовке хранилось много его столярного и плотничьего инструмента. Он и этот дом сам поставил из лесоматериала с соседней лесопилки, где работал бригадиром, но брони не имел и сразу попал на фронт. От него не было никаких вестей, и тётя Надя, радуясь, что осталась бездетной, гадала, погиб он или угодил в плен.

А вскоре я пережил потерю моего Джека. Незадолго до его пропажи он преподнёс нам с Веруськой сюрприз. Мы пилили дрова на козлах во дворе двуручной пилой, а он прокрался в сени, из них — в открытую кладовку и выскочил во двор, унося в зубах драгоценный кусок мёрзлой свинины, завёрнутой в мешковину. Я бросился к нему с поленом в руке, но он перемахнул штaketник и по глубокому снегу умчался в дальний край огорода. Где запасливый кобель закопал добычу — обнаружить нам не удалось. А потом исчез и сам, и я каждое утро оплакивал без вести пропавшего друга, отправляясь в очередь за хлебом по заснеженным тёмным улицам один, без охраны, без его заливистого обмена лаем со знакомыми собаками Заошмы.

О

Наступление нового, сорок второго года отмечалось школьным концертом. Я и эвакуированная из осаждённого немцами Питера красивая девочка Ира, моя одноклассница, выступили с оглушительным успехом в одноактной пьеске «Петрушка и свинарочка». В финале я, в бумажном колпаке и с буратинским, на ниточке, завязанной на затылке, носом, и Ирочка, наряженная под Мальвину, взявшись за руки, сплясали и спели под баян ныне забытый шлягер: «Вот танцует парочка — Петрушка и свинарочка...»

За прекрасный дебют мне и Ирочке вручили по карамельке и печенюшке. Мы спрятались в пустом тёмном классе, и я, безумно влюблённый в Ирочку с первого взгляда, без сожаления и утраты отдал ей печенье и конфетку. Она чмокнула меня в намазанную помадой щёку и захрустела лакомством. А я, лопух, так и не признался ей в своём первом чистом чувстве. Не успел. Поскольку в новогодние каникулы мы от почтальонши тёти Нади переехали в другую, близкую от центра, часть города, в предоставленную сестре райкомом комнату с отдельным крыльцом и сенями в новой бревенчатой пристройке к дореволюционному бараку. Так что третью четверть мне пришлось начать в двухэтажной школе-четырёхлетке. Тильная сторона нашего барака была обращена к школьному двору, а торцовая — к скверу с летним кинотеатром и танцевальной площадке. Здесь ещё прошлым летом, в ночь на двадцать второе июня, гремел духовой оркестр, а мы, пацаны, подглядывали, как выпускники средней школы, парни и девушки, танцевали и целовались в кустах акации и сирени.

Без помпы отметив в каникулы своё десятилетие, я стал шмыгать в школу со своего двора кратчайшим путём — через дырку в заборе, мимо надворной школьной уборной.

Радость переезда в собственное жильё сразу сменилась тяжёлым разочарованием. Квартира оказалась безнадежно холодной: сколько ни топи, тепла не прибавлялось. К утру замерзала вода в ведре, а бывало, и картошка в мешке, положенном на огромную и бесполезную русскую печку. Сырые мёрзлые дрова не хотели гореть в её упрямом

чреве — только потели и выделяли чад не в трубу, а в комнату, выгоняя домочадцев на улицу. Спички, как и соль, а тем более сахар, стали невозполнимым дефицитом. Многие, особенно курильщики самосада и махры, и мы, собиравшие за ними бычки, перешли на добычу огня кресалами и древесным мхом. У меня такого инструмента не было, и приходилось, стесняясь и извиняясь, бегать за огнём к соседям и приносить от них лучинку, подожжённую от пламени их лампы или затопленной печи.

Так что и мне довелось получить предметное представление о муках советских граждан в ленинградской блокаде. Горячий комсомольский задор сестра щедро растрчивала на воспитание молодёжи в духе преданности делу Ленина — Сталина и мобилизацию духа юношей и девушек на трудовые и боевые успехи. А свой быт, потом и семейный уют, не научилась устраивать до конца жизни. Хотя, думаю, тогда у неё, как секретаря райкома, было достаточно власти, чтобы заставить строителей устранить очевидный брак: проконопатить стены, утеплить потолок и пол, довести до ума печку и жить по-человечески.

А может, строителей тех отправили уже на фронт, и они оплачивали кровью вину перед нами.

В начале нашей жизни в новой квартире в гости к Наташе дня на два появился после лечения в госпитале её старый знакомый — однокурсник по мамадышскому педтехникуму. Одет он был в командирскую амуницию — шевиотовую зелёную гимнастёрку и габардиновые синие галифе, хромовые сапоги и офицерскую шинель. А на широком ремне с командирской пряжкой — кобура с пистолетом ТТ. Он даже позволил подержать увесистый пистолет в руке и, с вынутой из рукоятки обоймой, пощёлкать курком.

Он рассказывал нам за столом, заставленным его продуктами и бутылкой водки, что лечился не от ран, а от пневмонии и ревматизма. О том, как дважды ему удалось избежать смерти под Ржевом, когда накануне наступления всему командному составу выдали белые полшубки, а ему повезло — обновки не досталось. В ходе нашей атаки немецкие снайперы отстреляли всех русских офицеров в белых шубах, оставив наступающих без руководства и управления. И почти весь полк после этого полёг на поле брани. Его же от пули снайпера спасла старая шинель.

А глубокой осенью сорок первого, при выходе из окружения, ему, чтобы не заметили немцы, довелось провести долгое время в ледяной воде болота. Даже пришлось с головой скрываться под воду и дышать через соломинку. Из окружения он вышел, а в госпитале едва выжил и теперь признан не годным к строевой службе. Ждёт нового назначения...

Спать в новом жилище при таком холоде было мукой, готовиться к урокам — особенно выполнять письменные задания — просто

невозможно: чернила замерзали, руки и ноги коченели. Благо, в соседней квартире, в старой части барака, у Грызуновых, было тепло и мне дозволялось к ним приходить. Может, потому, что Мишка, конопатый длинноносый пацан, состоял второгодником в нашем классе, и мать и бабушка надеялись, что с моей помощью их дитя, награждённое с рождения худой памятью и ленью, преодолеет барьер наук и станет третьеклассником.

Мишкин отец уже погиб на фронте. Кроме Мишки, у его матери, помню, очень доброй розовощёкой крепкой тридцатилетней женщины, на иждивении был ещё пятилетний Санька. Плюс свекровь, зловередная, ещё не старая склочница, проливавшая слёзы по погибшему сыну. В разговорах с моей мамой она боялась, что невестка, в связи с гибелью мужа, может отправить свекровь в родную деревню, где ей придётся работать в колхозе. А в Мамадыше она от обязательной трудовой повинности была освобождена законно, потому как присматривала за озорным и хитрым не по годам, краснощёким, подобно матери, Санькой.

К Грызуновым подселили эвакуированную из Украины семью — молодую красивую женщину-врача с грудным пацаном и её мать, удивлявшую дворовую общественность небритыми бородой и усами. Во дворе ей сразу дали имя — бабушка-еврейка. Потому что за стенкой нашей квартиры жила бабушка-татарка со своей больной дочерью. А Мишкину бабушку соседи по бараку не любили и давно называли Грызунихой. Летом, как я убедился позднее, в вёдренную погоду она днями сидела на крыльце и бдительно следила за перемещением лиц всех возрастов, полов и социального положения. А на лавочке у ворот делилась нелепыми версиями со старухами из других домов о роде и неблагоприятных целях манёвров соседней.

Переход в другую школу был связан для меня с нелёгким вхождением в классную элиту. Звездой второго «А», бесспорно, был Лёвка Шустерман, сын директора строящейся в Мамадыше ткацко-прядельной фабрики, эвакуированной из Подмосковья с оборудованием и частью специалистов. Он был смуглым пай-мальчиком с кудрявыми волосами. Родители одевали его как лондонского денди — в костюмы с белыми рубашками. По отношению к двум авторитетам-силачам и их «шестёркам» Лёва проявлял необычайную щедрость — приносил им куски хлеба, щедро смазанные маслом, иногда с ломтиками мяса поверх этого недоступного прочим смертным лакомства. Девчонки противно кокетничали с ним, привлекая его внимание ужимками и прыжками, и он небрежно совал им карамельки и открытки. Всё было Лёвкой схвачено, за всё заплачено.

С моим крестьянско-пролетарским сознанием смотреть равнодушно на это социальное расслоение коллектива было невыносимо. Ещё до школы, в родной деревне Букени, я прочёл книжку Николая Островского «Как закалялась сталь». Роман этот был всего на год

старше меня, и в нём содержался доступный даже шестилетним беднякам инструктаж, как закалять дух, мускулы и тело для борьбы с буржуйскими сыновьями и дочками. Вокруг меня сплотилась шайка мне подобных нищих, но богатых врождённым классовым сознанием ребяташек: Петька Бастрин, Мишка Грызунов, эвакуированные белорусы — минчанин Вилька Захаров и Витька Баранов, кажется, из Могилёва. Нам сочувствовали и робкие одесситы, тоже эвакуированные, сыновья сапожника-инвалида Каца — Мойша и Абрамка.

Не помню, какой предлог нашёлся для перехода от холодной войны к горячей схватке. Но на одном из перерывов, когда Лёвка раздавал в просторном коридоре бутерброды голодным вассалам, я во главе своих головорезов подлетел к нему для нанесения смертельного удара вознесённой над моей головой липовой булавой, выпиленной и выструганной мной и Мишкой Грызуном из доски. Лёвка увернулся, бутерброды из его газетного свёртка полетели в толпу, завязалась потасовка. Победителей в ней не нашлось. Зато зачинщика кто-то выдал сразу. Меня разоружили и безотлагательно доставили в учительскую вместе с «вещдоком» — булавой. Учинили допрос с пристрастием и приговорили: в школу без сестры Наташи, которую знал весь просвещённый бомонд города, мне не появляться!..

Зато с этого дня со мной, новичком, и друзья, и противники стали считаться. Особенно Вика, эвакуированная с матерью из Смоленска. Мы сидели с ней за одной партией, и она женским чутьём поняла, как я в неё беззаветно влюблён. По примеру Лёвки Шустермана, я перетаскал из Наташиного фотоальбома все открытки и подарил ей, такой прекрасной девочке, оказавшейся в захолустном Мамадыше из легендарного города. Там наши бойцы и партизаны сражались насмерть, чтобы не допустить фашистов к Москве. Она уже побывала под обстрелом и бомбёжками, осталась жива — и вот сидит рядом со мной, подсказывает, даёт списывать. И не бежит с девочками на перерыв, а терпеливо объясняет мне, как правильно решать примеры по арифметике. Мой авторитет в её глазах возрос, когда меня избрали редактором классной газеты и я начал сочинять заметки и стишки.

В огромной очереди на документальный фильм о разгроме немцев под Москвой я едва сам не стал жертвой от руки контролёрки на входе. Чтобы сдержать напор толпы в дверь зрительного зала, она упёрлась растопыренными пальцами в моё горло, не прикрытое шарфом за его неимением. И быть бы мне задушенным, если бы кто-то из милосердных взрослых не заорал и не оттолкнул взбешённую и напуганную зрительской атакой тётку от моего стиснутого горла. Прикрывая рот ладонью, я прокашлял весь сеанс. По окончании мы с ребятами обсуждали картину на тёмной улице. Меня вдруг осенила крамольная мысль: почему, мол, нашу победу в битве комментатор

фильма приписывает одному Сталину? Друзья со мной согласились, и мы продолжили развивать эту опасную тему почти шёпотом.

Родители научили нас бояться упоминать имя отца народов всуе. Не приведи Господь растоплять печку газетой с его портретом при посторонних свидетелях или подносить его усатое изображение к определённом месту в надворном сортире. Донос бдительного соседа — и ты исчезаешь в неизвестном направлении и месте как враг народа...

К этому же времени относится и боевой старт моей литературной эпопеи в настенной прессе.

Сестра Наталия приносила домой из своего РК ВЛКСМ много газет — почитать и пустить на растопку. Чёрная картонная тарелка репродуктора не выключалась с утра до полуночи, когда радиоузел замолкал из-за остановки электростанции. Это позволяло быть в курсе главных событий того времени — положения на фронтах. Наташа повесила на стену большую карту СССР и каждое утро, по информации диктора Левитана, отслеживала продвижение немцев с запада на восток чёрными флажками на булавах.

Большинство книг городской детской библиотеки мной были прочитаны — и проза, и стихи Чуковского, Барто, Михалкова, Маяковского. Так что к радостному событию об уничтожении нашей артиллерией короткоствольной немецкой мортиры по кличке «Толстая Берта» я был готов. Она успела пульнуть по ленинградскому району Колпино десять снарядов весом около тонны каждый. Это меня наполнило неведомо откуда рождённым приливом вдохновения. Куплеты о гибели «толстухи», помещённые в стенгазете, принесли автору первую известность и похвалу учительницы. Во всяком случае, с публикации о «Берте» я обрёл себя на долгие годы безгонорарной корреспондентской и редакторской работы во множестве стенных газет в армии и на гражданке.

А мартовский солнечный день сорок второго года подарил мне несказанную радость. После последнего урока я, как всегда, со школьного двора протиснулся через дырку забора в наш барачный двор и, глядя под ноги, побежал с портфелем по талым лужам к своему крыльцу. Хотел обогнуть какую-то старуху с измождённым жёлтым лицом. Остановиться заставил знакомый, певучий, как флейта, голосок: — Шура, сынок! Ты что, милый, меня не узнал?

Да это же мама! Моя мама!.. Мы стояли посреди большого, с не растаявшими сугробами, двора и плакали. И я, уже насмотревшийся за полгода войны на истощённых и опухших от голода людей, рыдал от сострадания, вглядываясь в родное мамино лицо. Она, в свои сорок четыре казавшаяся всегда молодой и быстрой, превратилась в бабушку и еле передвигала ноги в валенках с галошами. — Я вас быстро по адресу нашла, а ключа-то от дома нет, — говорила мама, словно оправдываясь, своим тоненьким детским

голосочком.— А ты так вырос, прямо не узнать! Уже с меня ростом, сынок!..

Весной в доме стало теплей. Да ещё, по случаю явления мамы с огневых позиций, дров мы не пожалели, натопили печь и подтопок от души. Сварили гороховый суп на конском мясе. И нагрели воды в большом, литров на десять, эмалированном чугуне, чтобы мама, за неимением бани, могла помыться. На плите подтопка или в печке — не помню каким образом — прожарили всю мамину одежду, чтобы истребить мириады вшей на нижнем белье. Я и сам давно привык их кормить своей кровью, но при виде такого лениво шевелящегося стада на исподнем меня стало тошнить.

А гороховый суп маму едва не убил. Хорошо, что за бревенчатой стенкой, у Грызуновых, жила эвакуированная врачиха. По стуку и крику Наташи она прибежала к нам вместе с бородатой и усатой матерью. Им чудом удалось спасти мою изголодавшую маму, умеренно нахлебавшуюся супа, от заворота кишок.

Летом сорок второго нас троих — маму, меня и Веруську — подстерегало ещё одно событие: Наташа сказала, что выходит замуж. И, как словом, так и делом, стала женой Ахмета Касимовича Аюпова, заведующего райземотделом райисполкома. Прежде дважды женатого, но без последствий — детьми он брошенных супруг не наградил. А до этого Наташа твердила, что дождётся с фронта Александра Пугачёва, её бывшего коллегу-учителя по школе в селе Секинесь, а теперь офицера-артиллериста, который регулярно слал ей письма с театра боевых действий, как поэт Симонов актрисе Серовой: «Жди меня — и я вернусь...»

Измена сестры меня сильно расстроила: дядю Шуру Пугачёва я знал с четырёх лет. Он подарил мне железный грузовичок. Вскоре, устав таскать дребезжащую игрушку за собой на верёвочке, я сунул подарок в печку, чтобы удостовериться, горит ли железо. Потом в избе долго воняло горелой краской и палёной резиной.

Наташа ушла жить к дяде Ахмету в двухэтажный четырёхквартирный каменный дом на окраине Мамадыша, недалеко от кладбища с разорённой церковью. В одной квартире с молодыми обитала племянница дяди Ахмета, тётя Фая. У неё — кудрявая черноволосая дочка Лора, моя ровня. В неё нельзя было не влюбиться, и я забыл о своей соседке по парте Вике. Тем более что после отката немцев на запад от столицы больше чем на сто километров она с мамой после окончания учебного года уехала куда-то к родне в Подмосковье.

Муж тётки Фаи, дядя Лёша, офицер-лётчик, бомбил немцев на фронте, за что она получала хорошие деньги по аттестату, подрабатывая в исполкоме машинисткой.

Наташа жаловалась, что племянница мужа съедала её. Если так и дальше пойдёт, она вернётся к нам. Чего я очень желал. Потому что нам

без её пайка и денег существовать стало трудно. Почти невозможно. Мы голодали. Питались крапивным, с добавкой свекольных листьев, супом, иногда пшённой кашей и картошкой. Хорошо, что Наташа купила нам козу Маньку, и мы могли забеливать кашу и постный суп её пенным молоком. От Маньки родился беленький козлёнок. Осенью он превратился в солидного кастрированного козла. Лишив его жизни накануне двадцать пятой годовщины Великого Октября, мы какое-то время, поедая варёные останки, поминали озорное животное.

Мама вскоре после возвращения с окопов пошла подсобной рабочей на строительство ткацкой фабрики — месить раствор, подносить кирпичи, глиняный и цементный раствор и другие стройматериалы. Я бегал к ней к обеду в фабричную столовую. Она поровну делилась со мной скудными блюдами. К чаю отдавала мне незабываемое лакомство — единственную конфетку-подушечку, положенную ей по норме.

Летом Наташа достала путёвку и отправила Веруську в пионерлагерь. А чтобы как-то подкормить сынка, мама подсказала мне, девятилетнему и ослабшему от хронического голода, пойти в родную деревню, в Букени. Погостить у моей крёстной матери, Ени Костровой, жены двоюродного брата моей мамы, матери семерых детей. Её я звал просто кокой. Муж коки, дядя Илья, двоюродный брат моей мамы, охотник на дичь — зайцев и куропаток, балагур и любитель самогона, воевал. А старший сын, семнадцатилетний Володя, был в ожидании призыва в армию. Как грамотей с семилеткой, он заведовал колхозными амбарами с зерном и, обращая малую часть его в муку для личных целей, сытно кормил всю семью.

Двадцать пять километров просёлка — босиком, в одной рубашонке и коротких штанишках, от Мамадыша до Букеней, в полном одиночестве, с одним куском хлеба, парой варёных картошек и бутылкой козьего молока в холщовой кошёлке, — запомнились на всю жизнь. Ни одной попутной или встречной подводы, ни одной живой души — только поля незрелой пшеницы, ржи, овса. А за ними таинственная полоса леса — и я, один, затерянный во Вселенной голодный пацан.

По слухам, в лесах накопилось много дезертиров, вынужденных грабить на дорогах, уводить в лес колхозный и крестьянский скот. А порой — пробавляться человечинной. По Мамадышу бродили слухи, что в пирожках с мясом, купленных на колхозном базаре за бешеную цену, обнаруживали ногти и ещё какие-то части людского тела. Говорили и о стаях волков, нападавших на скот и людей.

Где-то на половине пути вдруг похолодало, подул влажный ветер, по ржаному полю, как по озеру, забегала тревожная рябь, над лесом нависла, рассыпаясь всплесками молний и грома, чёрно-сизая туча. И я увидел впервые в жизни, как на меня двинулась стена дождя. Ливень был кратковременный, буйный, можно сказать, озорной. Только мне

стало не до смеха: мокрый до нитки, я дрожал, как вытщенный из воды щенок. Хорошо ещё, что хлебу не дал размокнуть — успел съесть его сразу после выхода из города.

Солнце, словно обрадованное исчезновением тучи, засияло с удвоенной силой. С ржаного поля, украшенного синими глазами васильков, поднимался в бирюзовое небо душистый пар от ожившей пашни. И, как в дивной сказке, на другой стороне поля возник могучий рогатый зверь — лось, похожий на своих собратьев, каких я видел уже прежде, когда выезжал с райкомовским конюхом и его сыном Хаем в ночное. Сохатый с высокомерно поднятой головой, украшенной крылатыми рогами, глядел в мою сторону, словно раздумывая, стоит ли ему забодать и растоптать беззащитного человечка. Медленно развернулся и растворился в окроплённой небесной влагой чаще.

Идти стало трудно: грунтовая дорога прилипала к босым, скользким по суглинку ногам, грозя падением в липкую грязь. Сняв с себя рубашку и отжав из неё воду, попытался идти по обочине — и в кровь исколол ступни, ошпарив их мелкой крапивой. Присесть на сырую землю и отдохнуть тоже стало невозможно. Зато солнце после грозы светило ярко, и я быстро согрелся.

Удивился, что в деревушке Нижние Кирмени не встретил ни одной живой души. Даже собаки не лаяли, словно и их послали на фронт. Наверное, все от мала до велика работали в поле или на своих огородах.

А через шесть километров, перед закатом солнца, увидел с холма и свои родные Букени, где ещё существовала и наша изба под соломенной крышей, с заколоченными дверью и тремя окошками. Да и вся деревня, как я вскоре с грустью почувствовал, казалась заколоченной. Бедная до войны, она сейчас изнемогала от нищеты и голода. Остались в ней одни старики да бабы. Лошадей, что справнее, забрали в армию, так что пахали, боронили и таскали лобогрейки быки и коровы, не приученные к этому занятию. А за трудодни колхоз расплачивался одними палочками и оставался в вечном долгу перед государством. Питались советские крестьяне с огорода корнеплодами и зеленью, полевыми и лесными травами и ягодами и тем, что удавалось украсть с риском угодить в тюрьму. К посевной и посадочной поре у многих не оставалось семян — и несчастные попадали в кабалу к односельчанам, как некогда случалось в Букенях и с моей мамой.

Однако семья Костровых благодаря кладовщику Володе жила в завидном достатке. Встретили и откармливали меня хлебом, кашей, молоком и сметаной добрая, как и моя мама, кока Еня и её дети, мои троюродные братья и сёстры, на славу. С моим ровесником Мишкой мы пропадали на речке Дигитлинке — купались, загорали и удили.

Всё было прекрасно до того жуткого дня, когда кладовщик Володя из озорства натворил страшную беду.

В колхозном амбаре бабы работали под его контролем на веялке — очищали от пыли и сора остатки прошлогоднего зерна для

отправки на мельницу. Парень, унаследовавший от отца, дяди Ильи, его шепутной характер, надумал бабёнок напугать. Взял в караулке отцовское ружьё, с которым по ночам охранял колхозное добро от голодных односельчан, прокрался за амбар и выстрелил картечью в бревенчатую стену. Одну женщину кусок свинца, без труда пробив паклю и древесину на стыке брёвен, сразил на месте, а вторую тяжело ранил. Её живой довели до Мамадыша. Через несколько дней мы с Петькой Бастригиным видели её голый труп на стеллаже за решёткой окна морга районной больницы.

За эту «шутку» в мирное время Володя бы наверняка угодил в ГУЛАГ на многие лета. Его подержали сколько-то в каталажке до исполнения восемнадцати лет и отправили на фронт. Там он искупил свою вину кровью — потерял ногу; в Букени возвращаться не стал, как и раненый отец. Вся семья обосновалась после войны на Урале, в Сарапуле.

О

После наступления сорок третьего года, в зимние каникулы, по приглашению какого-то хлебосольного председателя колхоза, Наташе вздумалось отправить Веруську в гости в его семью.

Хаю, пятнадцатилетнему сыну райкомовского конюха, отец поручил доставить девочку на санях в деревню за четырнадцать километров от Мамадыша и возвратиться в тот же день.

Хай (мальчишки часто дразнили угрюмого подростка, плохо говорившего по-русски, меняя для забавы гласную в его имени на другую) запряг лошадку, Серого, в лёгкие сани, и я на них зарылся в сено — проводить сестрёнку до окраины города. Погода была ясная, безветренная, для января тёплая — всего градусов десять мороза. За городом мне не захотелось расставаться с Верой и Хаем, и я вызвался прокатиться за компанию до конечного пункта и обратно. Они — в тулупах, а я — в своём ватном пальтишке и валенках. С большим опозданием пришлось пожалеть о своём легкомыслии: чтобы согреться, мне периодически приходилось бежать за санями по ускользящему из-под ног снегу. А потом лезть к Веруське под тулуп. Только он до конца не запахивался, и большая часть тела оставалась на холоде.

Где-то в середине пути распушила снежную замять пурга. Дорога — этим маршрутом мы никогда не ездили — скрылась под пухлым саваном, и мы сбились с трассы, несмотря на вешки, воткнутые в снег с правой стороны в качестве ориентиров.

Бес, по Пушкину, долго водил нас по сторонам пропавшей под снегом дороги, наполняя паническим страхом окончательно сбиться с пути, заблудиться в белой пурге и надвигающейся ночи. Обрадовались, когда в густых сумерках показалась с возвышенности крохотная, с дюжину домов, деревенька, утонувшая в сугробах. Спустились с горки, и лошадь, потеряв под копытами твердь, затащила сани в глубокий

снег, утонула в нём всем крупом и стала судорожно биться передними ногами в белой каше, задрал взнузданную морду в беспросветное, равнодушное к нашим страданиям небо.

Веруська, не покидая саней, уже давно плакала, укутавшись в тулуп. Хай, увидев, что пасть Серого в крови, тоже заревел и отказался от борьбы за существование. Я заорал, захлёбываясь снежным ветром, чтобы он хлестал лошадь кнутом. А сам добрался ползком до её головы, повис на гужах. Мозоля окровавленные губы перепуганного коня стальными удилами, мне каким-то чудом удалось вывести подводу то ли на наст после недавней оттепели, то ли на дорогу под снегом. Во всяком случае, вскоре мы оказались на деревенской улице и стали стучаться поочерёдно в окна или ворота изб. Добрые люди пустили нас переночевать. И мы сразу, не раздеваясь, улеглись на полу на одном тулупе, укрываясь другим. Изба оказалась настолько бедной, что нам не предложили ни картошки, ни чая. А единственную комнату осветила хозяйка в рваной телогрейке на пару минут коптящей лучиной. Оказалось, что мы сбились с пути, приехали совсем в другую, близкую к пункту нашего назначения, деревню.

Благо, следующее утро выдалось ясным и безветренным. Лошадь отдохнула, съев всё сено из саней. Дорога в четыре километра, подметённая ветром, до деревни председателя колхоза заняла совсем мало времени. А день у гостеприимных хозяев прошёл для нас как настоящий праздник — со щами, пирогами, плюшками, салом и солёными груздями, прикрытыми дубовыми листьями в пузатой кадлушке.

На обратном пути в Мамадыш я вспомнил, что сегодня мой десятый день рождения. Которого могло бы и не быть, если бы позавчера меня победил страх. В городе сначала забежал домой к сестре. Она и дядя Ахмет были на работе, а нянька возилась с больной племяшкой Светкой.

Я воспользовался этим моментом и отлил из пятилитровой бутылки в кладовке чекушку водки-сырца с мамадышского спиртзавода, потребляемой зятем с завидной регулярностью. А вечером мы с Хаем отметили моё десятилетие в райкомовской конюшне. Выпили сивушный напиток, закусывая оладьями, испечёнными его мамой из муки, полученной из гнилой картошки.

И как же качалась ночная улица, когда я плёлся домой, во всё горло распевая: «На позицию девушка провожала бойца!..» А как меня выворачивало наизнанку весь остаток ночи, мне уже рассказала мама...

В начале весны сорок третьего года, когда мы с мамой спали на печке, меня посетил вещей сон. В первые мгновения он воспринимался мною фрагментом чёрно-белого фильма. По заснеженному полю, сквозь разрывы мин и снарядов, бежит в атаку наша пехота. Один из атакующих летит лицом вперёд на землю, и я с криком и плачем

осознаю, что это мой брат. Мама просыпается, прижимает меня к себе и спрашивает, чего я вдруг испугался. Мне не хочется говорить, расстраивать её, но удержать свой страх в себе не в моих силах: — Я увидел, как Кирилла убили.

Мама не суеверна, верит только в Святую Троицу, всегда троекратно крестится, вставая с постели. После работы долго молится перед сном в дальнем углу комнаты. А сейчас мы, обнявшись, плачем вместе на остывающей печке, и она шепчет непонятные мне слова молитвы.

У Грызуновых отца убили в начале войны. Зато поселившаяся у них бабушка-еврейка похвасталась, что её дочь-врачиха получила от мужа благою весть. Из лейтенанта он стал старшим лейтенантом и получил медаль «За отвагу». А от Кирилла давно нет писем. Мама скрывает от меня свою тревогу и пытается иногда найти утешение в беседах на крыльце с дежурящей на нём бабкой Грызунихой. И та утешает маму апокалипсическим предсказанием:

— Не кручинься, Дуся, скоро всех убьют, как мово сыночка единственного, Алёшеньку.

Чёрную весть принесла Веруська в июне, в жару, за несколько дней до окончания второго года войны. Сестра Наталия, после того как они с Ахметом после рождения дочки получили квартиру, забрала Веру к себе. Она подслушала разговор супругов и прибежала, обливаясь слезами, поделиться новостью со мной. Мы недавно вернулись с Вятки; я играл с ребятами в прятки во дворе. Сестрёнка, не обращающая внимания на Грызуниху, зорко следившую с крыльца за нашей беготнёй, выпалила:

— Кирилла нашего немцы убили! Наташа письмо получила от его друзей: двадцать шестого марта, под Орлом, осколком мины в затылок... Только ты молчи, маме не проговорись: Наташа сама хочет её подготовить.

Я разрыдался, упал и стал кататься по лужайке, чувствуя, как грудь разрывается, а комок в горле мешает дышать. Веруська испугалась, сбежала домой, вернулась с ковшом воды, плеснула на меня и дала попить.

Потом я умолял Грызуниху ничего не говорить моей маме. Старуха кивала головой и соглашалась. А вечером, едва завидев маму, возвращавшуюся с фабричной смены, в воротах барака, взлетела, как ворона, с насиженного места, ринулась ей навстречу. И, со старушечьим заупокойным подвыванием, вплотную к маминому лицу запричитала:

— А Кирюху-то твоего, как и мово Алёшеньку, фашисты проклятые ишшо в марте тоже убили!

Вот старая ведьма!..

Маму страшная весть оглушила: она стояла, покачиваясь и сжав голову руками. Я помог ей дойти до крыльца, а Грызуниха продолжала клевать нам в затылок словами и притворным воем.

И как же мне стало страшно через минуту, когда моя сорокашестилетняя мама, опустившись на ступеньку нашего крыльца, разразилась разрывающим душу рыданием, стала ключьями выдирать волосы и биться головой о брёвна барака,— этого не забыть до конца дней моих!..

С той поры у мамы участились ночные сердечные приступы. Скорой помощи в Мамадыше сроду не бывало. Я стучал молотком в стенку и взывал о спасении мамочки. Прибегала добрая эвакуированная врачиха и спасала маму от гибели. Наверное, она же посоветовала маме обратиться в больницу, получить инвалидность, уйти со стройки и перейти на более лёгкую работу.

Третью группу инвалидности маме дали без особых хлопот. Из подсобных строителей её перевели охранницей фабричного лабаза и пойманных в половодье брёвен на берегу Вятки, пронумерованных и сложенных в штабеля к дощатой стене лабаза. Это означало, что обеды в фабричной столовой маме были не положены, поэтому умеренные пытки голодом для нас обострились до полного отчаяния.

Особенно когда зимой сорок третьего, в начале февраля, в продуктовой лавке карманник, прижав моё хилое тельце к впереди стоящей тётеньке, стибрил хлебные карточки, выдававшиеся на месяц. Мама восприняла это известие как смертный приговор нам обоим.

Положение сестры Наташи и дяди Ахмета в партийно-хозяйственной иерархии Мамадыша позволило мобилизовать немногочисленных ментов на поиск карточек. Карманника я не раз видел в этом же магазине и на базаре, его быстро изловили по моему описанию, и через неделю карточки, частично реализованные воров, вернули. Но чего стоила нам эта неделя голода и страха близкой смерти — лучше не вспоминать!..

У сестры пропало молоко, и крошечной Светке требовалось искусственное питание. Молоко, масло, манку и другое необходимое для девочки сестре и зятю приходилось покупать на двух рынках города. А цены на базаре царили бешеные, недоступные простому люду. Так, на месячную мамину зарплату можно было купить разве что пару караваев хлеба. Но тогда бы мы не смогли выкупить продукты по карточкам.

Словом, мы остались без поддержки партии в лице Наташи и советской власти в образе дяди Ахмета. Для того чтобы иметь возможность работать во имя победы, они наняли няньку, деревенскую молодую женщину. Она служила им только за кормёжку. А нам лишь изредка перепадало немного рисовой, перловой или гороховой крупы от райкомовско-исполкомовского спецпайка для праздничных трапез с барского стола.

Дважды дядю Ахмета призывали в армию с перспективой понюхать пороха на фронте. Хотя прежде за тридцать пять лет жизни воинская

повинность его не коснулась. В семье сестры устраивались проводы, больше похожие на поминки,— с водкой, закусками, песнями и слезами. Он уезжал на исполкомовских лошадях то в Кукмор, то в Казань. Но броня, освобождавшая его от воинской службы и весьма вероятной гибели на фронте, срабатывала, и он вскоре возвращался к семье. А в конце лета его перевели на работу в татарский стольный град инструктором сельскохозяйственного отдела республиканского обкома ВКП (б) и дали квартиру в полуподвале на улице Малой Галактионовской. Наташа со Светкой уплыли к нему на пароходе по Вятке, Каме и Волге на подготовленное мужем место в том же высоко почитаемом учреждении — инструктором отдела народного образования.

Сестрёнку Веру с собой они не взяли, определив в мамадышский детдом. Она прибегала к нам и умоляла маму забрать её к себе. Но тогда бы мы точно все умерли с голода. От смерти спасали коза, несколько грядок картошки и овощей в общем барачном огороде. Да ещё то, что мама в тёплое время года на работе, сидя с прялкой или спицами на крыльце лабаза, и по редким выходным дням дома пряла шерсть и вязала носки, чулки и варежки по заказам жён начальников цехов, смен, мастеров своей фабрики. Качество маминой продукции ценилось высоко, но оплачивалось весьма скромно. Заказчицы расплачивались с ней чаще продуктами, чем почти бесполезными деньгами. Изредка маме поступали алименты от незнакомого мне биологического папаши — продавца лавки в подмосковной Шатуре.

Практически безнадзорный, я превратился в курящего и виртуозно владеющего матом уличного хулигана. Подбивал своих друзей, чаще всего Петьку Бастригина и Витьку Козырева, лазить по чужим огородам за огурцами, помидорами и подсолнухами. А Хай с памятного новогоднего вояжа к председателю колхоза и потребления водки-сырца непременно приглашал меня в ночное — пасти стреноженных райкомовских и исполкомовских лошадей на лугах на опушке смешанного леса, по соседству с колхозным картофельным полем.

Поездки верхом на лошадях с частыми падениями и со стёртым до крови задом, ночи у костра, заполненного ворованными клубнями, греют душу сладкими воспоминаниями о суровом детстве. Страшные истории и сказки про Вия и множество других гоголевских и андерсеновских персонажей, рассказы о подвигах наших бойцов на фронте, вероятность знакомства со скрывающимися в лесах дезертирами делали летние ночи таинственными и романтическими.

По радио и из журнала «Огонёк» летом сорок третьего я узнал об организации в стране суворовских училищ. Мама с трудом собрала нужные документы. Однако почта в войну, как и в нынешнее время, работала в замедленном темпе. Вместо вызова для сдачи вступительных экзаменов поступил ответ, что мои документы в приёмную комиссию пришли с опозданием. Предлагалось повторить попытку в следующем году.

Вести о победах нашей армии на фронтах поднимали моральный дух советских граждан и никак не отражались на улучшении материальной жизни. Скорее, наоборот: существование тех, кому повезло выжить, с каждым днём осложнялось. Об американской свиной тушёнке ходили приятные слухи, а из тех, кто её попробовал, среди моих друзей был только один — Вовка Игнатъев, племянник второго секретаря райкома. Но, как он мне сказал, жена секретаря не позволяла ему выносить продукты за пределы квартиры. Хотя, справедливости ради, я благодарен Вовке, что изредка он ухитрялся стянуть из секретарских запасов кое-что — и в укромном уголке двора доставать из-за пазухи «дубликатом бесценного груза» еду для меня.

Может быть, и Лёвка Шустерман тоже шамал американскую тушёнку, только поставки бутербродов в наш класс он давно прекратил. Даже бывшие прихлебатели стали называть его жмотом. Или и того обиднее.

А для рядового люда даже нищенские пайки на продукты, нормируемые по карточкам, полностью никогда не отоваривались. Дети превращались в рахитиков и дистрофиков. Матери нередко пухли и умирали от голода, чтобы спасти детей. Грабежи, воровство и мошенничество, преследуемые жестокими законами военного времени, может, и пугали, но всё больше людей, стоящих перед выбором — умереть честными или выжить ворами, становилось преступниками.

И я, в свои одиннадцать, не стал приятным исключением. Голодным щенком блуждая по базару, пару раз безнаказанно стянул с прилавка спекулянтов, подобно моему пропавшему без вести Джеку, жареную рыбёшку и лепёшку.

Едва ли не бедой обернулась для меня — на сегодняшний день последняя в жизни — совершённая кража, не из-за голода даже, а по недомыслию.

На базаре, недалеко от дома, где недавно, до отъезда в Казань, жили сестра с зятем и племянницей, торговал разной мелочью благородный с виду старик с седой бородкой. Товаром его в основном были трофеи — фрицевская и гансовская мелочёвка. Аккуратными рядами на голубой клеёнке лежали зажигалки, губные гармошки, штампованные часы, портсигары, мундштуки, иголки, булавки, нитки, пряжки солдатских и офицерских ремней: советские латунные со звездой и немецкие алюминиевые с выдавленными свастикой и буквами « i » — «С нами Бог».

Изо всех этих добытых нашими воинами на полях сражений, у пленных фрицев и в освобождённых от оккупантов российских селениях сувениров и полезных предметов мне понравилась зажигалка в эбонитовом коричневом корпусе. Дня два я любовался на красотку в упор и издали, а на третий не вынес соблазна — подскочил к прилавку, схватил желанную крошку и бросился наутёк. Старик что-то крикнул мне вдогонку, визгливо заголосили его товарки-торговки.

Но отход мною был тщательно продуман: ворота базара находились совсем близко, я выбежал на улицу и зашлёпал босыми ногами по дощатому тротуару. Оглянулся — и обомлел: за моей спиной нёсся хмырь на голову выше меня, в рваной рубашке и штанах, завсегдаятай базара. Он уже был готов к смертоносному прыжку, когда из-за угла появился Витька Козырев, крепкий мальчишка на класс выше и на два года старше меня, верный друг и защитник. Козырь уступил мне беговую дорожку, а преследователю подставил ногу. И тот с отчаянным воплем полетел с тротуара на мощённую булыжниками проезжую часть. Мы скрылись, не интересуясь его дальнейшей судьбой.

На следующий день, наигравшись с зажигалкой, для которой не нашлось ни кремня, ни авиационного бензина, я решил вернуть её законному владельцу. Или тому, наверное, кто брал трофеи под реализацию у списанных по ранению фронтовиков и отпускников. Мой порыв к благородному поступку перекрыл у ворот тот же оборванный татарчонок и с устрашающим зубовным скрежетом жестом потребовал отдать зажигалку.

Предвидя столкновение с завсегдаятаем, я шёл на базар вооружённым и очень опасным. Вместо зажигалки грабитель награбленного увидел в моей руке приставленное к его впалому брюху «перо» — собственноручно мною переделанный напильником из столового ножа финарь. Беспредельщик-уркаган содрогнулся всем своим голодным костлявым телом, попятился и скрылся в базарном круговороте.

Так, не совсем полюбовно, разошлись наши пути навсегда: я понял, что базар не то место, где надо искать счастье, и забыл туда дорогу.

Кормилицу Машку до лета в живых мы оставить не смогли — не было сена, чтобы её прокормить. Кое-как дали страдалице дотянуть до рождения серого пушистого козлёнка Борьки. Роды прошли прямо в нашей квартире, поскольку в барачном сарае, в отведённом для Машки закутке, было слишком холодно. Когда Борьку отняли от вымени, мама, втайне от меня, пригласила мужа своей подруги Пугаса — с ним мама вместе пережила окопную эпопею. Пугас отощавшую после родов Машку заколол. Я застал его у нас за столом и заплакал. Небрить и худой, как скелет, Пугас, допив чекушку сырца и дожевав мясо моей любимицы, ушёл в Заошму с завернутой в Машкину шкуру её же ляжкой под мышкой. Горько оплакивая свою ласковую любимицу, в знак протеста я дня два отказывался притрагиваться к её сваренной жёсткой плоти.

Ещё большее горе я пережил в июне, когда Борька, привязанный к колу на лужайке длинной верёвкой, обмотал её вокруг кола и покончил жизнь самоубийством. Словами не передать испытанное мной горе и отчаяние, когда прибежал отвязать Борьку и увести в сарай. Мама рассчитывала из его пуха осенью связать мне варежки и носки. Вместо этого ей пришлось отыскать двухколёсную тележку-тачку, отвезти за город и похоронить на кладбище павшего скота.

В начале лета питались хлебом по карточкам, по которым шестьсот граммов полагалось маме и четыреста — мне, и крапивным супом. А по мере роста огородных культур — супом из свекольной ботвы и шавеля, в нетерпеливом ожидании молодой картошки.

Трудно припомнить все способы, как набить свой желудок, изобретённые мной и моими друзьями.

С весны пацаны объедались разной травой. Когда Вятка после половодья начинала входить в свои берега, мы на чьей-нибудь лодке переправлялись на другой, левый, берег реки и собирали на заливных лугах дикий лук, кислицу, дудник, дикушу — подобие сибирской черемши. В песчаных ямах на пляже оставалась вода, в ней беспокойно суетилась рыба, в основном мелочь. Для её поимки обычно использовались наши рубашки, превращённые в сачки. И жизнь рыбьей молодежи заканчивалась без суда и следствия немедленно — на зажжённом из хвороста костре. Нанизанные на прутик, как на шампур, малявки плотвы, леща, окуня, хищницы-щуки и бескостной стерлядки после поджарки хрустели на зубах, создавая иллюзию утоления перманентно развивающегося детского аппетита. А ягоды не успевали изменить свой цвет, величину и вкус, как уже попадали в детский организм, вызывая поносы и прочие неприятности. Черёмуха, смородина, малина, земляника, клубника съедались, не познав радости созревания и продолжения рода. Только и было слышно: «Война всё спишет!..» В моде была и среди нас, оборванцев, скабрёзная песенка, раскрывавшая тему торопливого и беспорядочного секса на войне: «Будем жать на все педали — всё равно война!..»

В июле от Наташи пришло письмо маме с указанием срочно собирать документы по прилагаемому перечню для поступления Шурки, меня то есть, в организуемое в Казани суворовское училище...

Прошлогодний опыт моей неудачной попытки попасть в Сталинградское СВУ пригодился. Заказное письмо в самодельно склеенном конверте со всеми справками — о моём здоровье, с подтверждением гибели брата Кирилла на фронте, с метрикой, с табелем моей хорошей успеваемости — Наташе ушло. Только почта не спешила доставить его, и Наташа бомбила нас бесполезными письмами с требованиями ускорить процесс. Пока, наконец, не поступил от неё вызов на мой приезд в республиканскую столицу для прохождения приёмных экзаменов и всех других процедур.

До конца трудного детства было далеко. Да и кончается ли оно?..

О том, как всё сложилось дальше — с моего отплытия с мамадышской пристани в казанский порт до поступления в СВУ и его окончания через семь лет, — уже рассказано давно, сорок лет тому назад, в моих десяти очерках под общим названием «Казанское суворовское глазами Бидвина». Правда, издание двух книг, включающих это повествование,

произошло гораздо позднее: «Сердце суворовца-кадета» — в 2001 году, и «Кадетский крест — награда и судьба» — в 2004-м.

О

Этот день начался в четыре утра и превратился в бесконечность, обострив в необъятном солнечном пространстве все самые яркие человеческие чувства. Прежде всего — радость, любовь, гордость, смешанные с сожалениями о невозвратимых потерях дорогих людей, оплакиванием их памяти, скорби по отцам, братьям, сёстрам. По тридцати миллионам соотечественников, павших на родной и чужой земле.

Я воспарил всем своим двенадцатилетним телом над матрасом от чьего-то истошного крика:

— Победа! Ур-р-ра-а-а! Побе-е-еда-а!

Вскочил на ноги, уцепился за спинку и запрыгал на пружинной кровати, как на батуте, от дикого восторга.

Всей ротой, сотней гавриков, выскочивших из-под простыней в одних трусах, разбрасывая по сторонам подушки, кинулись к распахнутым окнам нашей спальни-казармы на звук беспорядочной пальбы со стороны училищного парка, зеленевшего первой, словно воздушной, листвой. Узнали гораздо позднее: стреляли офицеры и сержанты из неведомо откуда взявшегося у них оружия. Впрочем, все они были фронтовиками и наверняка, как и многие вояки, прихватили в тыл сувениры — трофейные «парабеллумы» и «вальтеры». Как будто специально сохранённые для этого великого дня — девятого мая, среды.

Канун экзаменов после первого года учёбы в «кадетке» — а нам на утреннем построении командир роты подполковник Петрунин, стройный и строгий, похожий выправкой и ледяным взглядом на Николая I, уже одетый в парадный мундир с орденами и медалями, объявил, что физзарядки, к нашей радости, не будет. А занятий на сегодня — всего три урока. После которых поступила команда: всему училищу одеться в парадную форму с белыми перчатками, надраить ботинки, пуговицы и пряжки поясных ремней.

Грузному высокому начальнику училища, генерал-майору Василию Васильевичу Болозневу, богатырю с интеллигентной бородкой, о построении личного состава училища доложил невысокий, словно родившийся в офицерском мундире вояка, начальник учебной части СВУ, пышноусый подполковник Иван Иванович Пирожинский, бывший царский кадет. И Болознева, и Пирожинского, воевавших в Первую мировую и Гражданскую войны, отозвали год назад, как и всех наших воспитателей и преподавателей, с фронтов или из госпиталей Отечественной войны для воспитания и обучения нового поколения офицеров.

Генерал произнёс с балкона над центральным входом бывшего Института благородных девиц, потом пединститута, а в войну —

госпиталя для раненых, краткую речь о нашей Победе. Мы ответили восторженным троекратным «ура». И училище, под марши духового оркестра, вылилось из распахнутых ворот единым телом, поротно, колонной по четыре, на Большую Красную. А потом, у садика Толстого, повернуло на Карла Маркса и, соблюдая равенство, в ногу, пошагало сквозь толпы народа по обеим сторонам улицы, по трамвайному пути, к центральной площади Свободы.

Иногда гражданские пацаны забегали в просветы между шеренгами, мешаясь под ногами и ломая строй, пока не получали пинка под задницы носками начищенных ботинок и не вылетали с воем в толпу штатских. А с балконов ликующие люди с поднятыми стаканами, с красными пьяными и счастливыми лицами выкрикивали приветствия нам, вроде: «Да здравствуют юные суворовцы, будущие офицеры-защитники нашей любимой Родины!»

И как же наполнялась мальчишечья грудь гордостью за Победу над германским фашизмом!.. А может, и детским предчувствием нашего грядущего жизненного подвига ради спасения Отчизны от её заклятых врагов.

Площадь Свободы была заполнена народом: туда, как мне сказала потом мама, тоже побывавшая на этом ристалище ранним утром, не сговариваясь, сбежались поднятые с постели известием о Победе люди на стихийный митинг. Незнакомые мужчины, женщины и дети смеялись и плакали, кричали, обнимались и целовались в приливе восторженных эмоций. Почти не осознавая и даже не веря, что вот оно — свершилось!..

Наш строй повернул на улицу Пушкина. И так же — по трамвайным путям, вытесняя на тротуары народ, — продолжил триумфальный марш к Кольцу, в центр города. Куда, как в Москве к Красной площади, радиально сходятся и поныне несколько главных улиц тысячелетней Казани — Пушкина, Бутлерова, Островского, Баумана.

У Ленинского сада строй суворовцев по команде Пирожинского замер, поражённый чудом: навстречу нам, важно колыхая серыми тушами, вышагивали слоны. А на них сидели и стояли артисты из группы знаменитого дрессировщика Владимира Дурова, с беспокойными маргитками и макаками, кошками и собачками в руках и на плечах.

Дальше, с Кольца — площади, названной двадцать лет назад именем почившего в бозе царского кадета-большевика Куйбышева, — мы, советские кадеты-суворовцы, втиснулись в узкую, и без нас переполненную народом, главную улицу татарской столицы — Баумана. И здесь мы снова пожинали плоды пока незаслуженной славы — как аванс за то, что в будущем непременно украсим ряды российской армии-победительницы. Казань гордилась, что и в ней, «кривой и косоной», как некогда показалось поэту Маяковскому, утвердились мы, суворовцы, — в основном сыновья, внуки и братья погибших на фронтах защитников Родины.

А фельдшерице нашей медсанчасти, матери одного из кадет, Юрки Матвеева из четвёртой роты, похоронка на убитого мужа и отца двух сыновей пришла именно в День Победы. Весть об этом облетела всё училище, когда я и многие ребята, ещё до торжественного построения для марша по городу, видели, как Юркину мать выводили под руки, словно неживую, с крыльца медсанчасти.

После возвращения в расположение суворовского всем, кто пожелал, было предоставлено увольнение в город. Даже тем, кто провинился или имел за неделю плохие оценки: амнистия в честь Победы!..

Командир роты подполковник Петрунин, за свой нордический характер прозванный нами Калёным Железом, разрешил мне взять с ночёвкой у нас дома Вовку Коробова, коренного москвича.

Моя сестра Наталия и её муж Ахмет Касимович Аюпов, напомним, тогда работали инструкторами обкома ВКП(б). А моя мама водилась с их дочерьми — двухгодовалой Светкой и пятимесячной Гелькой. Суровый дядя Ахмет был старше меня на четверть века и относился ко мне как к взрослому сыну. Поэтому за праздничным столом он, уже изрядно поддатый, игнорируя протесты жены — педагога по профессии, налил в гранёные стаканы нам, кадетам с алыми погонами на чёрных мундирах, водки — по сто граммов «боевых», чтобы за компанию с ним, партийным патрицием, выпить за Победу.

После застолья мне удалось стырить у дяди Ахмета папиросу «Казбека». И, помню, мы стояли у нашего дома с Вовкой, на углу улиц Малая Галактионовская и Пушкинская, затягиваясь по очереди сладким дымом элитной папироски, и вспоминали каждый свою войну: он — ту, что пережил в Москве, а я — в Мамадыше. И совместную военную биографию — в суворовском, с сентября сорок четвёртого по этот победный праздник. Смотрели, как через улицу, над молодой зеленью лип и клёнов Ленинского садика и над невидимым отсюда Казанским кремлём, то и дело взлетали в майское небо зелёные, белые и красные ракеты, конечно же, сохранённые ранеными фронтовиками специально для этого долгожданного дня — Дня Победы.

Владимир Нестеренко

Заветное желание

Каждый вечер мальчишки-сироты детского дома, размещённого в бараке на окраине железнодорожной станции, заваленной штабелями круглого леса, ждали, когда воспитатель Андрей Иванович поправит гимнастёрку, схваченную офицерским ремнём, и скажет: «Ну, хлопцы, во что будем играть сегодня?» Игры он придумывал сам. Военные.

Андрей Иванович ещё молод. Только-только успел окончить педагогический институт — и началась война. Он знал немецкий язык, потому был разведчиком. На его широкой груди сверкали две медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и орден Красной Звезды. Левая рука у него не гнулась: осколок от мины разбил локоть. Андрея Ивановича после госпиталя списали в тыл и поручили учить уму-разуму детей-сирот. Гонимые войной, они собирались на станциях — тощие, измученные жизнью, как выжатые гроздья винограда.

Ребята ещё не успели растерять то воспитание, какое получали в трудовых советских семьях, и, угнетённые горем, тянулись к тёплой руке, к доброму сердцу воспитателя.

Барак поначалу пугал детей угрюмым видом и неухоженностью, стойким запахом долго не мытых людей и нестиранной одежды. Здесь был пункт пересылки заключённых.

Дети вместе с Андреем Ивановичем несколько раз мыли полы в пяти огромных комнатах, добыли известь, ковыльные кисти и побелили стены, потолки, печи. Получилось не ахти как, но жить можно. В одной комнате устроили кухню и столовую, во второй — школу, в двух, где широкие нары, — спальни, а пятая сгодилась для спортивного зала.

Чаще всего мальчишки играли в разведчиков, ползали по-пластунски, срезали лёжа подвешенные на тесёмках алюминиевые кружки и консервные банки. Так, чтобы не брякнуло. Затем задание усложнялось: надо было срезать кружку с водой и, по-пластунски же, принести её в «землянку». Кружку ставили на голову, на спину, кто как хотел, и ползли, но вода чаще всего расплёскивалась. Выходило, «языка»-то взял, а притащить его живым в «землянку» не смог. Какая от этого польза командованию? Ребята к игре относились серьёзно, ревностно, старались изо всех сил, и у них стало получаться. Потом с таким же заданием желающие делились на команды и соревновались. Бывало, бегали в мешках. Шуму, смеху — «вагон и маленькая тележка».

Сегодня Андрей Иванович предложил:

— Давайте, хлопцы, поиграем в хорошую игру желаний. Представьте себе, что вы попали в волшебную страну, где исполняется любое желание, но только одно.

— Одного мало, — возразил Витёк, — надо три, как в сказках.

— Согласен, мало, зато каждый выберет самое-самое заветное, от сердца. Подумайте хорошенько и запишите его на листочке в нескольких словах, чтобы не идти на попятную. Даю десять минут на размышление.

— У-у, — недовольно загудели мальчишки, — в школе пиши, вечером тоже.

— Останется время — устроим шашечный турнир: один против пяти.

Один на пяти досках, ясное дело, играл фронтовик. Но с каждым разом ему всё труднее было выигрывать у юных шашкистов. Мальчишки согласились.

Витёк учился во втором классе, как и его товарищи по несчастью. Он, почти не раздумывая, написал своё заветное желание. Его дружок Костя — тоже.

Андрей Иванович собрал записки и стал читать вслух. Костя написал: «Хочу всегда быть сытым».

— Что ж, желание понятное. Я помню, каким отощавшим Костю подобрали на станции. Он и Витя скитались в поисках пристанища и пищи после бомбёжки автоколонны с эвакуированными семьями в Большой излучине Дона. Они только к осени чудом добрались до Саратова, изголодались — в чём душа держалась. Потом снова мытарства по железным дорогам. Собирались в тёплые края, в Ташкент, но попали в Сибирь. Правда, их предупредили, что на юге тепло, но есть там нечего. А в Сибири хоть и холода, зато картошка богато родит, с голоду не помрёшь. Вот и оказались они здесь. Война ещё не закончилась, питание у нас скромное. Всё-таки зима. Вот придёт весна, посадим огород, вырастим картофель, огурцы, капусту, помидоры, морковь со свёклой. Еды будет вдоволь. Что же написал Витя?

Андрей Иванович развернул записку и прочёл: «Пусть папа найдёт меня по записке, которую зашила в воротник рубашки мама, и живым вернётся с войны».

Андрей Иванович с изумлением воскликнул:

— Витя, верно, самое заветное желание — чтобы папа вернулся с войны. Но о какой записке ты пишешь? Где она?

— Вот здесь, в воротнике, — Витя потрогал воротник ситцевой поношенной рубашки в горошек. — Мама говорила, чтобы я берёг эту рубашку как жизнь и никому не отдавал.

— Но её ж стирали, — с горечью вымолвил воспитатель, — записка не раз намокала! Наверное, давно перетёрлась, пропала!

Мальчишки с открытыми ртами уставились на товарища, сочувствовали и сожалели, что прочесть её — дело безнадежное. Витя смотрел на Андрея Ивановича широко раскрытыми глазами. На

них навернулись слёзы. Мальчик представил вновь, в который раз, жуткий вой самолётов, огонь из пулемётов по колонне беженцев, страшные взрывы бомб, разбитые автомобили, польхающее хлебное поле... И маму, бегущую под ливнем пуль, намертво схватившую его, обезумевшего от страха, за руку. Потом она споткнулась и упала. Витя попытался поднять её, но на спине по светлой блузке в горошек, как и его рубашка, расплывалась алая кровь. Мама не шевелилась, а Витя сидел рядом и плакал. Потом, помнит, кто-то оторвал его от мёртвой мамы... Потянулись долгие месяцы мытарства вместе с оставшимися в живых беженцами, среди которых оказался Костя.

Андрей Иванович хорошо знал историю скитаний каждого мальчишки своей группы. Он, разведчик, закалённый в ночных боях по ту сторону линии фронта в поисках «языка», не мог без содрогания слушать скупые сиротские рассказы подопечных, но по крупице собирал их, записывал в толстую тетрадь для памяти о детях войны. И ещё он был немного поэт. Из всего услышанного от детей у него складывались стихи. Он ещё не читал их своим мальчишкам, стеснялся за свой слог, но в глубине души понимал: если прочтает их, то вернёт мальчишек в те страшные минуты их бедствия. И часто твердил их про себя:

Мальчишка сидел на дороге,
А мама лежала в пыли:
Бежали они по тревоге
Укрыться в отрытой щели.

Их папа ушёл на границу,
А сыну был отдан наказ:
Смотри, береги как зеницу
Мамулю, как собственный глаз!

Мальчишка рыдает над трупом,
У мамы прострелена грудь.
Нелепо всё это и глупо,
Вот встанет — и тронемся в путь...

Её схоронил у овина,
Немного присыпав землёй...
Мальчишка, ты всё же мужчина!
Священная месть за тобой.

Поднялся, суров, — жаль, не слишком
Подрос и раздался в плечах...
Ушёл в партизаны парнишка,
Винтовку сжимая в руках.

...Да-да, это стихи о Вите и Косте, об их старших сверстниках, которые уже мстят за своих погибших мам и сестёр в партизанских

отрядах. О тех, кто через год-два вольётся в ряды Красной Армии и будет бить фашистов, мстя за сожжённые города и веси, за убитых и голодных взрослых и детей. За этих мальчишек, кричащих по ночам во сне от военных кошмаров, испытавших наяву весь ужас вражеских бомбёжек, пулемётных обстрелов с воздуха, дни скитаний, голода и холода.

— Нет, Андрей Иванович, записка не перетрётся. Мама вышила на тряпочке номер папиной части и зашила в воротничок! — не сказал, а нервно выкрикнул Витя.

— Что же ты молчал?! Снимай скорее рубашку, посмотрим записку, и если разберёмся — сегодня же напишем письмо в часть твоему папе. Сообщим, что ты жив и здоров, ждёшь его с победой.

Андрей Иванович вынул из кармана перочинный нож, помог Вите снять рубашку. Воспитатель увидел на воротничке ручную штопку. «Значит, Витя говорит правду, это не его выдумка». Пальцы прощупывали небольшое утолщение. «Точно, записка!» Видавший смерть своих товарищей на фронте, десятки раз сам подвергавшийся смертельной опасности, старший лейтенант в отставке с трудом владел собой от волнения: сможет ли он прочитать записку? Его руки и лоб покрылись испариной. Зацепив лезвием нитку, он вспорол шов, извлёк лоскутик в горошек с вышитыми на нём чёрными нитками цифрами, бережно расправил его на ладони и весело сказал:

— Витя, смотри, все цифры сохранились. Полевая почта триста сорок пять шестьсот двадцать один. Это адрес твоего папы! Скажи, когда ты или мама последний раз его видели?

— Перед войной. Мы жили в военном городке. Папа был танкист.

— Ты помнишь, какие у него были знаки в петлицах?

— Помню: одна шпала.

— Судя по званию, он был командиром танкового батальона, а может быть, и полка. Так — взволнованно продолжал допытываться воспитатель. — Скажи, Витя, когда вы с мамой получили от него последнее письмо или какую-то весть?

— Летом, когда нам приказали собираться и уезжать в эвакуацию. Мама читала письмо от папы и от радости плакала.

— Ты запомнил что-нибудь из письма? Например, откуда, из какого города оно пришло?

— Я не знаю, вроде бы из области, где город Орёл.

— Если это так, то твой папа с танками держит оборону в Орловской области. Сегодня же я напишу письмо в Москву военным. Расскажу о тебе и попрошу разыскать твоего папу. Я уверен, он жив и здоров. И скоро ты получишь от него письмо.

Витя стоял в кругу своих товарищей. Все внимательно слушали воспитателя. Вдруг Витя бросился к Андрею Ивановичу. Судорожно схватив его за гимнастёрку, уткнулся ему в бок, под левую негнущуюся руку, и зарыдал.

— Ну-ну, Витюша, поплачь, поплачь. Твой папа сейчас чувствует на расстоянии, что ты жив, желаешь ему победы и скорой встречи! — воспитатель ласково гладил Витю по стриженной голове и сам волновался не меньше мальчика.

— Витька, ты же нашёл своего папку! Чего плачешь? Лучше смейся от счастья, — ворчливо успокаивал его Костя. — Мне бы такое выпало...

Витя оторвался от воспитателя. Слёзы катились по его щекам ручьём, и сквозь них мальчишки увидели, что глаза-то друга счастливые. Витя громко и радостно засмеялся.

— Котька, видишь, я смеюсь!

— Вижу, — ответил Костя и тоже засмеялся, разделяя радость друга, а за ними развеселились и остальные детдомовцы. Андрей Иванович тоже!

Утром в штабы Центрального и Воронежского фронтов ушли письма от воспитателя детского дома Андрея Ивановича. Наши войска там держали прочную оборону, и воспитатель верил, что Витин папа обязательно откликнется.

Марат Валеев

Жизнь и необыкновенные приключения Бориса Едомина

С Борисом Матвеевичем Едоминым я познакомился в девяностые, когда он пришёл в редакцию нашей окружной газеты «Эвенкийская жизнь» со своей проблемой — не решался вопрос предоставления ему жилья на материке как северянину с большим стажем. Мы вместе подготовили заметку о его мытарствах, и вскоре после её опубликования Борис Матвеевич таки получил квартиру в Набережных Челнах, куда и уехал вскорости.

А я ещё при первой встрече сразу обратил внимание на орденскую колодку на потёртом пиджаке бравого деда.

— Воевали?

— Было дело, — подтвердил Борис Матвеевич.

Мы разговорились, в результате появились вот эти заметки.

н б о м б л е л н

Борис Едомин родился и рос в Ижевске, после шестого класса поступил в ремесленное училище, выучился на токаря. С начала войны работал на машиностроительном (на самом деле — оружейном) заводе № 74, который гнал различные виды вооружения для фронта: винтовки, автоматы, пулемёты, пушки. Борис вытачивал на своём станке шпалеры — стальные заготовки для автоматных стволов. Когда потерял им счёт, решил, что хватит только делать оружие, пора и самому пускать его в ход. Пошёл в военкомат, откуда его направили в ШМАС — школу младших авиационных специалистов. А в 1944 году семнадцатилетний сержант Борис Едомин направляется в действующую армию — в полк дальней бомбардировочной авиации.

На вооружении полка были двухмоторные и двухкилевые ночные, снизу выкрашенные в чёрный цвет, бомбардировщики Ер-2. Экипаж самолёта состоял из пяти человек. Борис Едомин был стрелком. Он помещался сзади пилотской кабины в специально оборудованном стрелковом гнезде с застеклённым фонарём, из которого грозно выглядывал ствол двадцатимиллиметровой скорострельной турельной пушки с электроприводом. Кроме того, на вооружении Ер-2 было ещё два пулемёта. Одним словом, неслабый был самолёт, если учитывать, что он сбрасывал на головы противника бомбы весом от центнера до полутонны.

Первый боевой вылет Борис Едомин со своим экипажем совершил на Будапешт, из местечка Замостье, что под Варшавой. Слетали удачно,



Вот на таком красавце, бомбардировщике Ер-2, он летал бомбить Берлин

отбомбились точно в цель, что подтвердила и аэрофотосъёмка — она всегда велась параллельно с бомбёжкой. А потом были ночные «визиты» на Берлин, на Кёнигсберг.

Особенно массовой бомбёжке подвергалась столица фашистской Германии. На неё одновременно с запада и востока набрасывались сотни самолётов — советских, американских, английских. Действия союзников были согласованными, у каждой стороны в небе были свои эшелоны, в городе — квадраты, и над Берлином весной 1945 года постоянно стоял несмолкаемый самолётный гул. Вот когда немцы на своей шкуре по-настоящему испытали то, что в начале сороковых несли на своих смертоносных крыльях армады «люфтваффе» и обрушивали на города Европы и СССР. Когда, наконец, сами поняли, что война — это «не есть хорошо».

Чем поразил Едомина Берлин — так это сплошным огненным заревом. В результате непрерывных бомбардировок город был охвачен огромным, от края до края, пожаром. В первые дни бомбардировок самолёты вначале спускали на парашютах осветительные бомбы — САБы, чтобы сверху лучше было видно, куда бросать боевые бомбы. Ну а позже, когда ночные вылеты стали чем-то вроде регулярных вахт и немцы были уже не в состоянии справиться с пожарами, надобность в предварительном освещении отпала: город в свете огненного зарева был виден как на ладони.

Что при этом испытывал семнадцатилетний парень, на долю которого выпала, так сказать, историческая миссия — уничтожение агрессора в его собственном логове?

— Чувства мести у меня не было, — честно признавался Едомин. — А вот удовлетворение и что-то похожее на гордость я испытывал. Ведь сколько наших солдат погибло, не дождавшись этого часа — когда Берлин будет гореть так же, как горели наши города. А я только-только попал на войну. И мне вот так неслыханно повезло — пришлось своими глазами всё это не только видеть, но и самому участвовать в бомбардировках Берлина.

б о н а я с л а л с т о в о к

На счету Бориса Едомина с августа 1944 года по 9 мая 1945 года оказалось тридцать семь боевых вылетов. За это время полк, в котором служил Едомин, потерял пять самолётов. Могло быть и шесть, включая тот, на котором летал он сам. Спас Ер-2 и весь его экипаж стрелок Борис Едомин. Причём совершенно невероятным, фантастическим образом. А дело было так. При подготовке едоминского самолёта к боевому вылету аэродромный оружейник, в обязанности которого входило регулирование стрелкового оружия самолётов, забыл вынуть трубку регулирования прицела из пулемёта.

Экипаж под командованием майора Жданова благополучно отбомбился по Кёнигсбергу и уже на рассвете возвращался в своё расположение. Летели невысоко, так что на земле можно было различить вражеских солдат. И тут, откуда ни возьмись, — «мессер», заходит в хвост Ер-2. Едомин спокойно ловит его в перекрестье прицела, нажимает на педаль спускового механизма. Но вместо очереди — непонятный хлопок и необычно сильная отдача. «Мессер», хотя и остался цел и невредим, на всякий случай отвалил.

«Почему не стреляешь, так твою растак?!» — раздался в наушниках раздражённый голос командира. А Едомин сам ничего понять не может. Тут «мессер» снова пристраивается в хвост, причём лезет в наглую, Едомин даже рассмотрел ухмыляющуюся рожу немецкого пилота.

Борис для устрашения повращал турелью и только тут понял, почему немец перестал его бояться. У пулемёта не было дула — первые снаряды из выпущенной очереди, столкнувшись с трубкой регулирования, взорвались в стволе и обрубали его.

Едомин похолодел: сейчас «мессер» вдребезги разнесёт из своей пушки сначала его стрелковое гнездо вместе с ним, а потом подожжёт и самолёт. В сильнейшем волнении Борис соскочил с места, сильно дёрнул фонарь. Стеклообразная полусфера оторвалась вместе с рамой и врезалась в нос вплотную преследующего их «мессера». Пилотская кабина немецкого самолёта буквально взорвалась стеклянным блестящим облаком, и ошарашенный «мессер» вильнул.

«Ага, не нравится!» — ликуяще закричал Едомин и, подчиняясь безотчётному порыву, стал хватать лежащие у него под ногами пятикилограммовые пачки листовок с призывом к немецким солдатам сдаваться (ими снабжали все наши бомбардировщики для разбрасывания над расположением противника) и швырять их в ненавистный «мессер», опять пристраивавшийся к ним в хвост. Пачки на лету разрывались, и немецкий истребитель оказался весь окутан белым бумажным облаком. Продолжалось это безумство не минуты даже — секунды. Когда Борис нагнулся за очередной пачкой листовок и, не найдя их больше, выпрямился, «мессера» в пределах видимости уже не оказалось.

Произошло невероятное: ослеплённый немец резко ушёл вниз и врезался в землю.

За этот подвиг, а вернее будет сказать — за находчивость, старший сержант Борис Едомин был награждён орденом Красной Звезды. Кроме того, за неполный год участия в Великой Отечественной войне он был также награждён двумя орденами Отечественной войны, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» (Едомин принимал участие в пятнадцати его бомбардировках, был ранен осколками близко взорвавшегося зенитного снаряда), «За взятие Кёнигсберга». И «За победу над Японией» — ему довелось послужить и на Дальнем Востоке.

емлен е в лаге

После войны их авиаполк перебазировался в Михановичи, что в сорока километрах от Минска. Он сменил не только место дислокации, но и самолёты — теперь это были Ту-4, фактически немного переделанные американские «летающие крепости» Б-29. Машины огромные, мощные, с экипажем в одиннадцать человек.

Полк нёс боевое дежурство в небе над Белоруссией, Украиной и Молдавией. Иногда самолёт садился в Польше, что не было предусмотрено никаким маршрутом. В машину загружали, выгружали какие-то ящики, тюки. Что именно — Едомина не особенно интересовало, на то были отцы-командиры, они знали, что делали. Но в один прекрасный день наши же средства ПВО вынудили самолёт сесть в Бресте. Набежали особисты, таможенники. Оказалось, что пилоты совмещали боевое дежурство с... контрабандой.

Махинациями занимались офицеры, а отвечать по всей строгости закона пришлось всему без исключения экипажу. Трибунал вклеил им на всю катушку, не пощадили никого. Командир самолёта, майор, лётчик-ас, награждённый двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, тем не менее получил двадцать пять лет. Остальные офицеры — по двадцать лет. Едомин «отделался» десятью годами, хотя при контрабандных делах сих присутствовал не более чем статистом.

Срок отбывал в Каргополе, это в Архангельской области.

— Кого только не было в нашем лагере! — вспоминал Борис Матвеевич. — Полковники, генералы, профессора, академики. Вместе с нами тянула лямку и Ольга Окуневская. Ну, она ещё в «Пышке» главную роль играла, в «Ночном патруле». Ей, говорят, приписали связь с Тито...

Сподобился и Едомин стать в лагере артистом. Он, ещё будучи пацаном, принимал участие в художественной самодеятельности, танцевал. Не скрывал своих талантов и в лагере. Его заметил отбывающий срок за что-то — да мало ли за что тогда сажали! — заслуженный артист, иллюзионист Граник и взял к себе ассистентом. Из заключённых, обладавших артистическими данными, была сколочена специальная бригада, которая разъезжала по лагерям и давала пропагандистско-увеселительные концерты как зекам, так и их охранникам.

См о т т е л е н т а о с с

Особых физических тягот при отбывании незаслуженного наказания Борис не испытывал. Но морально травмирован этой несправедливостью был навсегда. Чтобы не навредить родителям, перестал поддерживать с ними отношения. А освободившись, поехал не домой, а в Сибирь. Пятнадцать лет жил в Саянах, был охотником. Сошёлся там с одной женщиной, с ней и переехал в Эвенкию в 1976 году. Устроился на работу в совхоз «Нидымский» промысловиком — пушнину добывал. И здесь совершенно случайно встретил своего бывшего сослуживца Юрия Савельева, тоже воздушного стрелка. Он после войны подался в геологию и работал в Туре, в Восточно-Сибирской экспедиции «Шпат».

Вот Савельев-то, узнав всю историю со взлётом и падением Едомина, помог ему в восстановлении всех его документов как участника войны через Москву, поскольку всё это время Борис Матвеевич жил практически как человек без прошлого. В котором, между прочим, были не только лагерные годы, а и отмеченное его личным подвигом участие в войне, послевоенная служба в ВВС, за что полагались льготы, почёт и уважение.

Лишь через двадцать девять лет после того, как угодил в лагеря, Борис Матвеевич вступил в отношения со своей семьёй — уже как человек, полностью восстановленный в своих правах, признанный как защитник Отечества, ветеран войны. Разыскал своих сестёр, ездил в Ижевск. Встретил там объект своей первой юношеской любви. Она уже была замужем, он — в гражданском браке с другой женщиной. Но разве эти условности — преграда для двух людей, вновь обретших друг друга?

Они тайно встречались несколько раз. А когда Едомин уехал обратно в Эвенкию, его первая любовь слала ему в далёкую холодную Сибирь печальные, полные нежности письма. Но к Борису они не попадали: их перехватывала каким-то образом на почте его сожительница и пересылала со своими комментариями на работу мужу «разлучницы» в Ижевск, а коряво составленные кляузы на неё саму — в партком. Естественно, скандал, у мужа той женщины — инфаркт, смерть. Узнав об этом, Борис Матвеевич просто прогнал от себя свою не в меру ретивую ревнительницу нравов. С тех пор жил один.

В Эвенкии он кем только не работал: был начальником авиаплощадки в заполярном посёлке Чиринда, начальником авиапорта «Горный» в окружном центре (хотя вначале просто кочегарил здесь), строителем и завхозом турбазы на озере Виви, больше известном как географический центр России. У Едомина в гостях на Виви, как у смотрителя центра России, бывали даже наши космонавты с известным путешественником Яцеком Палкевичем.

Но больше всего Борису Матвеевичу нравилось быть просто охотником, и он много лет подряд заключал договоры с совхозом или



Б. М. Едомин
в пору его
проживания
в Эвенкии

леспромхозом и на месяцы уходил в тайгу — промышлять соболя. И как тут напоследок не рассказать ещё одну историю, едва не ставшую нашим герою жизни?

Схватка с косолапым

Зимовал Едомин в тот год на таёжной речке Таймура, причём — без оружия (охотинспекция изъяла за какой-то грешок, за какой — Едомин застеснялся мне рассказать; браконьерил, поди). А тут повадился медведь лазить к нему на зимовье. Пока Едомин ходит по путику, проверяет капканы, косолапый хозяйствует в зимовье, все его припасы уничтожает и портит.

Осерчал Борис Матвеевич, поставил на него петлю из двойной бельевой верёвки. Рассчитывал, что мишка попадёт в неё башкой да сам задавится. А косолапый попал в петлю задней лапой. Оборвать её не смог, перегрызть почему-то не догадался или не получилось, вот и крутился-вертелся вокруг дерева да и примотал себя к нему вплотную. Два дня подряд ревел благим матом, спать не давал Едомину. Не выдержал Борис Матвеевич, взял топор и пошёл «успокаивать» косолапого.

Подобрался к нему со всей осторожностью, приложился топором, да неточно. Взревел медведь и как махнёт когтистой лапой — Едомин так и улетел без сознания (два ребра сломал ему медведь, да плюс

к этому сук глубоко пропорол Борису Матвеевичу ногу, так что в больнице потом пришлось не одну неделю отлёживаться).

Когда пришёл в себя — с трудом выполз на берег Таймуры. На его счастье, мимо проплывали на моторке другие охотники. Они-то и оказали Едомину первую помощь и наконец угломонили медведя...

Не знаю, дожил ли Борис Матвеевич до сегодняшнего дня там, в своих Набережных Челнах, куда он уехал из Сибири навсегда уже более десятка лет назад. Но очень хочется верить, что дожил.

А я напоследок хочу ещё предложить читателям пару стихов Едомина. Если возьмётесь судить их, то знайте: Борис Матвеевич свои стихи никогда не записывал на бумагу, никогда не шлифовал их. То есть какими они у него сложились там, в тайге, в таком виде он их и хранил затем в запасниках своей памяти. Вот эти он начитал мне на диктофон.

в т о а м п е е с т о к

Я верил вам, как можно только верить,
Изверившись в грядущем и былом.
Содеянное вами — кто измерит?
И кто когда воздаст вам за погром?
Страна — в руинах вашей перестройки,
Среди блокад и в зареве фронтов.
И президент, уверенный и стойкий,—
Средь жирных перестроечных котлов.
Котляры — с духом мелкого настроения,
С неистребимой жаждой барыша,
И все они под маской демократа
Умело прячут рыло торгаша.

а а м е

Стремительная речка Таймура
Течёт, теряясь в дебрях и каньонах.
Она, бурля и пенясь в шиверах,
Шлифует камень, погружённый в воду.

Её притоков своеобразен лик,
Названья поэтичны и певучи:
Юкэ, Делинда, Юкта, Ботули...
И несть числа таким созвучьям.

Я в жизни этой человек случайный.
Но на земле таёжной я не гость.
И если вдруг наступит миг печальный,
Бросьте мне в могилу снега горсть.

Иван Булава

Героический рейс

Девяностые годы прошлого столетия в истории России можно назвать смутным временем. В который уж раз Россия вступила в период беззакония, когда рвались десятилетиями отработанные жизнью административные связи, перестали действовать законы. Наглость и обман, беспредел взяточничества и подкупа на всех уровнях власти, когда верховенство взаимоотношений «по понятиям» были выше законов, откаты — устная, а иногда и завуалированная форма заключения сделок и договоров, — в таких условиях жила Россия в это время. Это период передела собственности, в некоторых случаях — её захвата. Население России поделилось на крикливое меньшинство и молчаливое большинство, над которым первое брало верх. Это было время неслыханного обогащения небольшой группы проворных, до сего времени никому не известных людей и катастрофического обнищания основной массы населения. На фоне этого мрака оставались слои населения, которые были брошены на произвол судьбы: пенсионеры, которые в одночасье потеряли все свои сбережения, а потом были обобраны государством по льготам; жители образованных градообразующими промышленными предприятиями городов; население северных территорий, выживание которого зависело на сто процентов от «северного завоза» — так со времён установления Советской власти называлось снабжение населённых пунктов за полярным кругом топливом, товарами первой необходимости. Государство делает попытки спасти положение по Северу, определяя банки-кредиторы, вексельные расчёты с поставщиками, сроки. Однако всё тонет в неразберихе при заключении договоров. Не спасает положение использование государственного резерва. Зима не ждёт, и в угол загнаны речники и моряки. И тогда начинаются испытание на прочность техники и героизм людей.

Так было в 1995 году, когда порт и посёлок Диксон остались без топлива. В условиях осеннего ледостава, при низких отрицательных температурах, танкер «Волгонефть-134» (капитан А. М. Мамошкин, капитан-наставник Е. И. Скребло) доставил 5000 тонн дизельного топлива. Проводка танкера осуществлялась ледоколом «Авраамий Завенягин» (капитан В. П. Мартынов, капитан Дудинского порта А. Н. Быковский). В 1997 году уже Эвенкия осталась без топлива. Часть флота осталась на зимовку на Подкаменной Тунгуске. Топливо на Туру доставляли из Абалаково по зимнику и авиатранспортом.

В 1998 году остались без топлива порт и районный посёлок Хатанга. В конце октября в районе мыса Косистый перед Хатангским баром остановился зафрахтованный финский танкер «*i*», который пришёл за атомным ледоколом. Потребовалась его распузка речными танкерами, для проводки которых через Хатангский залив пригнали из Дудинки в сопровождении атомных ледоколов ледокол «Авраамий Завенягин». Операция прошла благополучно, но какова цена этому — можно только догадываться. Всё это вопросы главе Таймырского автономного округа Г. П. Неделину. В эту же осень за пределами физической навигации под гарантию господина Неделина на Таймыр было доставлено Енисейским пароходством 12 тыс. тонн нефтепродуктов. Не рассчитался, обманул господин губернатор. Ничему хорошему цена обеспечения Хатанги топливом в 1998 году администрацию Таймырского округа не научила. Закончилась навигация на Енисее в 1999 году — и встал снова остро вопрос завоза на Хатангу топлива. На этот раз после длительных переговоров с поставщиком топлива, подбора ледокольного танкера, неоднократной перемены решения остановились на танкере «Рунгале». Погрузив 20 тыс. тонн дизельного топлива при водоизмещении в полном грузу 30 тыс. тонн, финский ледокольный танкер «Рунгале» во второй половине октября вышел из Архангельска курсом на восток, где на полпути к Диксону его взял под ледокольную проводку атомный ледокол «Арктика». Примерно в это же время в Диксон направлен ледокол «Авраамий Завенягин». Ожидали подхода атомных ледоколов «Арктика» и «Таймыр». Взамен ледокола «Авраамий Завенягин» в Дудинку спешил наспех экипированный в Подтёсово ледокол «Капитан Мецайк» (капитан В. П. Кулага). Экипаж — девятнадцать человек, из них десять человек — вновь назначенных, в том числе молодой, но опытный радист-электромеханик К. Л. Крестьянников, переведённый с теплохода «Фёдор Наянов».

Константин Леонидович начинал работу радистом на теплоходе «В. Чкалов» после окончания подтёсовского профессионально-технического училища № 5, потом заочно оканчивал Красноярское речное училище (электромеханическое отделение), новосибирский институт, получил диплом инженера-электромеханика, работал на судне «Вячеслав Шишков», ледоколе «Капитан Мецайк» в 1994 году во время перегона судов проекта 2188 («чешки») с Енисея на Чёрное море, гружённых пиломатериалом, на Турцию. В этой экспедиции потерпел крушение теплоход «Яхрома», а на ледоколе «Капитан Мецайк» ударом волн получила повреждение надстройка ледокола, и вода хлынула в его корпус. Тогда в экстремальных условиях Константин Леонидович обеспечивал связь по азбуке Морзе с генеральным директором, который возглавил спасательную операцию. В пароходстве за тысячи километров принимал точки-тире второй ас морзянки, перворазрядник, призёр всесоюзных соревнований по

спортивной радиосвязи В. Ф. Чумиков. Сквозь шум и треск эфира Валерий Фёдорович с трудом улавливал еле различимые, а больше по интуиции принимаемые тревожные сообщения: о состоянии судна, о необходимости направить вертолёт из Нарьян-Мара для спасения экипажа и другие. Тогда от умения наладить радиосвязь зависела судьба экипажей и судов. И радиосвязь была обеспечена. Экипировка ледокола в Подтёсово предусматривала работу его в Дудинском порту, не более. Ни тёплой меховой одежды, ни водолазного шерстяного белья, ни рукавиц, ни средств от обморожения — ничего этого на ледоколе не было.

Вышли из Подтёсово 13 октября. Тоже угораздило — не раньше и не позже, как на флоте считают, рокового числа. Из Подтёсово до Дудинки прошли без особых задержек, кроме двух суток в Туруханске, когда снова уточняли условия договора аренды ледокола Норильским комбинатом. После получения всех гарантий ледокол «Капитан Мецайк» в начале суток 19 октября прибыл в Дудинку. Комиссия по приёмке теплохода, назначенная руководством Норильского комбината, приняла ледокол «Капитан Мецайк» в зимнюю эксплуатацию, получено 403 тонны дизельного топлива, и 23 октября ледокол приступил к ледовым работам в порту. К этому времени Енисей стал, а в администрации Северного морского пути ещё не было решения о составе каравана для марш-броска через пролив Вилькицкого для распазки танкера «Рунгале». Опыт прошлого года, когда в проводке во льду речных танкеров через бар участвовал только ледокол «Авраамий Завенягин», не давал полной уверенности в успешности операции. А вдруг застрянет во льду, тем более что ледовая операция получается на две недели позже прошлогодней? Его выручать будет некому. Шла упорная разработка плана использования ледокола «Капитан Мецайк» на том участке. Для этого необходимо согласование с управлением Енисейского пароходства и Министерством транспорта. И только 29 октября согласования во всех инстанциях достигнуты. Только не сделано ничего по экипировке экипажа ледокола «Капитан Мецайк» для плавания в зимних условиях по Севморпути, не считая того, что перед самым отходом из Дудинки по настоянию капитана В. П. Кулаги заменены верхонки на утеплённые рукавицы и дополнительно получена смазка. Перед отходом из Дудинки ледокол посетили заместитель губернатора Таймырского автономного округа А. П. Кузнецов, капитан Дудинского морского порта А. Н. Быковский, зам. начальника Таймырского районного управления Енисейского пароходства Н. Г. Мыльников — очевидно, с целью подбодрить экипаж, подумал Владимир Петрович.

Он не был новичком на трассе Северного морского пути. Ещё в 1986 году, будучи капитаном-механиком теплохода «Сибирский-21», совместно с теплоходом «Сибирский-22» доставил контейнеры с продовольствием и оборудованием из Красноярского порта в Якутск.



Капитан В. П. Кулага



Ледокол «Капитан Мецайк»
(фото Енисейского пароходства)

Правда, возвращались экипажи из Якутска уже самолётом. В 1994 году назначен дублёром капитана ледокола «Капитан Мецайк», который в качестве спасательного судна сопровождал караван из пяти гружённых пиломатериалом судов. Не дойдя до острова Колгуев, караван попал в сильнейший шторм, и теплоход «Яхрома» у мыса Русский Заворот потерпел крушение. Получив повреждение с потерей герметичности, ледокол «Капитан Мецайк» вынужден был прекратить спасательную операцию и спастись сам. Об этом вспомнил Владимир Петрович, ставя задачу перед экипажем при отходе из Дудинки на Диксон.

31 октября в Енисейском заливе состоялась радиосвязь с атомным ледоколом «Таймыр», который проводил сухогруз в Дудинку и рекомендовал следовать серединой между островом Сибирикова и побережьем Таймыра, где на обратном пути он возьмёт под проводку ледокол «Капитан Мецайк». Однако капитан В. П. Кулага самостоятельно привёл своё судно к северо-восточному проливу Превен для захода в бухту Диксон. Пролив Вега для захода в бухту с юга был закрыт в связи с уже работавшей санно-тракторной дорогой через бухту. В пути до Диксона ледоколу пришлось следовать при отсутствии видимости, пятнадцатиградусной отрицательной температуре, северо-восточном ветре до двадцати метров в секунду, интенсивном обледенении. При такой круговерти капитан решил не заходить в бухту, а подождать рассвета у припая. Как известно, весь Северный морской путь, в том числе весь флот, полярные станции, живёт по московскому времени. Хотя солнце над горизонтом и не появляется, но рассвет на короткое время наступает. Полярная ночь на Диксоне начинается 10 ноября и длится до 1 февраля. Рассвета и решил подождать капитан, а пока на судне — аврал: уборка льда с окон, фальшбортов, палубных механизмов. Через два часа наступили утренние сумерки, и ледокол «Капитан Мецайк» зашёл в бухту Диксон, стал к причалу. Экипаж начал подготовку для плавания по Северному морскому пути: продолжили очищение ото льда, учебные тревоги, изготовление запасных браг (трос большого диаметра, закреплённый



Ледокол «Авраамий Завенягин»

вокруг корпуса ледокола, сведённые концы которого закреплялись на большую скобу в носу судна). Кроме того, в диксонской гидробазе получили навигационные карты для перехода и пособия: лоции северных морей, книгу огней и знаков и другие.

5 ноября, в 13 часов, на борт ледокола поднялся капитан атомного ледокола «Таймыр» А. А. Хорьков, уполномоченный администрацией Северного морского пути в лице Горшковского осмотреть ледокол «Капитан Мецайк» на предмет пригодности его и экипажа идти на Хатангу. Осмотрев регистрационные документы и побеседовав с капитаном, механиком и электромехаником, сделал заключение о пригодности ледокола и экипажа для выполнения задания. А. А. Хорьков был не в восторге от осмотра, по мнению капитана В. П. Кулаги, отбыл на ледокол «Таймыр» для доклада администрации СМП. В 18 часов 23 минуты получено разрешение Горшковского на выход до Хатанги, а через пять минут получено через начальника Диксонского порта Н. Е. Петухова такое же разрешение от генерального директора ОАО «Енисейское пароходство» И. А. Булавы.

Вышли на Хатангу из Диксона 5 ноября в 19 часов 40 минут. Наличие топлива — 330 тонн, пресной воды — 130 тонн. Впереди атомный ледокол «Таймыр», за ним в кильватер — ледокол «Авраамий Завенягин», следом — ледокол «Капитан Мецайк». Через двенадцать часов погода и ледовая обстановка ухудшились. Ледокол «Таймыр» взял на буксир ледокол «Авраамий Завенягин», «Капитан Мецайк» следует в кильватер. Ход переменный, встречаются ледовые перемычки. Скорость — от трёх до восьми узлов. Температура — минус восемнадцать градусов.

7 ноября (в День Октябрьской революции) встретили сильные торосы. Снова реформирование состава: ледокол «Капитан Мецайк»

становится вплотную в корму «Таймыра», а «Авраамий Завенягин» берёт на буксир ледокол «Капитан Мецайк». На ледоколе «Авраамий Завенягин» не работает буксирная лебёдка. В 7 часов 30 минут к проводке подключился атомный ледокол «Арктика», который следует впереди состава. Через несколько часов — снова вынужденная переформировка состава: не держит лебёдка на ледоколе «Капитан Мецайк». Атомный ледокол «Арктика» берёт вплотную в корму ледокол «Авраамий Завенягин», а «Таймыр» — ледокол «Капитан Мецайк». Во время счаливания у ледоколов «Таймыр» и «Капитан Мецайк» ветром и дрейфующими льдами заломило под углом до девяноста градусов, оборвало брагу и обломило часть абвайзерной коробки ледокола «Капитан Мецайк». Пока ставили запасную полубрагу, оба ледокола, сильно заторошенные, вырваться из ледового плена самостоятельно не могут. Ледокол «Арктика» отнесло дрейфом льдов за это время на пять-шесть миль. После их заклинивания в торосах «Арктика» отдаёт буксир и пробивается на помощь «Таймыру». К 20-ти часам наконец-то ледокол «Арктика» выводит счаленные ледоколы «Таймыр» и «Капитан Мецайк» из района сильного торошения льда и возвращается за ледоколом «Авраамий Завенягин». О тяжёлой ледовой обстановке, в которую попал караван, капитан В. П. Кулага сообщает через спутниковую связь ледокола «Авраамий Завенягин» в Енисейское пароходство, понимая, что помощи оттуда ожидать не приходится. Однако, получив повторно тревожную радиограмму — уже через радиостанцию атомного ледокола «Таймыр», генеральный директор И. А. Булава начал поднимать тревогу в штаб морских операций и Министерство транспорта о необходимости приостановки операции по форсированию прохода через пролив Вилькицкого. Чем дальше пробивался караван, тем яростнее сопротивлялось море, нагромождая на виду у экипажей горы торосов, усиливая дрейф их на запад.

8 ноября в 8 часов на траверзе мыса Челюскин легли на истинный курс 110 градусов, огибая его. Через два часа снова застряли. Попытка работать реверсами обоих ледоколов — безрезультатна. Идёт сильнейшее сжатие, торосы растут у борта, а суда неподвижны. Капитан Кулага снова и снова даёт команду проверить готовность к работе погружных насосов, расставленных по отсекам судна ещё в Диксоне, наличие там спасательного инвентаря, материалов. В машинно-котельном отделении, кроме вахты, — главный механик А. А. Синюшкин, электромеханик К. Л. Крестьянников; в ходовой рубке, не покидая её, находится капитан В. П. Кулага.

В 12 часов на капитанский мостик поступила из машины тревожная информация: выгибается левый борт ниже ватерлинии, трубопроводы вдоль борта, появились первые трещины в борту, хлынула вода со льдом. Объявлена водяная тревога. Попытки аварийной партии клиньями, паклей, пластырями уменьшить поступление воды ощутимых результатов не приносят. Борт выпучивается, подступает

к трубам, трубопроводы и слани выгибаются. Возникла опасность зажатия рук или ног членам аварийной партии. По сообщению из машинного отделения, в борту трещина по длине пять-шесть метров, запущены все водоотливные средства, однако отсек заполняется водой и льдом. Вода начала поступать в отсек главных и вспомогательных двигателей. Запущен погружной насос, находящийся в машинном отделении. В связи с затоплением четвёртого отсека принято решение переместить насосы из него в озонаторную, а четвёртый отсек загерметизировать.

Получилось! К этому времени отдали буксир с ледокола «Таймыр», который с большим трудом приблизился к корме ледокола «Капитан Мецайк», передал краном ещё один погружной насос и запасные шланги. Сжатие ослабло. Дифферент на корму исчез, появился крен на левый борт — 3,5 градусов. Причиной тому освобождение ледоколом «Капитан Мецайк» жёстко учаленного носа судна от кормы ледокола «Таймыр», а также на пределе своих возможностей атомный ледокол «Арктика» крушил льды вокруг ледоколов «Таймыр» и «Капитан Мецайк». С ледокола «Таймыр» передали: готовить к эвакуации экипаж ледокола «Капитан Мецайк», оставив на борту судна аварийную партию, которая проверяла все смежные с затопленным отсеком помещения, форпик, ахтерпик, балластные отсеки. К эвакуации готовятся женщины. Судовые документы, кассу готовит к эвакуации радист А. Ф. Гуреев. Рядом стоит атомный ледокол «Арктика», успеv отвести и поставить в береговой припай ледокол «Авраамий Завенягин». Дрейф всего каравана на запад достигает трёх миль в час.

В 16 часов 25 минут поступило распоряжение с ледокола «Таймыр» всему экипажу эвакуироваться с аварийного судна. Капитан В. П. Кулага принимает решение: оставить на судне старшего механика А. А. Синюшкина, электромеханика К. Л. Крестьянникова, старшего помощника капитана М. И. Зернова — для обеспечения работы механизмов в машинном отделении, для связи мостика и машинного отделения; капитан — в ходовой рубке. Остальных эвакуировать до выхода из района сжатия. Шесть рулевых-мотористов и пять членов командного состава двумя заходами крановой люльки ледокола эвакуированы на ледокол «Таймыр». Люлька висит над кормовой палубой ледокола «Капитан Мецайк» в немедленной готовности эвакуировать оставшихся членов экипажа. Ледокол «Арктика» снова на расстоянии 0,5 мили крушит торосы, ледяные поля, делая разрежение на пути дрейфа каравана.

В 20 часов 25 минут на судно возвращаются пять командиров, ведутся работы по уменьшению поступления воды в пятый отсек.

В 21 час 30 минут на судно возвращаются ещё шесть человек. Начали заводить брагу. В 23 часа 30 минут на коротком буксире за ледоколом «Таймыр» начали движение на запад. Температура — минус двадцать пять градусов, ветер восточный, десять метров в секунду. На судне

нет пресной воды, не работают туалеты, отопление. В затопленном отсеке расположены топливоподкачивающие и масляные насосы. Вышли из положения с помощью шлангов бензореза. Третий главный двигатель остановлен. Масло из его картера подаётся для двух других главных дизелей.

9 ноября в 13 часов 30 минут — остановка всего каравана во льдах. Впереди ожидается ухудшение ледовой обстановки. Атомный ледокол «Арктика» ушёл на ледовую разведку. На ледокол «Капитан Мецайк» пришли специалисты с ледокола «Таймыр» во главе с его капитаном. Они убедились, что экипажем судна делается всё возможное, чтобы уменьшить поступление воды в пятом отсеке. Экипаж принимает меры к осушению правой половины четвёртого отсека, который загерметизирован. Поставить цементные ящики из-за трубопроводов не представляется возможным. Заведение снаружи пластыря, предложенное капитаном А. А. Хорьковым, по мнению капитана В. П. Кулаги, поддержанному другими капитанами, — неприемлемо.

В 21 час 30 минут продолжили движение. Десятого ноября в 00 часов 40 минут — заклинивание во льдах. Выручает «Арктика», окальвает с обоих бортов. В 2 часа 00 минут продолжили движение.

12 ноября, в 6 часов 15 минут, севернее острова Диксон с атомного ледокола «Таймыр» буксир отдан. Ледокол «Капитан Мецайк» самостоятельно, за ледоколом «Авраамий Завенягин», зашёл в бухту Диксон, ошвартовался правым бортом к причалу. Хотя угроза затопления машинного отделения существовала, экипаж получил маленькую передышку. Разрешил капитан В. П. Мартынов посетить сауну ледокола «Авраамий Завенягин» только женщинам, остальных членов экипажа любезно пригласил в баню начальник порта Н. Е. Петухов. Пока шла дискуссия в Главном управлении СМП, кому вести речные ледоколы до Дудинки, экипаж ледокола «Капитан Мецайк» продолжал бороться за живучесть судна. Заводили пластырь, переставляли его для уплотнения, однако прекратить поступление воды не удавалось; сушили и упрощали схемы подачи воды в санузел, налаживали отопление. Аврал на судне, начатый 8 ноября в 12 часов, продолжался. Работали с небольшими перерывами на приём пищи и сна, не снимая промокшей и промасленной обуви и одежды.

16 ноября в 5 часов речные ледоколы вышли из бухты Диксон, где их ожидал ледокол «Капитан Драницын», атомные ледоколы «Арктика» и «Таймыр». Преодолев несколько перемычек перед устьем Енисея с обрывом и заменой буксирных тросов и браг, караван 18 ноября в 8 часов 30 минут достиг порта Дудинка.

Финский танкер «Рунгале» подключился к каравану 7 ноября вместе с атомным ледоколом «Арктика», который обеспечивал его ледокольную проводку. По воспоминаниям капитана В. П. Кулаги, он особых хлопот для ледоколов не вызывал и вернулся до Диксона вместе с караваном. От Диксона по западному сектору Арктики его



Атомный ледокол «Таймыр»

проводили ледоколы «Таймыр» и «Арктика», пока речные ледоколы выравнивали дыхание в бухте Диксон.

В Дудинке аварийный ледокол встретили бригада спасателей, водолазов, главный инженер пароходства Н. А. Лесунов с бригадой ремонтников.

Ещё несколько суток авральной работы — и наконец реальная угроза затопления машинно-котельного отделения ледокола устранена. Только 24 декабря капитан В. П. Кулага смог обрести относительный покой, привести в порядок документы и свои мысли. Самолётом отправлено в Подтёсово девять человек, остальные десять членов экипажа остались проводить на судне отстойные работы, ремонт оборудования, подготовку к переходу в начале следующей навигации на доковый ремонт в Красноярске. В ту зиму от замерзания Хатангу спасали службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Топливом Хатангу в двухтысячном году обеспечивал флот Ленского пароходства, а потом, после создания губернатором Таймырского автономного округа А. Г. Хлопониним службы заказов, вакханалия по обеспечению топливом Таймыра закончилась.

Трудно переоценить подвиг экипажа ледокола «Капитан Мецайк» по спасению своего судна в том героическом, но до конца не продуманном рейсе. Они совершили беспрецедентный подвиг.

В чём заключается их подвиг, хорошо раскрыл капитан Дудинского морского порта А. Н. Быковский, по горячим следам расследуя эту аварию, в докладной на имя генерального директора И. А. Булавы:

«Ранее докладывал Вам в общих чертах касательно похвального умения, проявленного экипажем ледокола «Капитан Мецайк», в результате которого ледокол остался на плаву... Позже, изучив аварийное дело по ледоколу, утверждаю, что это произошло благодаря умелым действиям капитана В. П. Кулаги, возглавившего борьбу за живучесть ледокола. Люди и техника ледокола работали на пределе, но силы стихии превышали. Судьба ледокола была предрешена совместным решением на месте капитанов атомных ледоколов «Таймыр» и «Арктика», а также ледовыми капитанами штаба ледокольных проводок Западного сектора Арктики по радиосвязи, так как живучесть ледокола «Капитан Мецайк» стремительно шла к нулевой. На борту остались 4 человека, которые продолжали бороться за живучесть. В этот экстремальный период аварийная партия, помимо больших физических усилий, проявила высокую психологическую стойкость: экипаж снят, вода хлещет с шумом в отсек и прибывает (при этом вода в Арктике имеет температуру -1 градус), крен увеличивается,

в памяти «висит люлька на корме», до которой надо будет успеть добежать... цена при этом — жизнь...»

«...Учитывая изложенное,— заканчивает свой рапорт капитан порта,— ходатайствую о представлении капитана ледокола «Капитан Мецайк» В. П. Кулаги к государственной награде — ордену Мужества. Если статус этого ордена — боевой, то — к ордену Почёта. Весь состав аварийной партии ледокола «Капитан Мецайк» ходатайствую представить к государственным наградам», — таким предложением заканчивает свой рапорт капитан Дудинского морского порта.

После этого памятного для енисейских речников времени прошло более двенадцати лет. До сих пор Владимир Петрович помнит тот рейс в Арктику. Иногда всплывает обида на несправедливость. Была объявлена благодарность президента России В. В. Путина капитану ледокола «Авраамий Завенягин» В. П. Мартынову, капитану порта А. Н. Быковскому и тринадцати членам экипажа ледокола «Авраамий Завенягин».

Не виноваты же капитан В. П. Кулага и его экипаж, что ледокол «Капитан Мецайк» более двадцати лет не поднимали в док для специальной ошкрябки от ракушек и ржавчины и покрытия специальными для работы во льду красками, до предельной загрузки топливом и пресной водой, что не способствовало работе во льдах.

Не так уж много таких героических поступков в 150-летней истории судоходства на Енисее (юбилей будет отмечаться в этом году). 140 лет прошло со времени героического плавания вольного шкипера Д. И. Шванненберга на шхуне «Заря» от Енисейска до Санкт-Петербурга; отмечали дату — 70 лет героической гибели ледокольного парохода «Сибиряков». По значимости событий спасение экипажем ледокола «Капитан Мецайк» приравнивается к первым двум. У всех этих поступков была альтернатива: капитан Д. И. Шванненберг мог с экипажем и грузом перейти в Енисейском заливе по приглашению капитана Дальмана на пароход «Фразер»; у парохода «Сибиряков» (капитан А. С. Качарава) тоже была альтернатива гибели — сдаться в плен; у экипажа ледокола «Капитан Мецайк» тоже был выбор — выполнить решение совещания капитанов ледоколов «Арктика», «Таймыр» и ледокольных капитанов Штаба ледовых проводок по СМП и оставить ледокол «Капитан Мецайк», перейдя на атомный ледокол «Таймыр». Наверняка после этого поступка капитана В. П. Кулагу и его экипаж представили бы к награждению.

Однако во всех трёх случаях победили патриотизм, целеустремлённость, воля к победе. И это всё — в назидание потомкам.

В 2005 году по решению Министерства транспорта России ледокол «Капитан Мецайк» поступил в порт Астрахань в распоряжение государственного учреждения «Морские порты России», обеспечивает зимнюю навигацию в устье Волги и Каспийском море.

Марина Саввиных

Стереометрия литературной жизни

Красноярск. Начало века

Масштаб настоящего

Слово «амбиция» долгое время имело в русской лексике негативный оттенок. Сегодня же, когда констатация расслабленности и отсутствия внятных жизненных ориентиров стала общим местом рассуждений не только о молодёжи, но и о людях среднего возраста, амбициозность чаще всего воспринимается как положительная характеристика. Мне вот нравятся амбициозные люди! Желание добиться наилучшего результата в любом начинании, готовность конструировать самые фантастические проекты с твёрдым намерением довести их «до ума» — разве это не лучшие черты современного человека? Черты, о которых можно только мечтать?

Молодая команда нынешнего красноярского Дома искусств — вот так, по-хорошему, амбициозна. А его директор, Т. Н. Шнар, — подаёт в этом пример подчинённым. Мы, писатели, привыкшие к несколько иным методам культурно-просветительской работы, поначалу скептически восприняли первые шаги нового коллектива. Дескать, видели мы всяких начальников и всякий фиктивно-демонстративный продукт. Посмотрим, надолго ли вас хватит. Однако молодые менеджеры министерства культуры показали за несколько лет, что готовы не только возрождать и поддерживать достижения прошлого, но полны свежих идей и с редким бесстрашием берутся их осуществлять.

В середине апреля 2013-го Красноярск принял широкомасштабный литературный фестиваль под названием «КУБ». Расшифровывается аббревиатура — «Книга. Ум. Будущее». Название сначала показалось мне не очень удачным. Но потом я вдруг сообразила, что оно довольно точно обозначает стереометрию литературной жизни.

Всюду эта трёхмерная развёртка. Писатель. Издатель. Читатель. Значит, помощь творческому человеку в создании произведения. Превращение текста в книгу — в союзе с художником, дизайнером, редактором, полиграфистами. Доведение книги до читателя, то есть организация предъявления читателю творческого продукта. Отсюда — конкурс. Выявление лучшего. Поддержка писательского самочувствия, разметка планки качества.



Новый конкурс родился три года назад, в 2010-м. Он был связан с важной юбилейной датой — столетием со дня рождения И. Д. Рождественского. Целый ряд обстоятельств, которых я не хочу и не могу здесь касаться, привели к тому, что именно эта дата и это имя определили цель и смысл конкурса. Я и дочь И. Д. Рождественского, известный тележурналист и деятель культуры Лидия Игнатьевна Рождественская, приложили немало усилий, чтобы он состоялся. Денег у нас не было, собирали у благодетелей по крупицам, поэтому самые первые премии были совсем скромными. Но разве в деньгах дело? Была бы честь! В адрес жюри первого конкурса на соискание премии И. Д. Рождественского поступило около трёхсот рукописей — со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. А выиграли всё-таки сибиряки. Первым — Александр «ербаков, замечательный поэт, прозаик и публицист.

Весь следующий год мы с Лидией Игнатьевной обивали пороги всевозможных инстанций: было ясно, что, во-первых, бросать начинание ни в коем случае нельзя, а во-вторых, без поддержки края нам не справиться. И тут оказалось, что наилучший генератор оптимальных решений и одновременно поле плодотворного их применения — Дом искусств.

В 2012 году конкурс на соискание премии Игнатия Рождественского прошёл под эгидой Дома искусств. В жюри были приглашены известные московские литераторы. А самой церемонии вручения премии сопутствовал семинар для участников конкурса. Этот новый шаг выявлял другую «развёртку куба» — в систему координат литературного образования.

Организаторами были предприняты специальные усилия для того, чтобы обеспечить объективность работы жюри. Все работы были строго зашифрованы, так что члены жюри до самого конца не знали, чьё имя скрывается за безличным числом. Общий балл участника складывался из оценок, выставленных каждым судьёй.

Результаты превзошли ожидания! Несмотря на лютый мороз — дело было в декабре, — залы, в которых проходили встречи, были полны. А критически настроенные московские гости — Максим Лаврентьев и Сергей Арутюнов — во время своих семинаров прониклись к красноярским самодеятельным авторам таким теплейшим чувством, что выразили желание и намерение приезжать ещё и ещё. Красноярский конкурс разомкнулся на столицу, получил одобрительную центральную прессу и твёрдую уверенность организаторов в правильности избранного направления.

Гран-при второго литературного конкурса на соискание премии им. И. Д. Рождественского получил красноярский журналист, поэт и бард *италий вчаренко*. Стихотворение, которое принесло ему победу:

Севе

От дождливой прохлады Юга,
Сквозь тайгу, подступившую к берегу,
Я иду к полярному кругу,
Открывая свою Америку.

И уже на подходе к Северу
Ночь сменяется вечным вечером.
Над волнами угрюмо-серыми
Чайки кланчат жрать беззастенчиво.

А когда полночное солнце
Не найдёт для ночлега места,
Торопитесь: вот-вот начнётся
Наша северная сиеста.

Плюс за тридцать, лишь ветер — как веер:
Загореть-искупаться успели?
Жаль, что Юг приходит на Север
Раз в году — и на две недели.

Север мне «до свидания» скажет —
Что ж, пора обратно в верховья.
Лишь агат с туруханского пляжа —
Как кусочек волны в изголовье...

Вторую премию разделили между собой *Сергей Ставер* из города Назарово и *Николай Конусов* из посёлка Бирилюссы. Оба — заслуженные литераторы, хорошо известные в Красноярском крае.

Сергей Ставер

* * *

Улетают года снегирями из белого леса,
Жизнь бежит, как ручей по песочку, по камушкам вниз...
Вот и ель под окном распушилась и стала невестой,
И кокошник её упирается в синий карниз...

А по шиферной крыше стучит непогода ветвями,
Поливая дождём, посыпая снежком вечный путь...
Открывайте калитку, любимые, я — перед вами!
Я вернулся на миг, на какую-то пару минут.

Не унять мне в душе ни волнения, ни грусти, ни дрожи.
Как мне мил ручейка угасающий в юности звук!
Ничего на земле нет родимого дома дороже,
Где я плакал навзрыд, вырываясь из маминых рук...

алла а о ста ом ев ее

На прореженный пепел обвисших кудрей
Пала изморось прожитых лет...
Не богаче — мудрее стал старый еврей:
Слава Яхве! Хватает на хлеб.

На чернила дают не друзья, так враги,
Что у каждого есть, как талант!
Лапсердак подлатает поэт... сапоги
Запестреют от новых заплат.

На вино наскребёт и жену угостит —
Благо русская баба добра!..
Выпьет полный стакан и читает ей стих
От вечерней зари до утра.

И она не устанет: стихи — как вино,
Даже лучше любого вина!
Жаль, еврей этот умер, и плачет в окно
О душе некрещёной луна.

* * *

Рыбарям сопутствует удача:
Ветер стих, «на речке тишь да гладь».
Кулики лишь, вскрикивая, плачут,
Не хотят гнездовья оставлять.

Скоро осень... за седой осокой
Спит камыш — коричневая зыбь...
Тополя с берёзками у окон
Смотрят сверху на уснувших рыб.

На яру, укутанное дрёмой,
Спит село... не слышно голосов...
В серебристом мареве над домом
Показалось солнца колесо...

Делу — труд, ирония — приметам...
Светел август — осень далека...
Я пришёл к тебе, река, с рассветом —
Рыболова принимай, река.

Всплеск — волне, а сердцу — песня всплеска.
Здравствуй, мир желаний и утрат...
Вновь клюёт! Трепещет детства леска,
Поплавки с волною говорят.

Сны

Мне дом родной порою снится —
С коньком на крыше, смоляной.
Мой дом родной — родные лица,
Где стены дышат стариной.

Где печь в полкухни, а под печкой
Спит белый кот с пятном на лбу.
Где у иконы мать со свечкой
За чью-то молится судьбу.

Поёт труба, открыта вьюшка,
Кипит смола, трещат дрова...
И ветер, словно побирушка,
Стучит в окно, шипя слова.

Где вьют стрижи гнездо под стрехой
И пёс Разбой ворчит во сне...
Мой дом родной — души утеха —
Опять является ко мне.

И сон, и явь слезой прольются
И мне в подарок принесут
Клубники старенькое блюдце
И пахты глиняный сосуд.

И молоко в стеклянной крынке,
И след телеги у крыльца...
И вновь, как в детстве, в белой дымке
Увижу брата и отца.

Николай Конусов

ок

Эхом тайному свиданью
Вторят озеро и гарь —
Будит хутор «трелью» раннею
Чёрный кемчугский глухарь!
Он взахлёб поёт-старается
О любви — на всю тайгу! —
Для тетёрочки-красавицы
В сосняке в Сухом Логу!
С тишиною «песня» борется —
На току всё ярче «хор»!
...Век и нам бы петь — не ссориться
Среди сосен и озёр!

о на

Вновь я здесь, места родные! —
На излучине реки
Ходят кони вороные,
Косят сено мужики.
Вот родник —
Лицо умою
И попью водицы той,
Что всегда была
Родною,
Что всегда была
Святой.
Где теперь
Тропинка детства —
И куда она ведёт?..
Дом родной —
Не наглядеться!..
На крылечке
Мама
Ждёт.

ев ал

Как тихо утром в дачном доме:
В тиши округа сладко спит,
И пудель белый на соломе
Слегка боками шевелит.
Отновогодили: все ёлки
Лежат на свалке без нужды,
И медленно плывут иголки
На почерневшие пруды.
И блёстки, и конфет обёртки,
И апельсинов кожуру —
Всё ветерок уносит вёрткий
В ночную синь и кутерьму.
И нет уже зимы в помине —
Февраль ни капельки не злой,
И угли красные в камине
Покрылись белой пеленой.

Самый юный лауреат конкурса — ученица второго класса из посёлка Орджоникидзе Мотыгинского района *Соня а рачева*. Вот какие у неё стихи:

* * *

Огромные камни, как белые тюлени,
Греют бока, высунувшись из реки,
К ним прибиваются листья рыжие осенние
И усталые прозрачные крошки-мотыльки.
Мотыльки не могут далеко улететь.
Засыпают, готовясь к зиме.

* * *

Приходит осень к нам на Ангару,
Раскрашивая золотом листву
Берёз, осин, черёмуху в саду.
И много в осени других оттенков-пятен,
И не забыть такую красоту...
Я в солнечном лесу
Хожу, люблюсь.

Весной этого же года красноярский Дом искусств совместно с педагогическим университетом им. В.П. Астафьева и краевой университетской научной библиотекой провёл первую литературную конференцию «Сибирь: проблемы и перспективы развития региональной литературной среды». И это была ещё одна «развёртка куба» — в пространство литературных исследований. Так были найдены основные параметры крупномасштабного события, в котором сомкнулись все найденные факторы творческого взаимодействия сил, причастных к существованию и развитию художественной словесности в таком обширном регионе, как Красноярский край. И хотя, разумеется, первые пробы такого порядка не могли обойтись без недостатков и оплошностей, в целом у красноярцев появилось ясное ощущение перспективы.

оек я б щего

Это, конечно, «КУБ». Поскольку событие ещё совсем свежо, предоставляю слово его участникам.

Татьяна Шнар

Красноярск

Большинство жителей столицы нашей необъятной Родины считают Красноярск провинциальным городком, где до сих пор по улицам «прогуливаются медведи». На это можно обижаться, можно не обращать внимания, можно злиться и ругаться, но ничего лучше не доказывает

состоятельность столицы Красноярского края, как реализация социокультурных проектов, вливающих в тенденции развития тех или иных общероссийских и мировых процессов.

Возрождение некогда крупнейших и зарождение абсолютно новых, никому не известных литературных фестивалей сегодня можно созерцать на литературной карте России. Праздник для писателей «Омская зима», некогда приостановленный, но не забытый в литературных кругах, в этом году был возобновлён в Омске. В Красноярске же обрёл свой исток Межрегиональный литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее» («КУБ»).

Литературный фестиваль был инициирован краевым Домом искусств, став реальностью при поддержке министерства культуры Красноярского края. Ядром стал краевой литературный конкурс на соискание премии имени Игнатия Дмитриевича Рождественского. В конкурсе участвовали двести пятьдесят три заявки в номинациях «Поэзия», «Проза», «Я себя не мыслю без Сибири». Говорить о том, много это или мало, не стоит. Организаторы ставят перед собой задачи не количественные, а качественные. Ведь не измеряется вес и значимость поэта в литературе количеством его стихотворений!

Уже дважды конкурс сопровождается литературными семинарами от ведущих литературных деятелей страны. Неизменным другом и партнёром Дома искусств в организации семинаров выступает Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. В уютных читальных залах библиотеки провели семинары в этом году Нина Ягодинцева, поэтесса, член Союза писателей России, кандидат культурологии, лауреат различных литературных премий, и Андрей Лазарчук, чьё творчество известно широкому кругу читателей как в России, так и за рубежом. Радостно, что семинары востребованы не только у пишущих красноярцев, но также и у жителей Красноярского края. Слушателями стали писатели-любители из Козульки, Кодинска, Дивногорска, Балахты, Манского и Канского районов. И вот какие впечатления остались у участников семинаров.

«Я впервые на таком познавательном семинаре. Очень благодарна Нине Александровне Ягодинцевой. Большое спасибо Вам» (М. Волокитина, г. Канск).

«Моя сердечная благодарность организаторам фестиваля и мэтрам художественного слова, подарившим нам это весеннее литературное событие. Занятия проходили в тёплой и эмоционально приподнятой атмосфере и, без сомнения, принесли нам большую пользу. Интерактивные формы работы вовлекали всех — и взрослых, и детей — в живой процесс постижения слова» (Е. Жарикова, г. Красноярск).

Мощным потоком пронёсся литературный конкурс на соискание премии имени И. Д. Рождественского по всей территории края. Как могучий Енисей питается восхитительными реками, в него впадающими, так и литературный фестиваль «КУБ» впитал весь опыт

и знания гостей из Москвы, Омска, Новосибирска, Иркутска, Хакасии, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Друзьями фестиваля стали Андрей Коровин, Александр Лейфер, Владимир Яранцев, Анатолий Байбородин, Владимир Скиф, Александр Котожеков, Светлана Михеева, Артём Морс, Надежда Ярыгина. Красноярцы могли познакомиться с гостями и их творчеством в Доме искусств, где проходили творческие вечера каждый день фестиваля.

Участники фестиваля смогли познакомиться с книжными иллюстрациями, созданными красноярской студией ксилографии Германа Паштова по мотивам произведений Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, В. П. Астафьева, А. П. Чехова, И. А. Бунина, У. Шекспира и других писателей. Дом кино представил программу документальных фильмов по сюжетам литературных произведений и об их авторах.

Фестиваль сопровождался рядом событий, вызвавших неоднозначное к ним отношение красноярской общественности, среди них — «поэтический троллейбус» и слэм. Самое важное, что «КУБ» в целом вызвал интерес! О нём писали, говорили, снимали сюжеты, обсуждали, а это значит, что уже очень скоро «КУБик» превратится в настоящий «КУБ»!

Михаил Стрельцов

Красноярск

Безусловный успех фестиваля в том, что произошла реанимация традиций семинарского обсуждения, творческих встреч с иногородними писателями, а этого не только не хватало, но отсутствие подобного было прямой дорогой к деформации и спаду художественного уровня подрастающего в крае литературного поколения. Проводимый в рамках фестиваля конкурс им. И. Рождественского, разумеется, придаёт мероприятию интригующую изюминку. Что же касается некой «камерности», локальной направленности события, так ведь организаторы пока и не ставили перед собой задач по вовлечению в «КУБ» молодых авторов из России или хотя бы Сибири. Пока не ставили. Им было необходимо создать идеальное, эталонное мероприятие, с которым можно было бы сравнивать все последующие, а намерения регулярности фестиваля заявлены чётко. И с этой точки зрения, безусловно, премьера удалась.

Надежда Ярыгина

Иркутск

Если уж так повелось — Ангара устремилась к Енисею (а не Енисей к Ангаре), то, возможно, иркутским литераторам тоже вполне прилично стремиться к красноярским. А повод тому появился — вновь созданный литературный фестиваль «КУБ». Красноярск взял да и разродился эдаким «КУБиком». Понравилось. Будем ждать «КУБ-2». По моим впечатлениям, в фестивале есть необходимость: пообщавшись

с красноярскими коллегами, а особенно с молодыми стихотворцами (слэм), увидев, в каком пожаре страстей, в какой *красной ярости* творческого запала кипит молодое поколение поэтов, я ощутила восторг, смятение, даже некоторую остоленность. В этом всплеске энтузиазма чувствуется будущее, а оно обещает счастливые встречи, содружество и перемены к лучшему. Конечно, нашему фестивалю поэзии на Байкале (который, кстати, уже в подростковом двенадцатилетнем возрасте) от появления младшего брата в городе Красноярске только лучше. Выражаю сердечную благодарность устроителям литературного фестиваля «КУБ», особенно директору КГБУК «Дом искусств» Шнар Татьяне Николаевне и Ивану Клиновому, за честное служение искусству, за гостеприимство, за готовность к сотрудничеству.

Нина Ягодинцева

Челябинск

Фестиваль получился многоплановым, полифоничным, ярким. Обратила на себя внимание чёткая организация семинаров и вообще всех мероприятий фестиваля «КУБ», на которых мне удалось побывать. За это большое спасибо творческой группе фестиваля. Внимание было уделено и содержательной стороне, и оформлению — вплоть до праздничных приятных мелочей: подарочные пакеты, блокноты, ручки... Всё это в какой-то мере создавало приподнятое настроение наших семинаров. Рада была знакомству с красноярскими и иркутскими поэтами, всю обратную дорогу читала их книги и обязательно познакомлю с ними коллег в Челябинске.

От поэтических семинаров осталось хорошее, светлое впечатление. Открытые, заинтересованные собеседники, стремление узнать как можно больше и в практике, и в теории стихосложения — в результате уже к третьему дню работы мы были сложившимся творческим коллективом, готовым к серьёзным обсуждениям.

Судя по активности участников поэтического семинара, эта форма работы с авторами очень востребована, есть смысл разворачивать её шире.

И на перспективу хочется высказать несколько пожеланий, потому что я уверена: фестиваль будет расти, развиваться, раскрывать новые творческие возможности, открывать таланты.

Первое пожелание: работу поэтических семинаров в целом можно более чётко структурировать. Поскольку литературно-педагогические задачи в разных возрастных группах существенно различаются, для большей результативности есть смысл какое-то отдельное время посвящать занятиям с детьми (и детскими литературными студиями) — здесь хорошо работают развивающие поэтические технологии. В работе с молодёжью на первый план выходит глубокое обсуждение текстов, поэтому молодёжный семинар тоже желательно провести отдельно.

И наконец, самодеятельные авторы больше нуждаются в общении, в более мягком обсуждении, для них актуальна работа с традиционной формой. То есть каждый из дней работы поэтического семинара может быть посвящён отдельной возрастной группе — а остальные могут участвовать по желанию, быть просто слушателями. Таким образом, все три дня работы дадут объёмный эффект: развивающие методики, начальную работу с формой, углублённый разбор текстов. И самим авторам будет легче сориентироваться в своих ожиданиях.

Второе пожелание: такие мероприятия, как творческие встречи, требуют сегодня специальной организации аудитории — старшеклассников, студентов, участников литературных объединений. Хотелось бы, чтобы на встречах с писателями было больше зрителей, собеседников, по возможности молодёжи, и совсем не обязательно литературной. Для этого можно какую-то часть встреч перенести в вузы и школы, если такая возможность есть.

И третье, уже совсем личное: немножко не хватило времени и повода рассказать красноярцам о южноуральских литературных событиях, представить книги, которые я привезла.

Я благодарна организаторам фестиваля за приглашение — это было моим первым знакомством с городом, его культурой, литературой, хотя через журнал «День и ночь» мы поддерживаем творческие связи уже больше десяти лет. Желая фестивалю — быть, процветать, развиваться, объединять литературные силы Сибири, Урала и всей страны.

Александр Лейфер

Омск

Что ни город — то норов. Так, кажется, говорят. Норов Красноярска мне удалось в чём-то почувствовать только с нынешнего, четвёртого, раза — когда неделю был в нём в качестве гостя Первого межрегионального литературного фестиваля «КУБ». Может быть, во время трёх предыдущих приездов (в 1998, 2000 и 2003 годах) слишком много было у меня суеты и работы. Может, просто на этот раз побольше удалось поездить и походить по горбатым городским улицам. А может, то немаловажное обстоятельство, что не так давно Красноярск догнал Омск — тоже стал миллионником, само по себе явилось своеобразным катализатором: сами красноярцы стали попристальней смотреть на свой город, побольше говорить о нём с приезжими людьми.

... Когда я узнал, что здесь задумали фестиваль «КУБ» («Книга. Ум. Будущее»), то несколько не удивился этому, а наоборот — воспринял как нечто совершенно естественное. Ведь для меня, литератора, Красноярск ассоциируется главным образом с литературой. Прежде всего — с Виктором Астафьевым (на Вторые и Третьи Астафьевские чтения я и приезжал сюда — в 1998 и 2000 годах, когда ещё жив был сам Виктор Петрович). Здесь большую часть своей жизни прожил мой многолетний старший товарищ — Роман Солнцев, сам талантливый

человек, а кроме того — и неутомимый организатор литературных сил. Здесь вот уже двадцатый год выходит одно из лучших периодических изданий современной России — основанный Р. Солнцевым журнал «День и ночь», членом редколлегии которого я имею честь быть. Где, как не здесь, проводить такой замечательный праздник, как фестиваль «КУБ», поддерживающий переживающие не лучшие времена книгу и отечественную литературу, ратующий не за поверхностный «компьютеризированный» подход к окружающему, а за вдумчивое, аналитическое к нему отношение?

А то, что фестиваль получился действительно замечательным, я говорил и говорю совсем не для того, чтобы сделать приятное его организаторам.

Много свежего, незаёмного и, как правило, именно «красноярского», колоритного довелось прочитать мне как члену жюри (по прозе) краевого литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского — одной из главных составляющих фестиваля. Имена участников конкурса были зашифрованы, и только в заключительный день фестиваля, на торжественном вручении призов, я узнал, что среди его победителей (лауреатов и дипломантов) оказались не только профессионалы (например, мои давние знакомые прозаик Михаил Стрельцов и поэт Иван Клиновой), но и, например, мало кому известная Елена Савичева из Минусинска — между прочим, мать восьмерых (!) детей (её рассказ-победитель «Синица» хочу предложить в ближайший выпуск нашего альманаха «Складчина»).

Во всех залах, где проходили различные мероприятия «КУБа», было немало молодых лиц — это с одной стороны. А с другой — подлинной глубиной и нестандартностью отличался разговор за «круглым столом» «Русская литература: сепаратизм или соборность?», прошедшим в педагогическом университете имени В. П. Астафьева. Это относится как к докладам, сделанным иркутянином Анатолием Байбородиним и абаканцем Александром Котожековым, так и к последующему разговору, который газета «Красноярский рабочий» охарактеризовала потом как «бурный и содержательный диалог писателей и литературоведов».

А с творческими вечерами (например, поэта Андрея Коровина из Москвы, критика Владимира Яранцева из Новосибирска), где о сегодняшнем литературном процессе говорили со всей серьёзностью и озабоченностью, соседствовали такие, например, озорные вещи, как поездка на «поэтическом троллейбусе», арт-моб «Книжный куб» возле памятника художнику Андрею Поздееву или поэтический слэм в Доме кино.

Разумеется, в первую очередь для литературной молодёжи работал в краевой универсальной библиотеке и литературный семинар, занятия (мастер-классы) которого вели поэт Нина Ягодинцева из Челябинска и прозаик Андрей Лазарчук из Санкт-Петербурга.

Смею высказать предположение, что отсутствие даже намёка на какую-либо «ходульность», «натужность» или неестественность во всём, что я видел на фестивале «КУБ», есть результат общей атмосферы, которая отличается здесь благожелательностью и заинтересованностью по отношению к тому, чем занимаются красноярские поэты и прозаики. Есть где приклонить голову обоим писательским организациям: в центре города расположен работающий под эгидой краевого министерства культуры Дом искусств (он, кстати сказать, и явился главным организатором литфестиваля). Ежегодным стало проведение большой книжной ярмарки (попробуй-ка купи книгу местного автора в нашем Омске). Создан Совет литобъединений, помогающий работать с литературной молодёжью.

Конечно, «норов» Красноярска — не только в его литературной составляющей (это просто ближе всего автору данных заметок). Вот несколько наблюдений на другие темы.

Город, естественно, побогаче нашего степного Омска. «Закупаю соболя», «Продам или сдам в аренду железнодорожный тупик» — таких предложений не встретишь в рекламных строках, бегущих по экранам омских телевизоров. Здесь, видимо, побольше автомашин, поэтому посерьёзней и оборотная сторона этого — пробки. А может, данному неприятному моменту способствует и холмистость местности, на которой расположен город. Но, несомненно, холмистость способствует и живописности Красноярска. Много здесь и эксклюзивных, удачно вписанных в природные возвышения зданий.

Вообще — эксклюзивного в облике города немало. Много фонтанов; особенно впечатляют фонтан «Реки Сибири», а также мощные фонтаны, бьющие в центре города прямо из Енисея.

Много памятников. Памятник основателю города — Андрею Дубенскому. Командору Резанову (недалеко установлена урна с горстью земли с могилы его возлюбленной — Кончиты, доставленная сюда из далёкой Калифорнии). Трогательный памятник детям войны. Триумфальная арка, сооружённая в честь 375-летия города. Памятник архиепископу и одновременно знаменитому хирургу Луке. Художнику В. Сурикову.

Особая «фишка» — живые «памятники»-кустарники в виде слонов, медведей, бегемотов и прочих крупных животных, которые установлены в скверах и особенно хороши летом, когда дают лист. Возле гостиницы, где я жил, расположен большой и красивый сквер, который разбит недавно Сбербанком в честь своего юбилея. Рождение миллионного красноярца дало новый стимул развитию зелёного строительства — появился лозунг «Миллионному городу — миллион деревьев!». Весьма полезно было бы изучить весь этот «зелёный» опыт нам, жителям бывшего города-сада, где к теме зелёного строительства в последние годы обращаются главным образом во время скандала, связанного с уничтожением очередной городской рощи.

...Если вернуться к памятникам, то меня, естественно, больше всего тронул памятник Царь-рыбе, установленный на смотровой площадке, устроенной на пути к астафьевской Овсянке (автор Евгений Пашенко, 2004)... Стоящий над мощными, живописными и неприступными енисейскими берегами, он, как мне представляется, символизирует не только астафьевское Слово. Прорвавший сеть и вырвавшийся на свободу огромный непобедимый осётр олицетворяет всю нашу Сибирь, всю Россию. Ведь нельзя жить без надежды.

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Я участвовал во многих мероприятиях, подобных недавно проведённому «КУБу», и даже сам организовывал несколько из них. Поэтому мне хотелось бы отметить не столько программу (на мой взгляд, что-то можно будет добавить, что-то безболезненно убрать), сколько идеальную организацию — а вернее, умение сделать так, чтобы неизбежные накладки оставались незаметными для гостей и участников; это высший пилотаж. Спасибо — и восхищён!

На вопрос, зачем всё это, можно дать простой ответ: просвещение никогда никому не вредило, а сползание в невежество вредило всегда, и сейчас, в весьма трудные для культуры времена, любое действие в её поддержку полезно и необходимо — пусть эффект будет и не мгновенный. Но нам ничего не остаётся, как возделывать этот сад — хотя бы потому, что не нами он посажен и возделан и не нами будет заброшен.

Сергей Арутюнов

Москва

Мама л бов о на л то то ещ

В качестве дневника

Отрыв Москвы от когда-то прирезанных к себе казачьими пушками и саблями краёв и областей сегодня так непроходимо велик, что имена сибирских поэтов кажутся большинству столичных критиков своеобразной шуткой в духе «альтернативной истории». Ни в чём эти блаженные так свято не убеждены, как в том, что знают всю русскую поэзию поштучно. Ну как же, у них ведь такая обширная переписка... Но и подслеповатая кабинетная юродивость при предъявлении аргументов мгновенно становится агрессивной: как смеют какие-то иные инициалы звучать там, где единственно законны только московские, американские и жмеринские?

Однако факт остаётся фактом: как бы кому-то ни казалось, что «в Москву стекается лучшее», это, по сути, очень провинциальное, наивное представление о сути дела. В Москву прорывается вовсе не самое талантливое, а всего-навсего умеющее выгодно себя подать.

Справедливо сегодня примерно следующее:

1. В каждом крупном российском городе есть горстка людей, которых читать можно, потому что они каким-то шестым чувством понимают, как сегодня нужно писать.
2. В каждом крупном российском городе катастрофически множится количество людей, которых читать нельзя именно потому, что они не имеют ни малейшего представления о современной русской поэзии.

Что же должно лежать в основе такого представления?

Прежде всего — нехитрая мысль о том, что двадцатый век закончился, а вместе с ним — символизм, акмеизм, футуризм, соцреализм, концептуализм и прочие дерзости. Остался один язык, изуродованный войнами, революциями и реформами, растерянный, не знающий, куда идти дальше и идти ли вообще.

Не худо бы также понимать, что русская поэзия сегодня уходит в отрыв не от родного языка, а от недавнего холопского состояния, в котором она, как могла, обслуживала этот язык и не произносила ничего, кроме благодарностей за то, что бедняжку не замочили ещё в утробе.

Русская поэзия сегодня усложнена ровно настолько, что может ощущать себя самостоятельным космосом ещё и в силу окрепших за пару веков ассоциативных связей, выходящих далеко за рамки балалаечного центона. Русская поэзия осознаёт, что без идеальной формы она ничто, и русская рифма на Пушкине, мягко говоря, не закончилась, а развивается и приходит к созвучиям удивительным, ранее никем с нашей скудной земли не подобранным.

Наконец, русская поэзия воинствует сегодня, как Джон Рэмбо во Вьетнаме, в одиночку. Правительство от неё отреклось, а народу такая, как есть, она не нужна.

Развал русской литературы начался более двадцати лет назад, и положение будет лишь усугубляться. Знание обо всех этих пунктах в лучших сегодняшних русских стихах так и рвётся наружу.

Положение с поэзией в Москве ужасает именно в том плане, что командные посты в литературе не просто московской (были бы равноправным регионом в ряду других — и Бог бы с нами), а федеральной занимают люди, не понимающие и трети из того, что обозначено выше.

Вся их деятельность состоит в том, чтобы перекладывать знакомых авторов из номера в номер, словно карты гигантского пасьянса, который раскладывается то ли от скуки, то ли в силу инерционно получаемых номинально ничтожных зарплат. В результате в журналах федерального значения мы видим бесконечно скучную дрянь, не отдавая себе отчёта в элементарном: эти люди просто печатают своих бесчисленных родственников, приятелей, однокашников и соседей.

Механизм набора в федеральную поэзию удручающе географичен: кому ближе завернуть в редакцию, тот и поэт. Очаровать потемневшую от мелкого политиканства душу столичного редактора дистанционно

дано лишь ничтожному количеству ловкачей, умело приспособляющихся под нужды «текущего момента». Набор «проходных» данных для восхождения на поэтический пьедестал — тоже не тайна за семью печатями: либо эмигрант, либо носитель какой-нибудь каиновой печати, лучше всего — инвалид и педерастический активист в одном лице. Из таких деятелей и набирается журнальная «обойма».

А как в Красноярске? Полагаю, означенная модель транслируется повсюду, однако убеждён, что везде, в том числе и в моём родном городе, отыскивается место для авторов выше среднего.

Как же обстоят дела с поэзией в Сибири? Очевидно, так же, как везде: она есть, но её приходится искать в грудях рукописей, не имеющих к поэзии никакого отношения.

В качестве члена жюри красноярского краевого литературного конкурса на соискание премии им. Игнатия Рождественского я рассмотрел сто семьдесят пять поэтических подборок и по итогам могу назвать всего несколько имён, которые следует считать поэтическими, что называется, во веки вечные. По сумме заслуг перед будущим.

Это примерно одна тридцать пятая часть представленного на конкурс материала, и это очень хороший результат. В Москве было бы то же самое, и только потому, что поэзия не делится на московскую и сибирскую. Она либо русская, либо никакая.

Основная масса поданных на конкурс рукописей посвящена трём темам: родине малой (городу, посёлку), Родине большой (России) и так называемой личной жизни, то есть представляет собой любовно-бытовую лирику весьма невысокого разбора, годную для напевания вполголоса у таёжного костра, но совершенно не смотрящуюся в печати. Красной нитью, что называется, проходит тема любви к матери: матерям пишут оды, матерями восхищаются, матерям жалуются.

Таким образом, за коллективную и довольно бессознательную душу бывшего советского народа можно совершенно не волноваться: она осталась практически девственной, трогательно инфантильной, преданной трём координатным универсалиям — маме, Родине и любви. Анализировать полноту раскрытия этих тем в данных опусах совершенно невозможно: не взвешиваются на весах литературоведения эти благие порывы. Дай им Бог, как говорится: уровень версификации в них держится стабильно около нуля.

И лишь то, что выдаётся за грань данного монолита, худо-бедно поддаётся анализу.

Ольга Гуляева

Чистый экзистенциализм. Интерес к Великой Отечественной — скорее демифологизирующий, умело сбалансированный современными, но традиционными по смысловой оснастке балладами о «маленьких» людях.

Лирическая героиня, языкая, бледная от бешенства и безысходности, по сути, травит байки, рассказываемые старухами друг другу на скамейках, в магазинах, беседах и поликлиниках, но при этом абсолютно понятно, что героиня-то как раз ни разу не старуха. Может, живёт на первом этаже и всё слышит... Так мог бы писать земский врач или учительница, погружённая в низовое болото русской жизни по самую макушку.

Радует здесь, прежде всего, сам язык — динамичный, сильный, едва сдерживающийся, чтобы не пуститься во все тяжкие. Вслушайтесь:

Санитарка Галя плакала в курилке,
Плакала в курилке: скоро Новый год.
Галя — санитарка и ещё кормилка:
Супчик наливает, моет и скребёт.

Санитарке Гале трудно в этом мире,
Но она работает, но она живёт:
Выдали зарплату — тысячи четыре,
Детям на подарки, — здравствуй, Новый год.

Галя просто дура. Галя виновата,
Что необразованна: кто тут виноват?
Галя и не просит, чтоб её зарплата
Составляла где-то тысяч шестьдесят.

Санитарка Галя плакала-рыдала,
Плакала-рыдала: скоро Новый год.
Санитарка Галя, это же немало:
Посмотри, у доктора — десять восемьсот.

Это «десять восемьсот» дорогого стоит: указывается не какой-то там «российский ценовой масштаб второго десятилетия двадцать первого века», а цена самой жизни, стремительно падающая до нуля.

Вдруг надрывно, будто в ослепительных бликах советской лирической мелодрамы, вспыхивает в нудной российской серяentine Советское Детство, в котором не было бы ничего такого ностальгического, если бы не дедушки и бабушки, пережившие Ад:

Мы прошли по Гастелло, потом по Ромашкина шли.
Я спросила у деда: куда растут тополя?
И спросила ещё: что, я тоже расту из земли?
Дед ответил, что много чего нарожала земля.

Дед ответил, что есть ещё небо, он раньше летал,
Что корову по небу в другую деревню возил,
Чтоб отстала уже я за-ради святого Христа:
Чтоб по небу летать, нужен чистый, особый бензин.

Низкий поклон вам, Ольга. Ваш бензин и чистый, и особый.

Дарья Третьякова

Ведущий методист городского Дворца культуры, 1991 года рождения. Стало быть, новое поколение, а почерк — зернистый, крупный, ахматовский:

Который день ни слова, ни руки.
Одни стихи, восставшие из пены.
В камине снова тлеют мотыльки,
И музыка врывается сквозь стены.

Какая дверь, какой бокал вина
Спасёт от снов, навязчивых и гулких?
Молчишь? Молчи. Я буду у окна
Сидеть и ждать, гадая на окурках.

Запоминается это гадание — жестяная банка, выставленная на холодную лестницу для всех, кто до семи-восьми вечера заперт в конторе и каждую минуту ждёт электронной весточки, прорывающей заслоны файерволов: выберемся ли вечером в кафешку неподалёку, ощутим ли хоть на секунду тоненький поток тепла, устремлённый по касательной к самому сердцу?

Или такая вот пауза, бюллетень:

Я болею. И ты болей.
Ешь таблетки и ставь уколы.
Череда бесполезных дней
Нам обоим сдавила горло,

Что до встречи совсем чуть-чуть...
А пока по земле таскаюсь,
Слабо воздух вбираю в грудь
И беспомощно улыбаюсь.

Как явно, выпукло просматривается победа над бесполезностью дней — беспомощная улыбка.

И под завязку — аккордом:

Хуже уже не будет. И слава Богу.
Стали бессмертны те, за кого пила.
Мне же остались чёртовы зеркала
И изнутри сжигающая тревога.
Я никому, поверь, не желала зла,
Но заставляет падать моя дорога.
Всё бы послать бы в... да во рту смола,
И от врачей давно никакого толку.
Ты бы приехал, я умираю долго,
Дольше, чем я жила.

Иван Клиновой

Лично мне без толку говорить об Иване, которого знаю слишком давно. Клинового надо просто читать. С начала, с конца ли — всё равно: под личиной цинизма, давно переросшего свою подростковость и анфантерриблевость, постоянно, кровью на бинтах, проступает обнажённая и не смирившаяся с окружающей гнусностью взыскующая душа.

Клиновой — это практически всегда прекрасно оснащённая рифма, философски вмняемое сопряжение самых отдалённых смыслов — и неистоцимо-смешливая молодость. Клиновой — это тот, кто свеж даже в затяжной меланхолии.

Мно ественные смы ковые анен я

Вместо танков и военных действий
В детстве я когда-то рисовал
Мальчика со скрипочкой еврейской
(что еврейской — лишь потом узнал).

А сейчас меня любая скрипка
Надвое, как фокусник — пилой,
Может распилить, и кровью липкой
Изойдёт лирический герой.

Мне ведь и оправдываться нечем:
Слово-то никак не приструнить.
Всех кладущих скрипочки на плечи
Я могу заочно обвинить

В нанесенье множественных тяжких —
На войне недолго до беды,
Ведь струна убийственной растяжки,
А смычок живительней воды.

Михаил Стрельцов

На минуточку — председатель Красноярского регионального представительства Союза российских писателей, главный библиотекарь научной библиотеки СибГТУ. Казалось бы, человек, сидящий в центре краевой книжной паутины, просто обязан быть жутчайшим занудой, начётчиком и сухарём. Но не в Красноярске, мои милые, только не здесь.

И мастерская составная рифма, и резкий, предметный стиль изложения — всё вопиет о поэте класса Баратынского и никак не ниже.

ас л л аев

Стихи пишет каждый, кому не лень:
о любви к родине, о несчастной любви,
о предательстве и о счастье.

И для детей пишут чуть ли не каждый день,
и верлибров, как клопов, развели.
А ещё проще: у других украсть и

выдать за свои эту дребедень
о Боге, о неверности, суициде,
что без Бога — сплошная измена.

И читать это изо дня в день —
всё равно что портвейном цедили
в чашу с цикутой из вен. А

никто не задумался, что гений и ген
единокровно однокоренны;
а после портвейна — Бог на измене,
предатель сдаётся в плен,
дети — и те оверлибрены,
а счастье с несчастьем — вдвоём на арене.

Чужие стихи углубляют крен
между реальностью и безумием,
если б не одна запятая:
дело в том, что и в меня переброшен ген
выплёскивать тексты Везувием,
я ими уже зарастаю.

Ведь я тоже люблю родину и верлибр,
детей люблю, мечтаю о сцене;
как и всех, меня предавали бабы,
и для них, и для Бога я выбирал калибр
посуды, куда, наконец, сцедят
портвейна в качестве моей награды.

Заканчивая свой довольно хаотический — галопом по Азиям — обзор, хотелось бы восславить Сергея Аринчина. Что привлекает в нём? Тугая, как яблоко, сила если не слога, то духа, стоящего за ним. Поистине, из всего прочитанного мной стихи Аринчина обладают самой чёткой артикуляцией:

етство

И вот гасили на ночь дома свет.
И кот, свернувшись, прятал нос (к метели!).
И по сугробам голубые тени
Гнала луна летящим тучам вслед.

Тепло, дремотно бормотала печка —
Домашний бог, уютный и большой.
И дом затихший мне казался вечным,
Как звёздный странник в стороне земной.

Нас время уносило вместе с ним
Сквозь снег и лес навстречу снам моим.

А утром было холодно вставать
И весело...
И разве мог я знать,
Что я уеду, старый дом снесут,
Что жизнь не ждёт
И что её не ждут?

Здесь, в этой интонации, можно отдалённо узнать и Ходасевича, и Фроста, и всех тех, кто обладал и обладает удивительным свойством рассказа сколь нервного, столь и успокаивающего. Лучшие, повторюсь, стихи обладают этими двумя свойствами органически. Утешать, волнуня... наверно, это и есть сверхзадача для рифмованного и ритмического слова, с которой Аринчин справляется блестяще.

Его речь лишь видимо проста, негромка, зато всеведуща, поскольку душа, кажется, обрела равновесное состояние и может позволить себе невиданное — властвовать над словом и изливаться в любви к сущему без боязни быть смешной.

Огромное наслаждение видеть работу этого огромного, хорошо смазанного механизма, напоминающего отдалённо паучий привод речного парохода:

Как же ты, пресветлая Мария,
Забрела неведомо куда,
Где в распадках кедры вековые,
Где на реках взгорбилась вода?

...

Неужели над водой и твердью
Он тебя провёл, как поводырь?
К твоему взывает милосердью
Богом позабытая Сибирь.
Похотью реакторов и топок,
Жлобством пристяжных временщиков
Сыты мы по горло, в горле копать,
Так спаси, Мария, дураков.
Может быть, тебе виднее свыше
И Тюмень, и устье Колымы,
Весь тот край, откуда мы все вышли?
Так скажи: зачем на свете мы?

Практически прасоловский вопрос. Помните? «Так что понять я должен на земле?» — вечный, саднящий. Истинный.

И уже совсем напоследок: спасибо на самом из добрых слов — всем.
И за участие, и за Победу.

Андрей Коровин

Москва

асноя ск в е

Первое, что мне показалось, — что название «КУБ» для литературного фестиваля — неудачное, а расшифровка «Книга. Ум. Будущее» — вообще провальная. Московскому слуху хотелось чего-то вроде «Енисейского эха» или «Зова тайги». Но, как я понимаю, зовы тайги и енисейские эха у сибиряков давно уже поперёк горла, как у москвичей Кремль или памятник Ко... точнее, Петру Первому. Ну что ж, «КУБ» так «КУБ»! Расшифровку, правда, очень хотелось перерасшифровать. И это блистательно сделал поэт Сергей Кузнечихин: «Красноярск Убивает Безграмотность». С такой расшифровкой хочется жить дальше!

Вообще, даже странно, что такой громадный край, раскинувшийся от Ледовитого океана почти до китайской границы, до сих пор не имел своего литературного фестиваля. Книжная ярмарка — пожалуйста. А вот фестиваля — не было. Ярмарка — для читателей. А фестиваль — и для писателей, и для людей. Писателям необходимо встречаться со своими коллегами из столиц и других регионов России, это непременно условие творческого развития, обмена опытом, идеями, возникновения новых книг и проектов. Начинающим литераторам важно показывать свои произведения редакторам не только местных, но и столичных журналов, слышать квалифицированное мнение известных писателей — здесь есть отработанная форма мастер-классов. Читателям интересно услышать столичных знаменитостей, причём не только тех, что привозят на КРЯКК, о чём мне неоднократно говорили в Красноярске. Опять же — какие столичные поэты и писатели в последние годы писали о Красноярском крае, о Сибири, если не считать переехавшего из Москвы в тайгу Михаила Тарковского? А раньше это была добрая писательская традиция, поддерживаемая местными властями.

Сегодня не только вся Россия, но и весь мир бурлит литературными фестивалями. Начавшаяся лет десять назад активная фестивальная жизнь затягивает в свою воронку всё больше городов. Красноярск одним из последних подхватил фестивальную эстафету.

Первый красноярский фестиваль получился скромным. И по количеству приглашённых (на иные фестивали приглашают до ста с лишним официальных гостей), и по статусу — пока только «межрегиональный» (я был единственным гостем из Москвы, питерский же варяг Андрей Лазарчук — сам коренной красноярец, остальные гости — соседи), и по охвату территории края (в программе — три города: Ачинск, Канск, Сосновоборск).

С учётом территориального размаха края несибирских писателей можно и нужно было провезти по всем заметным городам и незаметным стойбищам — от Минусинска до Дудинки и Ледовитого океана,

дать писателям вдохнуть полной грудью воздух Сибири и Енисея, посмотреть на тайгу во всей её красе. Чтобы не европейские красоты манили нынешних литераторов, чтобы не о них писали они свои стихи и романы, а о настоящей силе и мощи русской Сибири, которую большинство современных жителей России (я уж не говорю о писателях) не представляют себе вовсе. Опять же — чем дальше от цивилизации, тем востребованнее литературное слово, в чём я не раз убеждался.

Конечно, задача это не только региональная, красноярская, но и государственная — обратить взор творцов современного искусства на собственную страну, на её красоту и богатства. Но ведь и Красноярск — особая территория России, которая может о себе и о своём писательском имидже позаботиться самостоятельно. Потенциал для этого у края — огромный и возможности — достойные. Чего стоит один только молодой и талантливый коллектив краевого Дома искусств под руководством неутомимой Татьяны Шнар! А сколько идей и проектов было придумано совместно с ней во время фестиваля!

Современная публика отвыкла от литературных вечеров. Это очевидно. Но появляются новые формы бытования литературы: видеопоззия, поэтические спектакли, поэзоконцерты. Их тоже нужно включать в программу фестиваля. Вечера нужно делать интерактивными. Один из таких приёмов — пресловутый поэтический слэм, но это самый дешёвый приём. Есть другие. И можно изобретать новые.

Ведь Красноярск Убивает Безграмотность, не так ли? Значит, Сибирь — это Красноярск в «КУБе»! Удачи тебе, Красноярск!

* * *

Сергею Кузнецихину

сосновые рыбы в янтарной реке
звенит колокольчик по правой щеке
назойливый гнус отгоняет
а больше он слов и не знает

стоят эти звери в тяжёлой воде
ухмылка в усах и крючки в бороде
один Енисей только знает
какие таймени бывают

стоят эти твари на страже реки
глаза их как воды её глубоки
случайно увидишь такого
и нервное выскочит слово

покуда течёт енисейская речь
ты будешь тайменя в запруде стеречь
держи одичавшую леску
держи до последнего плеска

о а побе теле л те ат ного конк са
м о ественного се он го а

Елена Савичева

С н а

Долго пожил дед Трофим на белом свете, многое повидал. И войну прошёл, и целину поднимал, троих детей вырастил, внуков и правнуков имеет. Характер у него суровый, в боях закалённый: как скажет, так и будет — никто не переубедит.

Всю дорогу верным спутником его была жена Полина, особенно последние годы. Сядут на диванчике поближе, сцепят морщинистые руки, и вроде как силушки прибавляется у них — из рук в руки перетекает. Да вот случилась беда: захворала Полинушка и померла. И не стало былой силушки у деда Трофима. И руки не держат, и ноги не ходят, и сам занемог. Вроде как засобирился вслед за Полинушкой. Как ни крути, а девятый десяток разменял уже давно.

Много раз уговаривали дочь с зятем к ним перебраться — наотрез отказывался:

— Я на земле родился — на земле и помирать буду! Не хочу я на ваших этажах задыхаться, мне моя избушка роднее, я её своими руками строил. Каждый гвоздочек по имени знаю. Куды ж мы друг без друга?

С дедом не поспоришь! Вот и бегала к нему внучка Верочка каждый день. Дом приберёт, обед приготовит, в магазин ходит, поболтают посидят.

Любила Верочка слушать про юность дедову фронтовую. А он для пущей важности китель с орденами да медалями наденет, тряхнёт за лацканы так, чтоб звон переливчатый пошёл, оглядит себя в зеркале, усы рукой поправит и, гордый, разговор начинает. Говорит медленно, с паузами, то ли вспоминает что-то, то ли Вере осмыслить сказанное время даёт.

Домишко у деда Трофима небольшой — две комнатки и кухонька. Сразу у крыльца под навесом стоит лавочка. Вот на ней-то и просиживает всё свободное время дед Трофим, молодость вспоминая, косточки на солнышке согревая.

Однажды осенним деньком прилетела синичка. Бойкая, озорная. Села на плечо деду Трофиму, в глаза заглядывает, угощение выпрашивает. «Чиу-чью, чив-чую!» — шепчет на ушко.

— Эка невидаль! Гляди-тко, не боится ничего! — ворчит дед, а у самого на душе теплее стало. — Ну погоди, сейчас посмотрю — может, крошки какие есть.

Поднялся дед — и с ходу в дом, даже покряхтеть забыл для порядку. Насобирил целую горсть круп разных, крошек хлебных — и быстрей на лавочку, синичку угощать.

А та прямо на ладонь садится, выбирает что повкусней и улетает с добычей на забор; полакомится властью — и снова на ладонь за новым кусочком садится. Дед усы топорщит, улыбаётся, покряхтывает. Уж так ему на душе радостно от смелости пташки-невелички. Другие-то издали поглядывают, ближе подлетят, подберут то, что дед Трофим на землю бросит, и с опаской да оглядкой прочь летят; а эта наелась досыта, взгромоздилась на плече, прижалась к пушистому воротнику, нахохлилась и давай чирикать — сказки деду рассказывать: «Чиу-чью, чив-чую! Чиу-чью, чив-чую!»

Больше всего полюбились ей семечки, но их было мало, несколько штук всего, невесть где завалывшихся. Дед Трофим, не уходивший много лет от дома дальше завалинки, отправился в ближайший магазин за семечками...

Верочка приходила всегда в одно и то же время. Не застав скучающего деда на лавочке, поспешила в дом: не захворал ли? Но и там его не нашла. С испугу позвонила матери, у соседей спрашивала, не приезжала ли скорая. Никто ничего не видел. Взволнованная, побежала назад и у калитки столкнулась с дедом — сияющим, жизнерадостным. — Вот! До ларёчка ходил. Семачек купил! Гляди-тка что покажу! — и руку вперёд тянет.

Синичка спорхнула с забора — и на ладонь, семечко схватила — и снова на забор. Там у неё место облюбовано: доска треснула, так в этой трещинке семечко как раз в аккурат помещается — расщёлкивать удобно. Склевала одно и тут же за вторым прилетела, да с жадности ещё одно прихватила. Дед Трофим смеётся, покряхтывает, усы поглаживает, а глаза так и светятся жизнью!

— Баламут ты, дед! — улыбнулась Верочка и пошла матери звонить, успокаивать, новостью радовать.

С той поры изменился дед, повеселел, помолодел, каждое утро с улыбкой встречает. А синичка ему вместо будильника: сядет на окошко в спальне, постучит три раза и зовёт деда на улицу: «Чиу-чью, чив-чую! Вставай лежебока, кушать хочу, чив-чую!»

Дед и рад. Соскочит с постели, одежонку накинёт, ноги в валенки, по пути семечек в карман сыпанёт — и на улицу! Какое-никакое, а заделье, да и душу греет маленький комоч перьев не хуже ясна солнышка. И все заботы только о ней. И все мысли тоже. И внучку уже загонял.

— Верок, ты семачек-то купила? Аль забыла?

— Купила! — кричит громче, чтоб услышал, а себе под нос шепчет: — Забудешь тут с тобой! Все мозги своей синичкой проклевал.

— Несолёные?

— Несолёные.

— Точно? Аль спросить забыла?

— Да спрашивала, спрашивала! Несолёные! Не переживай! Сам попробуй.

— Чем? Зубов-то только манную кашу жевать осталось,— смеётся дед.

— Ох, дед! Не соскучишься с тобой!

А он и не собирался скучать! Давненько себя таким счастливым не чувствовал.

Ни много, ни мало, а уже пятый год пошёл, как синичка каждую осень наведывалась к деду Трофиму. Ждал он её как родную. Вот только этой осенью не дождался...

Заслышав синичий гомон за окном, дед Трофим засобирается на лавочку. Сунул ноги в валенки, запахнул фуфайку, взял в руки миску с семечками и поспешил на улицу. Тянет руку вперёд, а никто к нему не летит. Защемило сердце у старика, недоброе почуяло.

— Ай-ай! Не беда ли с тобой приключилась? Пропала, однако, птаха моя...

Бросил воробьям наземь горсть семечек с досады и медленно поплёлся в дом. Ни завтра, ни через неделю не услышал он знакомый стук в окошко. Тоска тяжело придавила его к кровати. Он и не ел толком ничего, и с внучкой неохотно разговаривал, наотрез отказывался пить лекарства и всё смотрел в пустое окошко, тихо угасая. — Пора мне пришла с Полинушкой свидеться,— отметил себе последнюю черту дед Трофим.

И больше не вставал с постели.

Выпал первый снег. Воробьи и синички, прикормленные дедом, стайкой сновали между веток старой яблони, но угощенье им уже выносила внучка, да и то не всегда.

— Совсем дед плохой стал,— шептала Вера на ушко матери.

— Да уж! Годы берут своё.

Дети и внуки по очереди дежурили у постели старика, пытались предугадать всякое его желание, но он потерял интерес к жизни. Не обременял их своими прихотями, как это обычно бывает в подобных случаях. Просил тишины и побыть одному.

Иногда, заслышав зычный храп, его на пару часов покидали, разбегаясь по неотложным делам, даже не догадываясь, что дед притворяется, чтобы дать им отдохнуть. Сам же он спал мало, пару часов в сутки. Вот и сегодня притворился, отпустил Верочку. Оставшись один, уставился в стену, узор на ковре разглядывает, жизнь свою в памяти перелистывает, с Полинушкой мысленно разговаривает. И вдруг — стук знакомый в окошко!

«Чиу-чью, чив-чую! Привет! Вот и я! Ждал меня?»

Дед Трофим глазам не поверил! Соскочил с кровати молодцем, ни одна косточка не хрустнула, ладони к стеклу прижимает, слёзы от радости выступили.

— Ах ты, птаха моя! Где ж ты плутала всё это времечко? Заждался тебя уж.

Растёр кулаками слёзы по глазам, хлюпнул носом и стал быстро одеваться.

Вдохнув полной грудью морозного воздуха, дед присел на лавочку. Синичка тут же припорхнула ему на плечо, за усы пощипывает, в самое ухо шепчет: «Чиу-чью, чив-чую! Как я рада тебе! Соскучилась! Залетела покушать в коровник колхозный, да еле на свободу выбралась».

А дед Трофим снова слезу смахнул, только уже блестящую, от радости. Сунул руку в карман, семечек зажёб и вперёд протянул. А синичка семечко возьмёт — да не на забор летит, как обычно, а на плечо ему садится, там и обедает, словно расстаться с дедом боится. Насытилась, прижалась к пушистому воротнику свитера, наохлилась и чирикает — деду о своих приключениях рассказывает, а он слушает, улыбаясь, поддакивает, словно понимает всё, о чём она говорит.

Тихо скрипнула калитка, и вошла Верочка.

— Дед! Ты ли это? — глаза так и засияли от радости. — Поднялся! А мы-то думали...

— Чего думали? Хоронить собрались? Рано ещё помирать-то. Пусть Полинушка меня подождёт маненько, а я поживу пока что — и протянул вперёд руку.

Синичка тут же вспорхнула с плеча и села на ладонь...

«Чиу-чью, чив-чую!»

Анастасия Бондалет

6-й класс

Моя С б

Зарисовки

Утро. Пытаюсь быстро собраться в школу, на ходу ем бутерброд, краем глаза смотрю телевизор. Детский конкурс, из букв надо составить слово. Получается «деревня». Жду, кто дозвонится с правильным ответом. Ура! Девочка! Ей шесть лет. Ведущие поздравляют её и задают вопрос: «А ты была в деревне?» Заминка... «Нет!» Девочка была в Турции, отдыхала в Египте, а в деревне никогда не была. Мне стало очень грустно. Почему мы стремимся в дальние края и не видим того, что рядом?!

Вы когда-нибудь ходили в валенках по первому снегу? Пушистый белый снег искрится и хрустит под ногами. Небольшой морозец раскрашивает румянцем щёки. Запах свежести и ощущение чего-то нового. Так хочется идти, идти, не останавливаться...

В выходные всей семьёй идём на «Столбы». Это природный заповедник возле Красноярска. Мы не собираемся покорять скалы. Мы идём за свежим воздухом. Здороваемся с белками, их тут много. Разглядываем головоломки из заячьих следов. Кормим птиц. Очень люблю снегирей. Они такие нарядные! А чай из термоса?! Такого вкусного чая, как зимой на «Столбах», я не пила нигде. Воздух просто звенит. Кажется, весь город здесь. Люди идут и идут. Даже с малышами в колясках приходят погулять. Здесь нет машин с выхлопными

газами. Здесь все — пешеходы. Правила одни: не мусорить, не ломать, не рвать. Места хватит всем!

С нетерпением жду приход Нового года. Свечи, запах хвои и мандаринов, нарядно украшенная ёлка. И обязательно — подарки! У Деда Мороза почему-то папины глаза, а Снегурка никак не может пробиться к нам на праздник сквозь бураны, метели и снежные заносы.

Ждём Рождество! Самый красивый праздник. Мы поём короткие частушки — колядки, нас угощают конфетами. Все какие-то заводные, весёлые, и кажется, что все вокруг знакомы друг с другом. Открытки, подарки... Всё торжественно, празднично.

Наступило Крещение. Сегодня впервые купали моего брата. В Рождественский сочельник мы с папой встречали маму с Тёмкой из роддома. В голубом конверте с нарядным бантом отражалось небо. Интересно, ему понравится вода? Нет, наверное, олимпийским чемпионом он не будет...

Гадания! Что может быть более таинственным, необыкновенным?! Валенки оказываются пригодными не только для тепла. Это главный атрибут гадания. Главное — не попасть в человека. Ледяные горки и целые города изо льда. Детский смех. Да и взрослые веселятся как дети. В Рождество и Крещение морозы особенно сильные. Но никто не жалуется на холод.

К середине декабря зима начинает показывать норы. Морозы крепчают, снег становится твёрдым. И под ногами он уже не хрустит, а трещит. Из сугробов выглядывают кустики и молодые деревца. А на ветках больших деревьев белой ватой лежит снег. Птицам холодно. Люди кутаются в тёплую одежду и уже не гуляют, а быстро бегут по улицам. За морозами придут вьюги и сильные ветры, а потом солнышко отогреет замёрзшие окна.

8 Марта пахнет южной мимозой. Смешно наблюдать, как по улицам деловито спешат мужчины с охапками разноцветных тюльпанов, коробками конфет, с шариками-сердечками. Только раз в году можно такое увидеть. Ворчит Енисей. Даже река понимает, что такой красивый праздник должен быть круглый год.

Скоро сосульки с крыш звонкими каплями будут падать на землю. Ветры и солнце очистят землю от остатков снега. Земля начнёт оттаивать. Серая мокрая грязь будет липнуть к обуви. Но и в этом времени есть своя прелесть. Запахнет весной. А это совершенно особый запах. Вы ощущаете, как пахнет земля, которая только-только освободилась от снега? В марте зима ещё борется с весной, но зима слабее. Весна обязательно победит. А пока мы отмечаем замечательный весенний праздник — Масленицу. В каждом доме пекут блины. Толстые, тонкие, кислые, сладкие, смазанные маслом и обязательно круглые. Ведь это символ солнышка. Горят чучела. Ряженые ходят по дворам. И угощение, конечно, блины. Со сметаной, мёдом, вареньем! В Масленицу они очень вкусные и какие-то особенные, праздничные.

Ручьи, капли, неделя за неделей, появляются почки на деревьях. Скоро первые клейкие листочки засветятся изумрудными фонариками на ветках деревьев. В этом году Пасха поздняя. В мае уже начнут цвести сады. Какой красивый будет праздник! Мы запасаемся луковой шелухой, обязательно будем красить яйца. А в Вербное воскресенье веточки уже будут пушистыми. Пыльца жёлтым бисером будет падать на одежду, скатерть. В пасхальное воскресенье мы обязательно приедем с красенками в гости к бабушке.

Я очень люблю весенние праздники! Весной цветёт черёмуха, позже зацветёт сирень. От запахов кружится голова. У первой витаминной травы — черемши — запах не из приятных, но так хочется после долгой зимы съесть сибирский витамин, а не привозной и не тепличный! Скоро закончится учебный год, но уже учиться совсем не хочется. Солнце, тепло зовут на улицу, в помещении всё кажется каким-то пыльным и серым.

Скоро лето. Оно в Сибири короткое, но бывает таким жарким! Люди стараются использовать любую возможность, чтобы выбраться к водоёмам. Любимый отдых сибиряков — выезд на природу. Мы не исключение. Собираемся на рыбалку. Мы знаем одно небольшое озеро в окрестностях Красноярска. Там живут толстые ленивые караси. Важно, чтобы никто не мешал, тишина — главное условие хорошего клёва. Не важно, сколько рыбы мы поймает. Только тот, кто хоть раз сам стоял с удочкой на берегу реки или озера, может понять, что такое рыбалка!

Летние праздники — это Медовый и Яблочный Спас. Люди едят и освящают мёд и яблоки. Сибирский мёд — особенный. Чуть-чуть горчит, ведь пчёлы собирают пыльцу с таёжных трав. Вы не знаете, почему сибирские цветы такие яркие? Особенно жарки! Мне кажется, что они очень долго собирают свою цветочную силу, а уж когда расцветут, вся эта мощь выливается в краски. Ромашковые поляны — просто какое-то волшебство! Как можно не замечать такую красоту?! Сибирский загар тоже особенный. Он как горький шоколад, такого же цвета. Южный смывается быстро, а наш, сибирский, — стойкий, как и сами сибиряки, держится до самой зимы. Сибирские ягоды тоже особенные. Душистые, терпкие. Кто сказал, что в Сибири не растут фрукты? А наши ранетки? Да в килограмме ранеток витаминов больше, чем в тонне привозных яблок. Мы так долго ждём лета, а оно так быстро пролетает.

Когда наступает осень, мы собираемся за грибами. Как интересно собирать опята. Срезаешь аккуратно ножиком целую семейку, и вот уже ведёрко полное. А трава пахнет прелостью. Кое-где начинают появляться жёлтые листья, и трава не такая сочная, как летом. Огурубела, стала жёсткой, появились коричневые пятна. Осень! Дед заготавливает орехи. Кедровые орехи — самые вкусные в мире! Они запрятаны в шишку. Запах смолы, сладковатый вкус орехов! Это

самое настоящее лакомство. А уж о полезности орехов можно целый трактат написать. Это кладовая! В сентябре начинается бабье лето. В воздухе летают паутинки. Я не люблю пауков. Но мне нравится смотреть на паутину. Какой узор красивый! И как такие тонкие кружева получаются? А в дождливую погоду я люблю смотреть на зонтики. В хмурые дни яркие зонтики пятнами гуляют по улицам. В банках стоят заготовки на зиму. Огурцы, помидоры, укропчик, всё наше, сибирское, со своих грядок. В Покров бабушка солит капусту. Очень люблю кочерыжки. А зимой — хрустящую квашеную капусту, с клюквой и тмином.

Я не мыслю себя без Сибири! Я здесь родилась и живу. Это моя часть земного шара, мой мир, моя маленькая земля на огромной планете. И люди у нас в Сибири особенные. Во время войны сюда эвакуировали оборонные заводы. Кто приехал сюда — остались здесь навсегда. И уже которое поколение разных национальностей считает себя сибиряками. Я — сибирячка! Мои папа и мама — сибиряки! А ещё совсем недавно у меня родился брат — Артём Александрович. Ещё один сибиряк. Когда он подрастёт, мы вместе с ним будем в валенках ходить по первому снегу, вместе будем любоваться сибирской природой, и я научу брата беречь её.



Литературный фестиваль

Фото Александра
Пустоварова

15–21 апреля
2013 г.

«Книжный куб», собранный участниками фестиваля, символизирует начало нового литературного праздника.



Дарья Третьякова

Красноярск

Дипломант конкурса им. И. Д. Рождественского в номинации «Поэзия».



Анастасия Бондалет

Красноярск

Лауреат конкурса им. И. Д. Рождественского в номинации
«Я себя не мыслю без Сибири...» (возрастная категория — до 14 лет).



Директор Красноярского Дома искусств *Т. Н. Шнар*.
Основной груз хлопот по организации фестиваля лёг
на её хрупкие плечи.



Иван Клиновой

Красноярск

Лауреат конкурса им. И. Д. Рождественского в номинации «Поэзия».



Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Член жюри конкурса им. И. Д. Рождественского и руководитель семинара.

Минута отдыха...



Анатолий Байбородин

Иркутск

Прозаик, детский писатель, литератор.



Александр Котожеков

Абакан

Публицист и учёный, постоянный участник красноярских литературных встреч.



Писатели *Эдуард Русаков* (Красноярск) и *Александр Лейфер* (Омск) обсуждают результаты конкурса в номинации «Проза».



Светлана Михеева (Иркутск) — поэт, председатель иркутского отделения Союза российских писателей.



На церемонии вручения наград победителям конкурса им. И. Д. Рождественского. Красноярские писатели *Эдуард Русаков* и *Александр Астраханцев*.



Андрей Коровин

Москва

Поэт и организатор
литературного процесса.

На творческой встрече
с читателями.

Владимир Зыков

Спаси и сохрани

Быль, рассказанная полтавчанкой Тamarой Денисенко

Стал прошлым веком долгий век двадцатый.

Закрыта дверь.

За нею — тишина.

Спят вечным сном погибшие солдаты.

Но кажется, мы в чём-то виноваты.

И в наших снах не отболит война.

Год сорок первый.

Мы у деда с бабой.

Приехали на лето погостить.

Но — рухнул мир!

Весь мир — кипящий табор.

 евне гром войны и нас настиг.

 ноголосье таборного гвалта

 пались шум моторов, треск пальбы,

Вой голосов и гул далёких залпов,

Стенанья раненых и первые гробы.

Я из окна на люд-поток глядела:

Куда, зачем сей дикий ор грядёт?—

Как вдруг душа аж в пятки улетела:

Спикировал немецкий самолёт.

Кресты на крыльях.

Страх невероятный,

Как будто на меня летела смерть!

Я от окна попятилась обратно.

Бежать!

Спасти́сь от чудища успеть!

Семья большая в ветхой хате деда.

Я с папой-мамой и ещё родня.

Когда за стол садились все обедать,

Чугун с борщом едва-едва поднять.

И я с разбегу, иль, скорей, с размаху,

В него влетела — в кипяток крутой.

Лишь пискнула, как пойманная птаха.

А мама не успела крикнуть: «Стой!»

И свет померк.

Я ничего не помню,
Как выбралась и кинулась бежать,
Как будто лопнул солнца круг огромный
И солнца мне в руках не удержать.
Как будто навсегда завязла в пекле.
Позвать на помощь маму нету сил...
В деревне был на всех один аптекарь
И всю деревню, как умел, лечил.
Он к нам пришёл с пузатым саквояжем,
Зелёньким, как вешняя трава.
Но не было в том саквояже даже
Простых лекарств, чтоб я была жива.

Вы слышали, как громко плачут дети,
Сгорая в чёрном пламени войны?
Кто в смертный час за гибель их ответит,
Спасёт их — виноватых без вины?
В своём углу я тихо умираю.
Повсюду смерть.
Одна война кругом.
Вдруг шум затих, и тишина настала,
И с тишиной вошли фашисты в дом.
Ох, что же будет?
Ох, спаси нас, Боже!
Казалось, что ни немец — то палач.
И в дедов дом вселили немца тоже.
К нам на постой пришёл немецкий врач.
Аптекаря увидел:
«Кто тут болен?»
Встал с русским разговорником в руках.
«О, киндер, киндер!
Их золь инен хойлен.
Кляйн мэдхэн кранк».
И сделал первый шаг.

Он, помню, был седой.
Весь белый-белый.
Худой и остроносенький. В очках.
Он мог тогда бы ничего не делать.
Вся жизнь моя была в его руках.
Врач выписал какие-то рецепты
И запретил накладывать бинты.
И мазью маслянистой — жёлтой, светлой —
Лечил меня без лишней суеты.
А мама просто на него молилась:
«Сам Бог его послал!

Сам Бог помог!»
Я ожила. Мне любопытно было.
Вертела головой:
Где этот Бог?
Лампада негасимая дрожала.
Иконы вместе с ней в святом углу.
Я на соломе, на досках, лежала,
И Бог со мной был рядом наяву.

Война обратно покати́лась мимо,
И схлынула фашистская чума.
Своих встречала дедова хатына.
Я им навстречу поднялась сама.
Пусть будет на земле советской чисто!
Но мы в те дни учились понимать,
Что немцы всё же — не одни фашисты.
И Бога за врача молила мать:
Чтоб выжил он и чтоб дошёл до дома,
Увидел бы семью, жену, детей.
Когда б, как мы, все были бы знакомы,
На свете меньше было бы смертей!

В Берлине, в знаменитом Трептов-парке,
Я побывала через много лет.
Был месяц май — победный, яркий, жаркий.
Манил к себе знакомый силуэт.
Звал памятник советскому солдату
С немецкою девчонкой на руках.
Он спас её в дни майские когда-то.
Как рейх фашистский обратился в прах.
Стал с девочкой немецкою спасённой,
К нему прильнувшей, словно дочь к отцу,
Самой судьбой над миром вознесённый.
Всё по плечу такому молодцу!
Венок наш комсомольский к пьедесталу
От всех спасённых возложила я.
Казалось, вновь война меня достала
И под ногами плавилась земля!
Я ощутила вновь себя трёхлетней
В хатыне деда на краю села.
Шрам от ожогов был ещё заметен.
Его навечно память сберегла.
В моих глазах стоял немецкий доктор,
Переступивший дедовский порог.
Когда был мир из ненависти соткан,
Он возвратиться к жизни мне помог.

Спасители всех стран, времён, народов,
Вы вечно в детских уголках души.
Вы солнце, соль земли, посланцы Бога,
Им присланные подвиги вершить.
Да будет мир всегда на всей планете!
Хатынский колокол, не умолкай, звони!
Пусть войны не знают наши дети!
Спаси нас Бог!
Спаси и сохрани!

Виталий Пырх
«Пропавший» солдат

* * *

Сползаем к пропасти... Хоть злись или не злись.

И устоять получится едва ли.

Мне кажется, друзья, мы зажрались.

Мне кажется, давно не воевали.

Мне кажется, один у нас ответ,

Который можем предъявить Европе:

Такой у нас, _____, менталитет —

Соображаем только лишь в окопе.

о собны п омысел

Кто стулья ловко мастерил

И продавал за полцены,

А кто руками тапки шил —

На всё был спрос после войны!

Пропив копеечный «навар»

И вновь оставшись не у дел,

Калеки прятали товар,

Чтоб не увидел финотдел.

Пишу о том я, что болит...

Боялась, видимо, страна,

Что одноногий инвалид

Разбогатеет, сатана!

И чтоб безногий фронтовик,

Глотавший пыль чужих дорог,

Не жил у нас, как биржевик,

Был сверху выдуман налог.

Пройдёт эпоха... И нули

Купюры прежние сметут.

Но инвалидные рубли

Дороже мне любых валют.

ОПАВШ СОЛ АТ

*Алексе Ивановичу рху
ро ав е у без вести од
Сталин радо ...*

Мой дядя без вести пропал...
Не где-нибудь — под Сталинградом.
Он в плен, конечно, не попал...
Нет, он разорван был снарядом.

А может быть, он смертью пал
На марше или переправе?
А впрочем, как он погибал —
Судить об этом мы не вправе.

Ни похоронки, ни письма.
Ни рюмки поминальной водки...
А был он, кажется, весьма
Полезен для военной сводки.

Такая доля у солдата.
Вот и гадай теперь: кабы...
Как будто он ушёл когда-то
Не на войну, а по грибы!

Но только с самого начала —
Не вышло бы у нас чего —
Его семья не получала
От государства ни-че-го!

Жила, конечно, небогато,
Но побогаче, чем рабы...
Как будто он ушёл когда-то
Не на войну, а по грибы.

Он не предал, конечно, веры,
Но изменил семьи судьбу.
И проходили пионеры,
Минуя дядину избу.

А если вдуматься, ребята, —
Ну нет его! Хоть жди, не жди...
Восьмой десяток ждут солдата
С войны кремлёвские вожди.

Конечно, дядя мой не первый,
Кто нашей Родиной забыт...
Пора стране признать, наверно,
Что не пропал он, а убит!

Давно пора речам медовым
Дать наконец-то отворот...
И, поклонившись нашим вдовам,
Просить прощенья у сирот.

* * *

Они клеймят позором прошлый век,
Оставивший нам фабрики, заводы...
Что только, мол, и счастлив человек,
Глотнувший вдоволь западной «свободы».

И невдомёк при этом никому,
Что бесполезна без иголки нитка...
Что мы живём лишь только потому,
Что до сих пор работает Магнитка.

Конечно, уже с каждым годом круг
Из нефти, или газа, или леса...
Я и сейчас считаю всё вокруг,
Переводя на мощность Днепрогэса.

И я отвечу им, в конце концов,
Отбрасывая в сторону наветы:
Какой была великой жизнь отцов!
Какую мощь оставили Советы!

Ругать эпоху прошлую нельзя —
Сам будешь в том, чем ты эпоху мажешь...
А что от вас останется, друзья?
Об этом вслух прилюдно и не скажешь.

нвал ам ел ко те ественно

Они пришли с войны без рук и ног
И не ходили на парадах строем.
Тогда я им помочь ничем не мог.
Сейчас — могу. Да только нет героев.

евятое мая

Я старше Победы на год.
И, многое не понимая,
Я помню, как плакал народ
От счастья Девятого мая.

Ура! Мы уже не умрём!
Недаром всё было, недаром...
И радио в доме моём
Вещало лишь только металлом.

Мальчишки «играли» в войну.
Теперь она с нами навеки.
И выли, как псы на луну,
Не знавшие страха калеки.

Неслись поезда кто куда.
Такую прикончили битву...
И мать — комсомолка тогда —
Чуть слышно шептала молитву.

Анатолий Третьяков

Таёжная весна

О О К

. . Козулину

Одногодок... Когда-то в ходу был годок.
Я забыл это слово, а вспомнил в больнице.
Мой сосед — он пока ещё крепкий дедок.
И хоть я не хотел, но сравнил наши лица.

Он в бородке — я выбрит, но старцы ли мы?
Даже странно, что с ним мы по возрасту схожи.
Скоро семьдесят пять! Лишь дожить до зимы.
Что тут страшного? Что же меня так тревожит?

Я не думал о возрасте. Просто летели года.
Вдруг обрушилась старость, застала в кровати.
Мы теперь — старики. И уже навсегда!
Хоть сосед мой в семье называется батей.

Он моложе от этого будет навряд.
Всё равно я не верю, что вот она — старость!
Что анализы наши врачам говорят?
Сколько лет ещё топтать обоим досталось?

Каждый будет идти по пути своему.
Но признаемся, батя, как это ни горько!
Всё равно в результате придём к одному:
Укатали уж точно крутые нас горки!

бещан е

Сибирское весны непостоянство:
То солнышко, то завернёт метель...
Скворец такое одолел пространство!
И вот сама из горла льётся трель!
Вернулся в свой скворечник. И ещё бы
Не петь! Он здесь хозяин, а не гость.
И выгнал воробья заморский щёголь...
Воробышка охватывает злость!
Всю зиму — это верные полгода —
Он жил здесь, привыкая к высоте,
Весной от мужиков своей породы
Отстаивая домик на шесте.
И вот те на! Скворец явился.
Барин.
В лучах сияет сизое перо.
Весь чёрный. Загорел на юге.
Жарит
Там солнце и зимой — куда с добром!
Здоровый, чёрт! Втроём не одолеешь.
Придётся строить новое гнездо.
Ведь тут зимой едва себя согреешь
Дыханием...
У, певчий, чтоб ты сдох!
Торжественное дал я обещанье,
Что, хоть с шеста скворечник не сниму,—
Отгрохаю прекрасный воробьятник
И выше, чем скворечник, подниму!

* * *

Здесь столько болезного люда,
В ком теплится чудом душа!
В каких-то ста метрах отсюда
Подошвы и шины шуршат.
Убрать бы кирпичные стены,
И вот — лазарет полевой!
Наверно, здесь лечат отменно —
Не зря я пока что живой!
Но всё ж, подводящий итоги,
Такой же, как все, муравей,
Как будто у кромки дороги,
Лежу я на койке своей.

О к а я ш т к а

На семи стоял ветрах,
Выстоял! А ныне
Поселился в сердце страх,
На душе — уныние.

Что тревожит? Что томит?
Нет просвета в жизни.
Где и как мне, чёрт возьми,
Послужить Отчизне?

Может, я не нужен ей —
Раз закваски старой...
И не надо мне рублей —
Послужу задаром!

Но и даром не берут,
Будто руки — крюки.
Стать бухгалтером могу,
Изучу компьютер.

Вот и к пристани пристал —
Только кверху килем.
Видно, слишком старым стал...
Где ты, сволочь, киллер?

в е н е

Не спеша, не по запарке —
Я сознательно вполне
Оказался в зоопарке.
Здесь гулять приятно мне.
Вот гляжу на братьев меньших —
Трусы здесь и храбрецы.
Ни мужчин средь них, ни женщин —
Только самки и самцы.
Всюду сталь! Решётки, двери,
А гулять — от сих до сих!
Нас разглядывают звери,
Мы рассматриваем их.
Шумно, словно на базаре...
Вдруг во мне угасла спесь:
Мы ведь тоже Божьи твари —
И для нас решётки есть!

а ная весна

И в Сибири зима,
 к счастью, тоже бывает не вечна.
Вот и май наступил.
 Разыгралась повсюду весна!
И в таёжных, насквозь
 промороженных стужею речках
Тяжело отрываются
 льдины от мёрзлого дна.
После хлынет вода,
 образуя резные заломы.
Берега расцветут — будут
 ярче персидских ковров.
И всех птиц голоса —
 те, что с раннего детства знакомы,
Но знакомей куда
 по ночам нудный писк комаров...
Словно крылышки птиц,
 затрепещут на дереве листья.
Даже в иглах сосны
 что-то ветер своё запоёт.
И, как белое чудо,
 в небе облако плавает низко.
И волшебно прекрасен
 лебедей и гусей перелёт.
Оживляется всё!
 Обновляются старые краски.
Ходит тощий медведь,
 прошлогоднюю ягоду ест...
Даже лайнеров гул
 слышат все без особой опаски —
До того он привычным
 стал для северных мест.
Вечный странник — геолог,
 и рыбак, и бывалый охотник,
И таксатор с бригадой бичей —
 устремилась в тайгу.
А весна и сама
 не бывает беспечной,
Ей работы хватает,
 наверно, на каждом шагу...
Ни минуты свободной весне-
 раскрасавице нету!

Столько снега и льда
 убирать нужно будет в пути.
До последней травинки
 надо всё приготовить ей к лету,
Потому что оно не замедлит
 в свой срок к нам прийти.

М ст ка

Над нами чёрный космос нависает,
Где звёзды — словно миллионы глаз.
От губельных комет нас Бог спасает,
Но сколько их, нацеленных на нас?!

Когда-нибудь вселенская таможня
Всевышним будет вдруг отменена.
Жизнь начиналась хаосом. Возможно,
Что хаосом закончится она.

О нас никто и никогда не вспомнит,
Когда-то и сама Земля умрёт...
Мы жили — этим совершая подвиг!
А для чего? Сам чёрт не разберёт!

Маятн к

Пока что я ещё не горблюсь,
Не поселилась в сердце злость,
Хоть за униженную гордость
Страдать мне столько довелось!

Но я не собираюсь плакать —
Мне даже и враги близки!
Они лишь, как в жару собаки,
Высовывают языки.

Не затянуть меня в напрасный,
Ненужный и никчёмный спор.
Лишь чувствам собственным подвластный,
Живу судьбе наперекор!

И я не буду огорчаться,
Когда судьба моя шалит.
Как маятнику, мне качаться,
Чтобы по кругу стрелки шли.

о м а ш н е в е

Коварны домашние звери,
В них не засыпает инстинкт!
Не очень-то надо им верить,
Хоть многое надо простить...

Что может быть кошечки мягче?
Нежней, чем у пса, языка?
Котёнку — резиновый мячик.
А тапки — они для щенка!

Милы эти звери... Однако
Нельзя в них тревожить бойцов...
Загрызла ребёнку собака,
И кошка вцепилась в лицо!

Пусть это случайные драмы —
Не так уж велик у них счёт...
А вдруг виноваты мы сами,
А звери совсем ни при чём?

Остался вопрос без ответа...
Мы все за животных горой!
Их не заводить бы — да где там!
Они даже лечат порой!

с т н а

Стократ был прав Сократ,
Что истина дороже,
Чем друг его Платон...
Всё это так. Но всё же
От друга почему
Вдруг отказался он?
Зачем же на весь свет
О том трезвонить нужно?
Понятно, что любой
Себя прославить рад...
А истина одна:
Не дорожил он дружбой —
И, как тут ни верти,
Коварен был Сократ!

Екатерина Сергеева

Лисёнок в сердце

Моя нота С б

Трудно. Раскинуты руки. Дышу полной грудью тобою.
 Воздух так резок и свеж, так искрится. И нет мне покоя.
 Эта тайга, эти горы, река. Но водой — не напиться.
 Время краснеет, белеет опять — и сжигает страницы.
 Я — в стороне. Я — потом. Но игла под лопаткой.
 Шёпот — как шелест знамён. Взгляды украдкой.
 И — через силу любить, и стыдись, и тоскуя.
 Больно. Уеду. Но — не забыть. Даже —
 Такую.

Крохотные лапки на ладони.
 Там — орешек. И — бежать, бежать.
 Хвостик — рыжей дымкой. Не догонят!
 Время снова повернулось вспять.
 Детство. Книг любимые страницы.
 Тихо шепчет сказки Енисей.
 Пусть всё это мне почаще снится,
 Ведь меняю цифры всё быстрее.
 Проще — радости. Пойдём покормим белок?
 Так, как в детстве. Помню до сих пор.
 Взрослый мир. Он груб, жесток и мелок.
 Но влюблён в Кончиту Командор.

* * *

Ты — ей... А я? Я — тоже ей.
 Отдам пустую эту осень.
 И дождь ночной.
 И ровно в восемь
 Быть на пороге ноября.
 Я всё отдам.
 Наверно, зря?

* * *

В свой вышитый рюкзачок ты кладёшь Тедди,
И сны,
И цветные карандаши, и ещё —
Весны
Прозрачные камешки-леденцы...
Я помню их вкус: берёзовый сок, мятный ветер...
Светел
Твой локон в моём медальоне.
На память.
Уходишь, уходишь, уходишь...
В зоне
Отсутствия связи теперь ты.
Ты — мой апрель, банты и дрожь у доски...
Ты — та, что ушла.

* * *

Малиновый праздник, забытые маски,
Венеция — помню — Италии сказки,
но так далеко, что почти нереально,
а маска Пьеро безнадежно печальна,
но сбросил — под нею лицо Арлекина...
...наивная дурочка ты, Коломбина...

* * *

И чем ты ближе, тем больней внутри,
И ветошью под пальцами — свобода,
И на душе сменилось время года,
И на меня ты больше не смотри...
Тебе, я знаю, имя — никогда.
Бегу, теряя силы, в никуда...

* * *

...А на картине — виноград.
Я — не хотела быть лисой.
Ты — вежлив. Но совсем не рад.
Глаза — смеялись надо мной.
Её глаза... В них — Рим и смерть,
В них — Крым и смех...
Мне —
Никогда такого не зажечь огня!
...Лисёнок в сердце у меня.

Эдуард Русаков

Без вести пропавший

Эпистолярный романс

В этот солнечный День Победы, 9 мая 1945 года, я потерялся в центральном парке, где мы гуляли с мамой вдвоём, без папы, который ещё не вернулся с фронта...

Мне было два с половиной года, я вышагивал в новеньком вельветовом костюмчике, а мама казалась особенно красивой и нарядной в сиреневом крепдешиновом платье, сладко пахнущая духами «Красная Москва». Она крепко держала меня за руку и отпустила лишь на несколько секунд, чтобы купить мне эскимо. Но когда оглянулась — меня уже не было рядом, ликующая толпа увлекла меня прочь, мимо фонтана, вдоль по запруженной людьми аллее, к раковине «зелёного театра», где восторженно гремел духовой оркестр. Я кричал: «Мама! Мама!» — и метался под ногами взрослых, и мой детский ужас был особенно невыносим на фоне всеобщего праздничного веселья...

Мама, конечно, меня нашла. Но тот майский день в моей памяти так и остался омрачённым страхом, и то острое ощущение сиротской потерянности сохранилось во мне на всю жизнь. Как потерялся — помню, а как нашёлся — нет...

Тем более что отец мой так и не вернулся, пропал без вести. И напоминают о нём лишь его письма с фронта — вот они, пожелтевшие, рассыпающиеся листочки, еле различимые буквы, написанные химическим карандашом. Эти письма я смог впервые прочесть только после смерти мамы, то есть совсем недавно.

«Здравствуй, моя «сердитка»!

Нахожусь в лесах седого Урала, около Златоуста... Пишу при лунном свете... Тебя по-прежнему крепко люблю. А вчера, моя родная, я видел тебя во сне, но ты была угрюма и быстро исчезла, обещала вернуться, и я, не дождавшись, проснулся.

Не забывай меня! Буду верен тебе до последнего вдоха.

Твой страшненький ...»

«...А как насчёт «лялички» — поняла намёк? Да? Если да, прошу искренне, не рискуй здоровьем, береги ребёнка и нашу любовь. Твой «страšnенький» останется верен до последнего вдоха...»

«...Как хорошо, моё солнышко, что теперь ты уже успокоилась, разумеется, не до полной безмятежности...»

...Пишу на колене, а сам сижу на «валдайском» камне, каких здесь на каждом шагу полно, хотя местность болотистая, с частыми оврагами. А комариков здесь, Ленуся, хоть отбавляй. Мешают, черти, писать, облепили всего. Для устрашения «долгоносиков» закурю-ка трофейную папиросу...

...Я уверен, что война не продлится долго, и мы скоро с тобой увидимся, моя дорогая «сердитка». Береги себя и ляльку !..»

«...Лена, положишься на мою честь и не вешай носа. Война есть война. Твой образ, чистый и любимый, меня воодушевляет. Лена, если я погибну от рук фрицев, прошу тебя: вырасти нашего «ляльку», которого я не видел, сильным и крепким духом. Воспитавай в нём ненависть к варварам человечества — проклятым фашистам.

Здесь кругом лес, болота и мелкие речушки. Утром поют соловьи, а вечером, когда затихнет артстрельба, кукует кукушка. Много змей. Впереди озеро Ильмень.

Через несколько минут уйду на передовую линию по заданию, писать кончаю. Любимая, до свиданья...»

«...Клянусь честью, уничтожим всех фашистов — и приеду к тебе и к нашему «ляльке». Любимая моя «сердитка», прошу тебя, не отчаивайся, не наводи страшную тень на нашу любовь. Она, конечно, не первая, как у тебя, так и у меня. Однако помни, что эта любовь — последняя и неповторимая для меня. Когда я читаю твои письма, я мысленно переношусь в Магнитку, воображаю отчётливо твой ясный образ, твои белоснежные зубки... Хочу, чтобы такие же зубки были у нашей дочери или сына. Конечно, я не против, чтобы он был похож на папу... Любить его будем вместе и горячо...»

«...Моя любимая, ты стыдишься своей мамы за свой поступок... напрасно. Скажи маме только правду: что, мол, всё произошло совершенно сознательно, как мы хотели вместе с тобой. Ведь это правда. Мама тебя любит и поймёт.

Писать прекращаю, уж очень сильно фриз начал бомбить, надо успеть запечатать письмо.

Ленуся, надейся, жди, приеду. Твой горячо тебя любящий страшенький ...»

«...Ну зачем ты так огорчаешься, дорогая? Неужели я для тебя ещё не прочтённая книга? К чему эти унижения и мольбы? Ах, как всё это не к лицу тебе, моя хорошая. Не считай мою любовь слабенькой былинкой, которая при малейшем ветре склоняет головку к земле. Я полюбил тебя достойно, честно и не с каким-либо расчётом и выгодой для себя. Сама знаешь, что в том, что случилось между нами, ничего нет необыкновенного... Ну как мне развеять эту атмосферу

недоверия ко мне? Одно могу сказать: успокойся. Всё в порядке. Береги себя и нежные чувства для нашей любви. Не думай больше так дурно, плохо обо мне. Мои слова — «до последнего вздоха» — считай клятвой.

Будем надеяться, Лена, что противная затея людоеда Гитлера закончится для него крахом и нашей победой. А как только завершится война, приеду непременно к вам, туда, где будешь ты и наша лялька ».

«... Ты просишь писать чаще. Это не всегда удаётся сделать, Лена. Вот это письмо я пишу в сравнительно спокойной обстановке. Устроился на обрывистом берегу речушки, под кудрявой берёзой, и изливаю свои мысли и чувства тебе, моя любимая «сердитка». За всё время здесь я впервые вижу такой красивый закат золотого солнца... По некоторым данным, оно, то есть солнце, заходит за городом Ленина, от которого мы стоим в нескольких десятках километров... к озеру Ильмень. Я тебе, Лена, уже писал, что здесь много соловьёв, но мне ни к чему их трели...»

Сам не знаю, зачем я стал читать отцовские письма вслух... Я читал их, читал, вглядываясь в мелкий, аккуратный его почерк, разворачивая конверты без марок, с печатью полевой почты и штампом: «Просмотрено военной цензурой».

Я читаю их вслух, и мой собственный голос вдруг начинает казаться мне голосом отца, доносящимся издали, из сорок второго года...

«Лена, этот цветок сирени — с куста, под которым я месяц тому назад чиркал тебе письмо. Прими как живой привет...»

— Вот он — цветок! — восклицаю я. — Как живой, ты видишь? Видишь?

Кого я спрашиваю? К кому обращаюсь? Ведь рядом со мной — никого, я один, абсолютно один... Как всегда — один.

«... Твоё желание, Лена, увидеться в ноябре пьянит моё воображение. Будем надеяться, что встретимся раньше...»

«... Сегодня я тебя, моя славная «сердитка», вспоминал не одну тысячу раз. Жизнь была на волоске... но, как видишь, уцелел и пишу тебе весточку, и пишу чем попало, подвернулся полевой карандаш — ну и давай чертить. Если встретимся после войны, расскажу подробно об этом дне, а ты постарайся запомнить число и месяц.

В данный час нахожусь вне опасности, землянка прочная — в четыре наката и слой «валдайских» камней — чёрта с два пробьёшь. Ты представить себе не можешь, какой был дождь... Сейчас я сошёл с коня и разделся донага — потому что промок до нитки, переоделся в чистое бельё, сижу вот у железной печки, а шмотки сохнут пока...

С восходом солнца поеду опять на передовую. Дождь перестаёт, и небо становится чисто голубым — ожидается хороший день».

«...Ленуся, мне очень жаль, что ты так нехорошо думаешь обо мне. Поверь мне, что мои чувства к тебе и нашей «ляле» здесь, на фронте, где рвутся снаряды и мины и несмолкающий гул канонады напрягает нервы, эти чувства становятся ещё определённое, и мне кажется совершенно ясно, что любить тебя я буду всегда, пока стучит в груди моё сердце.

Желаю тебе скорейшего и благополучного исхода твоих первых родов. Перестань говорить и думать «страшное», прочь гони вздорные мысли. Ведь мы достаточно знаем друг друга.

Я тут загорел как негр, немного даже пополнел, но не высыпаюсь. Думаю отоспаться после войны, ведь правда?

Мне лестно, Лена, что твоя мама меня считает чуть ли не родным, вернее будет — родным. Верно?»

«...Моя любимая Лена, напрасно ты огорчаешься и непростительно долго «бомбишь» меня сомнениями. Знай, что больше того, что я мог тебе сказать о своих чувствах и долге чести, — я не скажу».

«...Любимая! Твоё последнее письмо (ругательное) для меня явилось неожиданностью. Моё сознание отказывается переваривать подобные пилюли. Лена, хочешь верь, хочешь нет, а я всё-таки не признаю факта раздора между нами. Несмотря на твоё нежелание продолжать переписку, я буду писать, пока жив. Мне трудно вспомнить все детали злополучного письма, которое якобы бросило свет на мои тёмные стороны...

Лена, зачем ты так поспешно, не приводя фактов, избличающих мою «неискренность», обрушила на меня столь тяжёлый приговор? Может быть, есть другие причины? Скажи, если можно. Буду только больше любить тебя за правду.

Сегодня у нас идут жаркие бои. С раннего утра стоит в воздухе гул оружейной канонады. Наши славные артиллеристы дают жару фрицам. Вовсю работает «катюша».

Лена, запомни, что я никогда не думал над тобой смеяться. Любил, люблю и не думаю разлюбить».

«...Если родится сын, назовём его Володя, а если дочь — Ольга».

— Что ж ты, мама, и эту просьбу отца не пожелала выполнить?..

«...Ленусенька! Ты меня извини, но так ещё не было, чтобы целый месяц не иметь весточки от тебя. Разве что с тобой случилось? А может быть, почта шалит? Пусть уж лучше второе».

«...Елена! Спешу послать тебе для загса мою справку. Письмоносец уходит, мне отвечать на все твои вопросы прямо сейчас не представляется возможности. Напишу через пару дней».

И прямо на этом письме рукой мамы написано: «В эту ночь родился сын». Это я! Это я родился!

«...Лена! Так обидно сознавать, что ты почему-то решила упорно молчать. Что случилось, родная?! Неужели так трудно черкнуть пару строчек? Всё это так досадно, нелепо... Это кратенькое моё письмо уже четвёртое, как я не имею от тебя ответа. Что ж, я вынужден пока с этим смириться, но придётся, видимо, разобраться после войны. Желаю здоровья тебе и ребёнку».

«...Поздравляю, поздравляю, поздравляю тебя, моя «сердитка», с сыном и искренне, всем сердцем, желаю тебе и ему здоровья. Жаль, конечно, что только сейчас, спустя два с лишним месяца, я узнал об этом...»

— Нет, ты только подумай: она два с лишним месяца держала отца в неведении! Почему? За что? За какую провинность? Как могла моя мама, моя строгая, но справедливая мама, как могла она подвергать отца подобным пыткам?! И ведь он не на курорте же прохлаждался, а воевал на фронте...

«...Лена, моя совесть перед тобой чиста, мои чувства по отношению к тебе и сыну благородны. Однако никак не пойму, почему ты, Лена, для обращения со мной избрала такой тон...

Мне жаль тебя, что ты напрасно и без всяких на то оснований себя травмишь. Лена, утоли же в своём сердце безрассудную злобу по отношению ко мне, не будь жертвой вздорных сплетен... Мы с тобой об этом ещё, надеюсь, поговорим после войны. Теперь я прошу тебя об одном: береги себя и ребёнка. За твои резкие и обидные слова, звучащие оскорбительно, не осуждаю тебя, потому что ты на сегодня по праву требуешь положения победителя, а победителей, как известно, не судят.

Лена, немедленно опиши подробно сына, как он выглядит и на кого походит. Интересно, правда или нет, что «дитя любви» всегда походит на отца?..»

— Это правда, папа! Я похож на тебя, клянусь! Очень, очень похож... но только внешне, уж извини.

«...Вот уже скоро год, моя родная «сердитка», как я не чувствую твоего тёплого дыхания, не вижу твой ясный образ, любимый образ, который представляю только в воображении.

Лена, прошу, крепко и нежно поцелуй за меня сына. Жду фото».

— Папа так и не дождался от мамы моей фотокарточки. А ведь просил, умолял, два года напоминал...

«...Елена! И тебе не стыдно молчать? Как обидно, что ты не понимаешь, насколько велика пустота в моём сердце без твоих слов, хотя бы на бумаге. Даже если слова эти будут и ругательными, но искренне сказанными. Почему ты вообразила, что не обязана мне сообщать, как живёт и растёт мой сын? Жду срочного ответа. Извини за резкость».

«...Лена, сегодня, если мне не изменяет память, день рождения сына. Сегодня исполнился год мальчику, который не видел своего отца... Напиши о нём хоть пару строчек!»

«...Вот и на исходе первое января 1944 года. Так и не дождался я от тебя в этот день новогоднего письма. А как ждал, как я ждал эту весточку, с каким нетерпением — ты не можешь себе представить!»

«...Лена! Сынок! Два года разлуки и год неведения. Что ж, стало быть, так мне и надо. А как хочется, чтобы это было неправдой...»

И вот — последнее его письмо:

«...Сегодня ты была в моих мыслях целый день. Обстановка вынуждает немедленно уничтожить все документы и переписку. Ты, быть может, отчасти даже довольна этим. В общем, мне уже всё равно, как ты будешь реагировать.

Прощай, моя злопамятная и беспощадная «сердитка». Пока я писал, дождь кончился. Солнце с равнодушной щедростью шлёт своё сияние по обе стороны проволочных заграждений. Кругом безлюдье, тишина. И только иногда кричит кукушка, словно подсчитывает, сколько лет мне осталось жить на этом свете. Недолго она куковала...

Прошу тебя, поцелуй крепко-крепко сына, который никогда меня не видел, а может, и не увидит вовсе.

Пока всё. Пробиваемся на Ригу».

И больше от отца не было ни письма, никакой весточки. Он пропал без вести, исчез, растворился в пространстве и времени. Скорее всего, погиб. Он ведь был патриотом и правоверным коммунистом. А в сохранившихся старых письмах до сих пор таится неразгаданная мною тайна непростых отношений моих родителей. Что омрачило их любовь? Почему мама вдруг прервала переписку? И если отец был в чём-то пред ней виноват, почему она всю оставшуюся жизнь

хранила ему верность? И что случилось с отцом?.. Ни на один из этих вопросов я так и не нашёл ответа.

Долгие годы меня наполняло тщеславной гордостью сознание того, что моя мама всю жизнь отдала лишь мне, только мне одному, сохраняя при этом безупречную верность отцу, с которым была счастлива так недолго и которого сама же оттолкнула вдруг так жестоко... Но сейчас, как ни горько в этом признаться, я уже не очень уверен, правы ли она была, отказавшись ради меня от своего женского счастья...

...И всё чаще, всё чаще я чувствую себя тоже без вести пропавшим, как тогда, в победном мае сорок пятого года, когда мама меня потеряла в центральном парке. Как потеряла — помню, а как нашла — забыл...

Зинаида Кузнецова

День ангела

Юрке снится сон: деревня, речка, бабушка... Она печёт оладышки во дворе, на летней кухне... Вокруг бродят куры, что-то ищут в траве; петух ходит, гордо выпятив грудь. Время от времени, вспомнив, что он тут главный, зорко оглядывает двор и, устрашающе раздув перья на шее, что-то квохчет. Из-под ноги, сердито гребущей землю, во все стороны летит мусор. Молодые петушки на всякий случай отбегают подальше... Тишина, покой... Где-то вдалеке лает собака. Астра... Сейчас он встанет, позавтракает, и они отправятся с Астрой на речку — позагорать, искупаться, заодно и рыбки наловить — бабуля вечером уху сварит...

Он открыл глаза. Нет ни двора, ни бабушки. Вокруг лес, густые заросли осинника. Чуть шелестят листочки. Сквозь листья проглядывает синее-синее небо. Неторопливо плывут облака...

Голод сдавил желудок. Сейчас бы бабушкиных оладышков... Он не ел уже три дня. Сегодня утром, правда, наткнулся на куст смородины, оборвал всё до последней ягодки. Смородина была ещё неспелая, чуть только побуревшая — кислятина страшная, — и всё-таки это была хоть какая-то еда. Он закрыл глаза и снова провалился в полусон, в полуявь... Лето... Речка блестит... Лает где-то Астра...

...День выдался жаркий. Они с Астрой встали, чуть только забрезжил рассвет. Тихонько, чтобы не разбудить бабушку, выбрались из хаты. В летней кухне с вечера были приготовлены банка с червями, удочка, краюха хлеба и бутылка молока, заткнутая пробкой, сделанной из газеты. Юрка очень любил пить молоко именно из такой вот бутылки, именно с такой пробкой. Но это было возможно только в деревне, у бабушки Даши, куда его отправляли каждое лето на каникулы. Ему всё нравилось в деревне: простые люди, крестьяне, с певучими, ласковыми голосами, их непривычный городскому человеку смешной говор, их тягучие, грустные песни. По вечерам молодёжь собиралась на окраине деревни; разводили костры, девушки в расшитых национальными узорами одеждах водили хороводы, парни, показывая свою ловкость и смелость, прыгали через костёр, плясали лихой белорусский танец «жох»... Жалко только, что теперь не скоро ему доведётся побывать в этой маленькой белорусской деревушке. В следующем году он заканчивает десять классов и будет поступать в военное училище. Он давно решил стать пограничником. Как и все

советские мальчишки, Юрка мечтал о подвигах, хотел быть то лётчиком, то полярником, то знаменитым шахтёром, но чаще всего он видел себя пограничником: Никита Карацупа со своим верным другом Ингусом был его кумиром. И когда отец однажды привёз ему из командировки крохотного неуклюжего щенка, сказав, что его подарили пограничники, Юрка чуть не заплакал от счастья. «енок был совсем маленький — только-только прорезались глазки. На лбу у него было большое белое пятно с неровными краями, похожее на звёздочку, а в центре этой звёздочки — тёмное пятнышко, величиной с вишню. Они долго не могли придумать ему имя, потом мама сказала, что надо назвать Астрой. «Астра» — это «звезда» на латинском языке. Юрке имя понравилось, но он частенько называл её по-русски — звёздочкой. Ночью Астра забиралась в постель к Юрке и, уткнувшись мордочкой в его шею, сладко посапывала.

Как только Астра подросла, Юрка приступил к дрессировке, и скоро она уже охотно выполняла его команды. Из неуклюжего щенка Астра превратилась в молодую сильную овчарку. На спине и на боках шерсть у неё была тёмно-серого, почти чёрного, цвета, а на груди и животе — светло-коричневого. Уши и голова тоже были тёмные; на лбу чёрный цвет доходил до бровей, повторяя их рисунок, огибал пасть и соединялся на шее, под нижней челюстью. Казалось, что собака в жилетке, а на голове у неё надета шапка-ушанка. И на этой «шапке» ярко выделялось белое пятно с тёмной «вишенкой» в центре.

Юра в мыслях часто представлял, как они с Астрой будут охранять границу и как однажды обнаружат и задержат опасного диверсанта. А там... Мальчишка уносился в мечтах далеко, в Москву, в Кремль, где Михаил Иванович Калинин вручит ему орден... А может — тут у Юрки совсем захватывало дух — может, доведётся увидеть самого товарища Сталина...

Его мечты прервала Астра, выскочившая из кустов, тяжело дышавшая, высунувшая от жары язык. «Понял, — засмеялся Юрка, — пора искупаться», — и они с разбегу кинулись в воду, распугав стрекоз и прочую речную живность. Накупавшись, устроились под кустом, в тенёчке, и задремали...

Проснулся Юрка от какой-то неясной тревоги. Он сел, огляделся. Да нет, ничего такого, всё тихо. Но, несмотря на прекрасный день, он с самого утра всё время чувствовал, что что-то не так. Ещё ночью его разбудил непонятный гул, шедший как будто из-под земли. Ему показалось, что вибрировал даже воздух. Он долго прислушивался, но так и не понял, что это. Потом решил, что это летят куда-то наши самолёты — «сталинские соколы», как называли лётчиков в народе. А может, учения какие-нибудь идут.

Тишину леса нарушил рёв мотора: по дороге, поднимая пыль столбом, промчалась полуторка. Через некоторое время в сторону деревни проскакал верховой, а за ним следом послышался бешеный

стук колёс какой-то подводы. Юрка поднялся на высокий берег: что-то случилось в деревне — не пожар ли? Нет, дыма нигде не видно. Но он услышал слабый звон — били железным прутом по подвешенному на столбе колесу от старого трактора. Забыв удочку и кукан с уловом, он побежал домой. Астра трусила следом.

На площади перед правлением собрались все жители деревушки. На крыльце стояли председатель колхоза и какой-то незнакомый человек. Он, рубя воздух рукой, кричал, что враг не пройдёт, что через неделю война закончится и мы добьём врага на его территории. Мужики угрюмо слушали выступление приезжего, в толпе то и дело слышался женский плач. Мальчишки с горящими глазами шныряли между взрослыми: ура, война!

«Какая война? С кем?» — спросил Юрий стоящего рядом дядьку Карпа, бабушкиного соседа. «С германцем, с кем же ещё», — ответил тот, — напали на нас сегодня, в четыре часа утра... Товарищ Молотов по радио выступал...»

Спустя месяц в деревне уже хозяйничали немцы. Наглые, весёлые, с закатанными по локоть рукавами, они ходили по улицам, ловили кур, поросят, прирезали нескольких коров, а остальных угнали куда-то. Бабы ревмя ревели: чем кормить детей, ведь на огородах ещё ничего не выросло, прошлогодние запасы кончились, одно молоко и спасало. А теперь и молока не стало.

Но коров забрали — это ещё полбеды. Всех взрослых мужиков собрали на площади, переписали и на двух колхозных полуторках отправили куда-то. И никто не знал, куда и что с ними стало. Говорили, что километрах в ста от их деревни находится лагерь, а там — видимо-невидимо пленных красноармейцев. В это не хотелось верить, но раз немцы уже здесь, ведут себя как хозяева, то может быть и правда...

Юрий уже на второй день войны отправился в райвоенкомат, вместе с Астрой. Там, посмотрев его документы, и разговаривать не стали: иди домой, не дорос пока. На его опасения, что война кончится, а он так и не успеет повоевать, военком устало ответил: «На всех войны хватит», — чем привёл Юрку в совершеннейшее замешательство. Как же так — хватит? Он недавно смотрел фильм «Если завтра война» и был твёрдо убеждён, что в случае войны Красная Армия в два счёта справится с любым врагом...

Но вот уже и лето подходит к концу, а война продолжается. Наши отступают. Всё дальше и дальше отходит линия фронта, уже не слышно орудийных раскатов, в деревне тоже всё тихо. Немцы куда-то подевались, оставив вместо себя старосту, неведомо откуда взявшегося бывшего деревенского лавочника.

Юрка очень хотел домой, к родителям, но выбраться отсюда было невозможно: новые власти установили комендантский час, патрули прочёсывали местность, везде были установлены шлагбаумы, висели грозные объявления и приказы. Всех задержанных отправляли

в полицейский участок, а особо подозрительных тут же, на месте, расстреливали.

Был уже конец сентября. Война, к Юркиному удивлению и разочарованию, не закончилась. Фронт откатился далеко на восток. В деревню приезжали какие-то немецкие чины, полицаи сгоняли народ на площадь, и люди уныло слушали о победах великой Германии, о том, что большевики разбиты и доблестные немецкие войска вот-вот возьмут Москву.

В деревне стало тихо. Люди старались показываться на улице как можно реже. Спать ложились рано. По вечерам ни огонька, ни всхлипа гармошки, ни звонких девичьих голосов — только иногда залает собака и тут же, словно испугавшись чего-то, смолкнет. Ходили страшные слухи о сожжённых вместе с людьми целых деревнях, о повешенных и расстрелянных.

Утром Юрка, взяв удочку, вместе с Астрой уходил на речку. Они с бабушкой голодали, и рыба была хорошим подспорьем. Но удочкой много не поймает, и бабушка сшила из старой юбки что-то наподобие сачка, и Юрка ловил этим сачком рыбу мелюзгу. Иногда удавалось поймать чуть ли не полведра рыбёшек. Они без масла жарили её на сковороде или варили уху. Уха была не очень вкусная, потому что кончалась соль и бабушка страшно экономила — солила еду только в крайнем случае.

Тёплым летним вечером они с Астрой возвращались в деревню с хорошим уловом. Почти ведро мальков наловили — вот бабушка обрадуется! Но бабушка, увидев внука, запричитала, заохала, испуганно оглядываясь, стала толкать его в сени, шепча: «Скорей! Скорей!» Он ничего не мог понять. «Лезь в погреб, — шептала бабушка, — здесь тебя никто не найдёт!» — «Да что случилось-то, бабуля?» — «Утром понаехали немцы, всех молодых ребят и девчонок согнали на площадь, велели собрать вещи; говорят, в Германию будут отправлять. За тобой уже два раза приходили. Что ты стал? Скорей, скорей лезь в погреб, я закрою, придут — скажу, что ещё не вернулся».

Но было уже поздно. В калитку входил староста в сопровождении двух немцев. «Тебе что, особое приглашение надо? — заорал староста. — Почему не являешься на сборный пункт?» — «Да он же не наш, не местный, у него и документов нет», — умоляюще говорила бабушка, закрывая собой внука, но староста замахнулся на неё плёткой, с которой он всегда ходил по деревне, и она, вскрикнув от боли, упала на колени. Юрка бросился поднимать плачущую бабушку. Староста что-то сказал по-немецки солдатам, и один из них, направив на Юрку автомат, заорал: «Шнель!» Второй схватил мальчишку за воротник и поволок к калитке.

Астра, испуганно жавшаяся у крыльца, увидев, что её друга обижают, кинулась с громким лаем на обидчиков и вцепилась в полу короткого, мышинового цвета, мундира одного из немцев. Второй,

повернувшись, вскинул автомат, но резкий окрик: «Хальт!» — остановил его. Чёрная лакированная машина в сопровождении четырёх мотоциклистов, в своих очках и накидках болотного цвета похожих на лягушек, притормозила у калитки. Из машины вышел немецкий офицер, полковник. Не обращая ни на кого внимания, он несколько минут пристально рассматривал Астру, которую Юрка трясущимися руками привязывал к столбику крыльца, потом, повернувшись к сопровождавшему его офицеру, что-то прокаркал, повернулся и на негнущихся журавлиных ногах пошёл к машине. Взревел мотор, мотоциклисты-жабы рванулись вслед. В воздухе ещё долго висел запах выхлопных газов.

В лесу по-прежнему было тихо. Шелестела листва, где-то недалеко, внизу, журчала вода — наверное, ручей. Захотелось пить. Он прислушался: ни звука — и пополз на шум воды. Неужели удалось? Третьи сутки он бежит, ползёт, пробирается сквозь лесные дебри вперёд, на восток, — как можно дальше от того страшного места, куда его привезли год назад после двух побегов. Два года он батрачил у бюргеров: кормил свиней, ухаживал за коровами, убирал брюкву — целый день на ногах. Вечером, поев жидкой похлёбки, валился в сарае на солому, но заснуть долго не мог. Планы побега, один другого фантастичней, возникали у него в голове. И два раза всё-таки убежал, но почти сразу же ловили. Последний раз, избив до полусмерти, отправили его в лагерь; оттуда не убежишь — всюду колючая проволока с пропущенным по ней током, часовые на вышках. И каторжный труд в каменоломне, забирающий все силы до последнего.

Немцы зверствовали, наказывали за любую мелкую провинность, пленные сотнями умирали от голода и непосильной работы. Но какими-то путями в лагерь всё-таки доходили вести о положении на фронте, и у людей появлялась надежда, что войне скоро конец. На запад летели эскадрильи бомбардировщиков, в тихую погоду доносились звуки далёкой канонады... Люди с надеждой смотрели на восток: ну когда же, когда же?..

Три дня назад, ночью, завывли сирены, послышался нарастающий гул десятков самолётов, свист бомб, и на территории лагеря стали раздаваться взрывы. Люди повыскакивали из бараков и в панике метались по территории. Выли сирены, лаяли сторожевые собаки, кричали охранники. Проекторы были выключены, в кромешной тьме то и дело взмывали к небу огненные кусты — взрывы, горели бараки. Кто и зачем бомбил лагерь, неизвестно. Скорее всего, по ошибке — вместо заводских корпусов, расположенных километрах в пяти от лагеря...

Юрий долго бежал, охваченный паникой, сам не зная куда. Вдруг он понял, что грохот взрывов остался где-то далеко позади, не слышно ни криков, ни лая собак, ни выстрелов. Была глубокая ночь,

беспросветная темень. Накрапывал мелкий дождичек. Куда же идти? В какую сторону? Вдруг опять выйдет к лагерю? Сил почти не осталось, но надо уходить как можно дальше отсюда. Пока не наступило утро. Может, повезёт. Хотя он знал, что далеко ему не уйти, утром немцы прочешут всё вокруг, и его обнаружат.

Но вот уже четвёртые сутки пошли, а его никто не преследует. Днём он отлёживается в укромных местах, а ночью старается уйти как можно дальше... Населённые пункты обходит стороной: хоть и польская земля, а кто знает, какие люди встретятся на пути?.. Теплилась надежда: раз нет погони, может, немцы посчитали его убитым при бомбёжке?

Он задремал. Солнечный лучик, пробившись сквозь густую листву, коснулся лица, скользнул по волосам... Нет, это не луч, это баба Даша ласково гладит его сухонькой тёплой рукой. Они идут с поля, где окучивали картошку, бульбу, как её называют местные. «Ох, я и забыла, старая,— говорит бабушка,— нынче же день твоего ангела, Юрочка». — «Какой ангел, ба? — отвечает Юрка. — Ведь Бога нет, значит, и ангелов никаких нет». — «Что ты, что ты! Не говори так, грех это,— пугается бабушка и крестится в сторону полуразрушенной церкви, в которой теперь находится колхозное зернохранилище, и его, Юрку, тоже крестит. — Не гневи Бога... грех...» Он в ответ смеётся: всё это сказки — грехи, ангелы...

На лице спящего Юрки бродит улыбка...

Луч пощекотал его ресницы и опять спрятался в ветвях. Юрий чихнул и проснулся. Он в лесу, бабушки нет... «День ангела»... Бедная бабушка, знала бы она, что пришлось ему испытать... Где же они были, её ангелы?.. Он закрыл глаза, надеясь, что снова увидит бабушку, и скоро опять задремал. Но приснилась речка, он с удочкой на берегу. Блестит вода, чистая, прозрачная, на дне видны мелкие разноцветные камешки, стайки мальков суетливо мельтешат в речной траве... По гладкой поверхности скользят водомерки. Летают стрекозы. Поют звонкоголосые птички, где-то кукует кукушка... Издалека доносится лай Астры, он всё ближе, ближе...

Он испуганно подскочил и тут же снова упал на мягкий мох, в пышно разросшиеся папоротники. Нет, это не сон, лай слышится в самом деле. «Немцы! — обожгла мысль. — Наверное, кто-нибудь видел меня и сообщил в лагерь... Всё, конец...»

Раздвинув траву и осторожно высунув голову, он увидел довольно большое поле, засеянное овсом, опушку леса на противоположной его стороне и неясные фигуры, мелькающие среди деревьев. Понимая, что шансов на спасение нет, он всё-таки пополз дальше в лес, в сторону ручья. Крутой спуск весь зарос шиповником, папоротником, молодыми осинками, каким-то кустарником с фиолетовыми листочками, высокой, в рост человека, травой. Внизу, у самой воды, — густые заросли лозы. Ручей оказался довольно широкой

речкой, где-то поблизости в неё впадал невидимый, весело журчащий ручеёк.

Он, обдирая в кровь лицо и руки, кувырком скатился с обрыва и очутился в какой-то яме, среди старых, сухих, с ключьями засохшей тины, изломанных ветвей, тесно переплетённых с молодыми побегами. Там было темно и сыро — солнечные лучи не проникали сквозь пышную листву. В тот же миг на него прыгнула огромная овчарка. Он успел схватить её за ошейник, отчаянно пытаясь отвести оскаленную пасть от своего лица. Она грызла его руки, рвала одежду, тянулась к горлу. Юрий почувствовал, что искусанные, окровавленные руки совсем ослабли, сейчас он выпустит ошейник, и ему придет конец. Руки разжались, и он закрыл глаза. Сопrotивляться бессмысленно. Но овчарка вдруг перестала скрести когтями, обмякла и заскулила. Он лежал не шевелясь, ожидая смерти, а собака, уткнув нос в его шею, тихонько повизгивала — и вдруг лизнула его в ухо. Он не понимал, что происходит. Приоткрыв глаза, он увидел собачью морду с белой звёздочкой на лбу. В центре звезды темнело пятнышко, величиной с вишню... Юрий не верил своим глазам: у него что, галлюцинация? Это же Астри!.. Но откуда она здесь? Да нет, не может быть: наверное, это продолжается сон, или он сошёл с ума. Такого просто не может быть!!! Он, наверное, бредит. А может, это и вправду она — Астри? Вот же её звёздочка, вот её надвинутая на глаза «ушанка», он не мог ошибиться... И она что, узнала его? Но как, как она могла узнать его через столько лет? Мысли вихрем проносились в голове. Запах!.. Конечно, она просто вспомнила его запах! Нет, это всё-таки сон, сейчас он проснётся — и всё исчезнет. Сердце бешено колотилось. «Астри, Астрочка, звёздочка моя», — боясь поверить в реальность происходящего, плача, прошептал он и осторожно погладил её, почесал за ухом, как она когда-то любила. Астри лизнула его мокрое от слёз лицо, ещё теснее прижалась к нему и вновь заскулила. Он обхватил её руками, зарылся лицом в мягкую шерсть и тоже заскулил — тихонько, по-щенячьи...

Наверху послышались громкие, лающие, ненавистные голоса немцев. Они, видимо, звали собаку. Астри подняла голову, и Юрий, похолодев, понял: сейчас она подаст голос — и всё! Она рванулась на голоса, но остановилась, оглянулась на Юрия и... снова прикинула к нему.

Немцы, громко переговариваясь, стояли уже совсем рядом, на самом обрыве. Астри повернула голову в их сторону и, тихонько твякнув, втянула носом воздух. Нет, чудес не бывает. Он знал, что немцы хорошо умеют дрессировать собак, она не посмеет послушаться хозяина. Но Астри не двигалась с места, и только вставшая на загривке шерсть выдавала её напряжение.

Покричав, немцы открыли бешеный огонь, поливая всё вокруг градом пуль. Пули как ножом срезали ветки и листья тальника,

впивались совсем рядом в мох, булькали в воду, но ни одна не попала в Юрия и Астру. Они лежали в углублении, почти яме, вырытой, наверное, каким-то зверем, и это спасло их. Затем преследователи разделились на две группы и пошли в разные стороны, вдоль берега, и скоро их голоса затихли вдалеке...

Юрий ждал наступления ночи. Астра лежала рядом, чутко прислушиваясь к лесным звукам. Изредка налетал лёгкий ветерок, листья начинали тревожно шелестеть, и она тотчас беспокойно поднимала острые уши, втягивала воздух чёрным носом. Шерсть на загривке вновь вставала дыбом. Убедившись, что опасности нет, она успокаивалась и, положив голову на вытянутые лапы, преданно смотрела на Юрия. Он молил Бога, чтобы скорее наступила ночь, тогда они в темноте переправятся через реку, и их след уже не возьмёт ни одна ищейка...

Перед рассветом сильно похолодало. Скоро осень. Уже начали желтеть листья, скукожились и стали ржавыми папоротники, то тут, то там попадались горевшие ярким пламенем кусты боярышника. Чтобы согреться, Юрий теснее прижался к Астре, исхудавшей, со свалывшейся, в репьях, шерстью. Кончилась ещё одна ночь. Днём они будут отсыпаться, а потом снова в путь... Густой туман, заполнивший низину, начал редеть, проступили силуэты деревьев, заблестела роса на траве. Было тихо, молчали даже самые ранние пташки. На востоке алая полоска зари возвещала о скором появлении солнца.

Тамара Булевич

Исцеление тайгой

Глава из повести «Плач рябины»

Редкий прискальный лес полнился сизой мглой, когда Егор Дёмин, ломая литыми сапогами тяжёлые скользкие ветки, с полудня накиданные вздорным ветром, не торопясь шёл своей тропой к стойбищу байкитского друга Михаила Монго. «Ого-го, батюшка ветрило, покуролесил ты здесь вволюшку, поиграл силой немереной. Ишь, сухача-то да веток наломал! А всё под ноги метил! Скачу вот через твои заломы козликком», — ворчливо думалось Егору.

Но, несмотря на оставленные позади длинные пешие вёрсты по бездорожью, он чувствовал себя лучше, чем дома.

Острая боль в сердце притупилась, стихла. Исчезла с утра донимавшая его тревожная дрожь. Так происходило всякий раз, когда он в полном отчаянии уходил из посёлка в тайгу. И только события двух минувших дней не улеглись, не давали ему покоя. Егор, бередя измученную душу, вновь и вновь возвращался к ним.

«Повадилась Мария в дом алкашек водить... этих ненавистных синюшных куриц. Пели тут хором: «Дай на бутылку, дай!» Из дома-то тащить нечего, уж пропито ими до последней тряпки. Остались ухват да железна кровать — не гожие никому. Дожился, документы с собой ношу, хожу который год в одном костюме, до дыр протёртом. И вовсе не потому, что купить не на что: Мария уволокёт его, пока сплю, и тут же ценную вещь продаст за шкалик. Тряпья-то не жалко. Его на магазинских прилавках полно, а вот без нужной бумажки человек — никто. Вчерась вышвырнул за ворота всю их компашку... пьянь такую... вместе с Марией... и, хоть числюсь в отпуску, потопал на работу. Дома-то один-одинёшенек. Обмолвиться не с кем. Онемел уж. А там с людьми да печами разговоры найдутся. И там болячку нажил».

Двойное чувство переполняло Дёмина после разговора с Задушным. С одной стороны, было ему отрадно, что наконец-то освободил душу, высказал Валерьяну Модестовичу давно наболевшее, кусаче-зудящее, давно ждущее выхода наружу; с другой — понимал: такая «беседа» с первым секретарём для него бесследно не пройдёт. «Если бы не уговоры Светланы Петровны Семёновой, давно ушёл бы. Теперь вот остался в зиму без работы, а может быть, и того хуже... Вот чертяка, лезет, лезет в голову. Белого света из-за него не вижу».

А по всему лесу весело гомонили птицы. Уставшие от непогоды, они вольготно, по-хозяйски, расселись на сухостое, молодом ельнике,

чистили пёрышки и мирно переговаривались между собой, не замечая посторонних любопытных глаз. Им было не до Егора.

В нише скалы на остром выступе примостился мелкий соколок — пустельга. Намокший, отяжелевший длинный хвост тянул его вниз. Но сокол только глубже вонзал чёрные когти в слоистый известняк. При этом часто и смешно трясся на одном месте. Потом растопыривал пёструю перьевую шубку, приподнимал крылья, словно проветривая их, и звонко кли-кли-кликал. Дёмин остановился напротив, беспрепятственно разглядывая рыже-бурого трясуна. Приподнявшись на цыпочки, легонько дотронулся до него вытянутой вверх рукой, но птица не обращала на странного прохожего путника никакого внимания, занимаясь своим неотложным делом. «Напевом-то схож с чеглоком. Только у пустельги покрик повыше, позабористей».

И тут, урезонивая горделивого соколка, на ближней сосне отозвалась спокойной, мелодичной песней парочка белых куропаток: «Керр... эр-эр-эrr», — которая беззаботно раскачивалась на ветках в трёх метрах от Егора. Ему отчётливо были видны их бруснично-красные, вздрагивающие при пении брови.

До стойбища оставалось не более пятисот шагов. Сотни раз хоженую тропу Егор знал настолько, что мог пройти по ней с завязанными глазами. Дальше она спустится к плоскогорью, лес уплотнится, плавно переходя в темнохвойный кедровник. Запахло грибницей, и Дёмин не удержался, быстро пошёл в глубь вековых кедрочей, где всегда находил, семейство за семейством, крепкие мясистые рыжики. И сейчас надеялся срезать с десятка, но так резануло в груди, что он присел на траву.

«Может, наступает и мой час... Надо хоть самому пред собой выговориться. Авось полегчает. Ишь, как расходилось сердчишко-то из-за ненавистного задушенца, труба ему в дышло. Аж всё нутро морщит, как об нём мыслю».

Дёмин сорвал сочные веточки брусничника и стал разминать их дрожащими пальцами. «Принесла же его нечистая именно в тот час... На ловца и зверь бежит. Како ему дело до раствора?! Сколько требуется, столько и замешу. Своды в печках кое-где подмажу. Вот и взял в гараже старый горшок из-под цветов, приготовленный уборщицей на выброс. Ты ещё в стакане бы развёл. Боишься ведром надсадиться! Учитель нашёлся! Сам-то за всю жизнь гвоздя в стену не вбил, а туды ж... с указкой рабочему человеку. Конечно, сорвался я, попёр буром: Чего, — говорю, — тыкаете. В деды гожусь, а вы мне, фронтовику, тыкаете. С трибуны-то сладкими речами рассыпаетесь. Только и помните об нас в День Победы. А так-то больше брезгуете да сторонитесь старой гвардии. Много знаем про вас и не боимся правдой-маткой по вашим бесстыжим рожам стегануть ».

Закат догорел, медленно сползая за утёс. В лесу стало быстро темнеть. Со стойбища доносился приветливый визг лаек. Из голосистого хора

выделялся знакомый, низкий, с хрипотцой, уже приближающийся к Дёмину лай. Это одноглазый Пират нёсся ему навстречу. Однако вскоре притих, как-то трусливо подвывая, потом и вовсе смолк.

Боль улеглась. Егор, собрав пригоршню ярко-рыжих груздей и продолжая всматриваться в кроны звенящих на лёгком ветру деревьев, споткнулся о вылезший из земли корень вековухи-сосны. Наконец-то глянул на ставшую едва заметной в сизых сумерках тропу. Неподаляку от него лежало что-то тёмное, похожее на невысокий пушистый кустик. «Надо же — медвежонок!»

Увидев чужака-незнакомца, тот слабо рыкнул, попытался подняться на лапы, но громко, визгливо застонал и завалился набок. Дёмин склонился над ним, приподнял, но пушистик лишь протяжно мычал. «Да ты, дружок, весь в крови! Како же чудище поранило тебя? Коль кровь не запекалась, то и часу не прошло случившейся с тобой беде. А я-то думал, ослышался, когда старым ухом уловил далёкий, приглушённый щелчок. Знать, браконьершико, труба ему в дышло, татем прошмыгнул по Мишиному угодию. Повстречался с медведицей, с тобой, малыш, спаскудничал. Вот же сволота, нелюдь! Летом на медведя охота закрыта, да не для каждого закон писан. Где ж мамка твоя, Тунгус? Можно, я так буду тебя величать? Что с нею-то случилось?»

Прикрыв носовым платком сочащуюся холку, покрепче прижал медвежонок к груди, как, бывало, прижимал своих маленьких сынков. Тунгус был едва жив. Вздрагивал хрупким тельцем, дыбил шерстку, постанывал.

«Совсем кроха, февральский. Ну-ну! Не кусайся, крепись, зверёныш, а я мигом к лучшему таёжному лекарю доставлю. Не слышал об нём? Мал ещё. Вместе и полечимся. У меня, слышь, тоже болячек поднакопилось».

В это время к Егору подполз запыхавшийся Пират, лизнул ему руки, стыдливо пряча морду за сапоги.

— Привет, Пиратка, привет!

Пёс протянул Дёмину сильную натруженную лапу.

— Чо, сдрефил? Никак хозяина тайги почуял? Дак этот, вишь, совсем мал хозяйевать-то, к тому ж кровью истёк, бедолага.

Пират, принимая справедливый выговор, прижал уши, виновато виляя хвостом.

— Всё-то, умница, понимаешь. Ладно. Давай скорей вперёд, к Мише.

Они ввалились в чум, взмокшие и уставшие.

Маленький, щуплый, вёрткий, с не сидящей головой, Михаил Монго тепло поздоровался, прослезился и торопливо коснулся Егорова лица щекой, не знающей — на удивление друга — щетины и бритвы. — Вот, Миш, принимай подранка. К счастью, на тропе лежал. Чуть не наступил. В честь тебя, вернее сказать — твоего древнего народа, назвал Тунгусом.

Михаил уже мыл руки, достал из старого напольного сундука какие-то коробочки, пузырёк со спиртом, марлю и широкий, с мужскую ладонь, пластырь.

— Моя так ждала Егоска, так ждала!

А сам быстро растирал в порошок белые таблетки, свёртывал в тампоны нарезанные марлевые ленты.

— Егоска, дерзы Тунгуса, буду мыть, мала-мала резать.

— Миш, чо, не знашь?! Ты ж друг... посочувствуй, но не могу я на это действие смотреть. Боюсь.

— Однако, некогда шипко много говорить! Нюхай нашытырь, работай! Такой ботцой, стыдно!

Он накрыл полиэтиленом сундук и принялся чистить Тунгусу рану. Медвежонок визжал, пытался укусить и вырваться из лопатистых рук Егора, но силёнки его были на исходе.

— Хоросо, баркачанка, хоросо! Моя твоя любит. Больно не делай, жалей.

Егор приловчился, крепко держал малыша, помогая себе и коленом. Когда операция наконец-то завершилась, «ассистент» Дёмин, дрожащий и бледный, повалился тут же на пол.

— Скоро пей, Егоска, валерянку, она помогай. Твоя, однако, сопсем слабый. Ай-яй!

А Пират, распластавшись возле Егора, от избытка любви и жалости к гостю облизывал ему лицо и руки, бил хвостом по ногам, словно торопил подняться. Привык при встречах с ним класть свою псиную взлохмаченную голову на дёминские колени.

Михаил определил медвежонок на ночлег за нарами, подложив ему свежий еловый лапник. И хотя тот сам улёгся на здоровый бочок, лекарь привязал его потуже к стойке чума.

— Моя гость пришла, друга Егоска! Миса знай, што он любит. Миса буди делай кухня старий эвенк. Наш Алитет, ботцой, однако, писатель, добрый обыцый сеял и говорил правду: от еды руси в зивота — один пустота.

И засуетился у очага. Вскоре чум наполнился аппетитным запахом свежей молодой оленины.

— Всегда так. Со мной тебе вечные хлопоты, — забираясь на нары, извинительным тоном заговорил Егор.

— Молци ус! Моя весна здала, лето здала. Скоро тайга белый, а Егоска нету. Твоя понимаешь, как я рада?

— И я скучаю. Да ково там! Почитай, с интерната вместе. Ты и за брата, и за всю родню. Нынче дела мои, Миша, плохи. За помощью пришёл. Душу тобой облегчить.

— Нис-сё-о-о-о! Тайга лечи, моя лечи. Егоска буди хоросо, душа песни поёт. О твой болези говорить нада завтре. Утро помогат, солнце помогат. Ноцью харги — злой духи — мешай лечи. Толку мала. Миса знай, кода нада. А щас еси твоя хоцю, моя хоцю.

От жаркого очага стало нечем дышать. Хозяин задрал пологи, и сразу вокруг чума заплясали по кругу причудливые быстроногие тени. — Моя важенка доить скоро, Егоска нада огня шевелить.

Дёмин подсел к очагу, подгрёб развалившиеся угли под котёл с дымящимся мясом, задумался. Навязчивая, не остывающая внутри него ссора с Задушным вновь завладела им.

«Как змеем-то вился да ядовито шипел: Ты у меня договоришься! Посидишь за решёткой, поумнеешь, если хоть ещё раз твякнешь про нас с отцом. Тут уж и я на крик перешёл: Слава Богу, не тридцать седьмой, руки коротки! И дале выдал ему про барство, пьянки-гулянки, про чо люди меж собою шепчутся, да про райкомовский дворец, на субботниках всем ессейским миром возводимый. Это для двадцати-то райкомовских чинуш. Кричу: Не лучше ли отдать сии хоромы фронтовикам либо старикам да старухам бесприютным? И под детский садик согдится — тоже не лишним будет. Тут Задушный и вовсе взбесился, слюной брызжет. Давай всяко-разно поносить, оскорблять... Оказывается, за приживалу держит, и проку от меня никакого. При одиннадцати-то печях на угле, мною обслуживаемых! Хорёк вонючий! Потом метнулся в кабинет да так дверями хлобыстнул, что штукатурка с косяка посыпалась. Пришлось целое ведро замазки заводить, дыры замазывать. Накаркал, злодей!»

Уж за полночь, расположившись на свежих мягких пыжиках, друзья, сытые и слегка пьяные, обсуждали предстоящую рыбалку. Споря, отбирали нужные блёсны под сига. Егор загодя купил их у знакомых промысловиков вместе со спиннингом и двумя удочками. Давно уж привык рыбачить одновременно тремя удилищами.

Михаил удочек не признавал, тихо посмеивался над горе-рыбаком. — Моя лодка ехай, сети стави, мормышка лови. Потом буди считай, сколь твоя уди, сколь моя. Миша сама уха вари у рецьки. Водки брать? — Как хошь, Миша.

— Хоцю, хоцю! Тута мой друг!

Вдруг медвежонок заворочался, протяжно застонал. Михаил легко вскочил и наклонился над пациентом. Но тот вроде успокоился, засопел и начал сосать лапу.

— Ай-яй! Моя забый! Нада еси дать!

Он что-то долго искал в угловом сундуке, отрывисто поругивая себя то на русском, то на эвенкийском. Наконец извлёк на свет длинную соску и выскочил из чума. Вернулся с полной бутылкой свежего молока от важенки. Ловко сунув соску в пасть спящего Тунгуса, стал придерживать рукой бутылку, чтобы баркачану было удобнее сосать.

Егор с восхищением смотрел на заботливого, умелого друга. А медвежонок, насытившись, затих.

Утомлённые событиями дня, старые друзья улеглись на нарах и дружно захрапели.

Вскоре их разбудили собаки. Они лаяли отчаянно и тревожно, до хрипоты и воя. Первым ошалело вскочил Михаил.

— Однако, Его ка, ботцая зверь пришла. Моя знай — эта амака, Тунгускина мамка. Злой амака — плохой. Олень кусай. Нас кусай. Тунгуса нада бистра отдавай!

— Да ты в своём уме, Миш?! Малыш скоко крови потерял, ослаб. Рана не закрылась, а ты...

— Его ка родилась, зыви тайга, однако тайга не понимай! Бери скоро баркачан. Иди тропа вверх. Моя тебе светит. Зверь огня не любит, боитца. Тунгуса тайга оставляй. Амака баркачан забирай. Потом, однако, бегом нада чум. Так делай!

Егор осторожно взял на руки проснувшегося встревоженного медвежонка.

— Торопи, Его ка, торопи! Моя знай, всем буди плоха, ай-яй, плоха. Амака услышал кровь Тунгуса. Бери плечо рузё, баркачанку тасси.

— Так же нельзя, Миша! На ногах не стоит! Погибнет ведь!

— Его ка сопсем глупий, без голова! Миса знай! Амака думай, её дети люди забирал. Нада Тунгуса тайгу отдай. Не бойсь, Его ка! Моя твоя прикрывай.

Монго сдёрнул с крючка новенький карабин, недавно подаренный сыном Николаем. Схватил стоявшую за нарами палку с накрученным берестяным факелом, поджёг его и выскользнул из чума.

Егор со стареньким ружьём за плечами и всхлипывающим, тихо мычащим на руках медвежонком поспешил за ним.

Зорька ещё пряталась за горами, но небосклон уже высветился её далёкими всполохами.

Егор шёл впереди, держа на вытянутых руках перевязанного широкими бинтами Тунгуса. Нёс бережно, стараясь не задевать кровоточащую рану и не причинять малышу дополнительной боли.

Михаил сзади светил факелом под ноги Егору и чутко ловил каждый звук спящего леса.

Собаки бежали по следу медведицы, параллельно тропе, метрах в десяти от хозяина. Подъём становился круче. До скалы оставалось с полкилометра. Где-то рядом заухал филин и, словно сорвавшись с дерева, полетел вниз к кедровнику. Встревоженные, захлопали крыльями проснувшиеся птицы. И снова трусливо заскулили лайки. Не прошло минуты, как они, притихшие и скукоженные от страха, негромко завывали, пристроившись к Михаилу.

— Его ка, стой! Амака рядом! Вот он! Вот!

И взвёл курок карабина.

— Не стреляй, Миша! Не стреляй!

Егор увидел впереди себя, в ста метрах, чёрную, рычащую, движущуюся на него гору. Остановился — и медведица остановилась. Громко пыхтя, присела, будто замерла. Её отдых длился секунд пять,

а показались они вечностью. Конечно же, она устала, пережив тяжкие полсутки, страх при встрече с плохим человеком, а потом долгий безрезультатный поиск детёныша.

— Пускай баркачанку! Хоросо-о-о... молодеца! Ходи сюда!

Он направил луч факела в сторону медведицы, напряжённо держа на вытянутой правой руке карабин.

Лайки осмелели, попытались ринуться на сидящего зверя.

— Лезать! Тиха! Пиратка, к ноге! — сердито прищипнул на них Монго.

Те послушно прижали уши и слились с тропой.

— Его ка, шагай мала-мала назад чум, смотри амака лицо. Рузё — готови! Посли! Моя амака свети.

Медвежонок, почуяв медведицу, жалобно и звучно застонал. Волоча ножку, прыгая, валясь на камни, вновь поднимаясь, из последних сил тащился к матери.

Медведица, познавшая запах пороха и сейчас видящая перед собой смертельную опасность, поднялась на задние лапы. Дико рыча, разбрызгивая по кустам гневную пену, медленно пошла навстречу своему детёнышу. Поравнявшись с ним, лизнула его в мордочку и легла рядом. Долго обнюхивала пахнущее человеком и лекарствами забинтованное тельце. Затем страстно и яростно начала облизывать своего детёныша с ног до головы.

И было видно, как отлетали от её медвежонка во все стороны бинты и лейкопластыри.

Михаил с Егором возвращались на стойбище в плотном окружении очумевших, всё понимающих лаек. Шли молча, прислушиваясь и оглядываясь. Но, углубившись в кедровник, расслабились, подали голоса. — Моя так рада, так рада! Баркачанка буди зыть!

Поднявшаяся над тайгой заря весело раскачивалась на макушках кедров. Пахло мясом и багульником. Надо бы поспать, но до сна ли?! Выпив по стакану крепкого чая, друзья покурили и решили сразу отправиться на рыбалку.

— Вода хоросо нерви леци.

Большое рубленое зимовье, стоящее посредине стойбища, служило Михаилу хранилищем и мастерской. Здесь родственники, помогавшие старику управляться со стадом оленей и домашними делами, шили, украшали бисером одежду из шкур. Умело выделывались на продажу дорогие меха соболей, песцов и чернобурок.

На тёсаных полках хранилась инструменты, кухонная утварь, постели для гостей. По стенам на металлических крюках развешивались сети, мормышки и прочие нехитрые самодельные снасти. В самодельных деревянных ящиках лежала разная мелочь, без которой на охоте и рыбалке не обойтись.

Друзья полезли на чердак. Вяленая сохатина висела на длинных толстых жердях, обдуваемая сквозняком и по-хозяйски обёрнутая чистыми цветастыми тряпками.

— Ты, Миша,— хозяин. Всюду успеваешь, и старость тебя не гложет. — Бери, Егоска, домой сохатина, увазы моя — охотника. Обычай така — не мозет Миса одна еси добыца. Другой люди нада давай. Или духи буде ругай моя, наказывай. А кому Миса дай? Теперь твоя одна и есть мой близкий родня. Другая родня далеко тайга. Сына Колька, собака така, сопсем ретка в цюму бывай. Руси стала Колька. Тайга зыви не хочит. — А чо? Давай, Миша! К сохатинке с детства приучен. Помню, твои родители в интернат нам мешками возили. Тапереча зимой вся еда моя, что отварю картохи чугунок — да с грибам её, да с черемшой. — Однако, Маса — твой асис — не вари?

Егор нахмурился и обречённо махнул рукой.

— Ты, Миш, совсем другую Марию помнишь. Знаю, нравилась тебе. Тогда моя Маша была всем любя. Только где она... та, моя Мария? Война, материнское горе давно счервивили её. А эта, что осталась... дома почти не бывает. Я ж не пьющий. Ей со мной неинтересно. Да-а-а, пропащая её душа...

— Всю зысть хоцю зыви с Егоска. Поцему не могу? Там твоя плоха, моя тут без Егоска тоска. Зацем так? Твоя тайга любит, зыви тайга.

— Спасибо, друг, не один я, да не басурман какой... Хоть Мария давно бомжует, а всё ж родная жена. Не брошу. Пропадёт. Эта беда от сынков наших, войной загубленных. Всё по ним сохла, а последние годы запивается. Поначалу думал, чем горем захлёбываться ей, так пуцай лучше с подругами веселится. А оно вот как обернулось, веселье-то... Мария не так уж много пьёт. Да годы-то каки! Хоть и младше меня на десяток лет. А всё бабы, округа её! Истые лонтрышки, опоицы. Обобрали нас до нитки. В доме одни стены остались, от стыда да грязи мыкаются. Видать, сей крест до гроба несть.

— Поцему Егоска Масу не уци, не побий?

— Всё уж испробовал. Теперь давно рук на неё не подымаю. А ране, бывало, взгревал не раз. Дак где там! По всей фактории дурой носилась: «Убиват, убиват, лешак печной». В сельсовет таскали. А вот её за гульню да пьянство не тревожат. Пробовал взаперти дённо-нощно держать. Так всякими хитростями да сбежит. Видать, возврату ей оттуда не предвидится, как мёдом в притонах намазано. Сколь мужиков от семей увела с подружками в ихую сатанинскую компанию. Счёту нет. — Ай-яй! Егоска не музык! Нада брать толста верёвка, её зопу бий раз-два-три. Буди солкова. А Егоска — буюн!

— Это ещё почему?

— Дак он ботцой-ботцой роги носит, а забодать никого не мозет.

Затарив доверху бочонки, котлы и рюкзаки, друзья погрузили их на тачку и спустились к Подкаменной Тунгуске.

Тут же закипели работа и таинство, можно смело сказать — священнодействие, что всегда предшествуют началу настоящей рыбной ловле на большой реке.

Егор прошёлся вдоль берега и выбрал место попорожистей, где, по опыту прошлых лет, обычно плескались не пуганные Мишиными сетями жирные серебристые сиги. По совету ессейцев, насыпал между валунами распаренной пшеничной крупы. Та горками опустилась на дно, но часть её струями вод унесло в стремнину. «Теперь сиг валом повалит».

Михаил вытащил из ивняка лодку и погрузил в неё подаренные Егором сети. Внимательно осмотрел две старенькие мормышки, покрутил их, сложил гармошкой и бросил поверх сетей.

Договорились: рыбачить, пока жор не прекратится. Сигналом к завершению рыбалки должен послужить большой Егоров костёр. — Моя Егоске покажет, как лови старий эвенк.

Монго исчез за утёсом, угрюмо нависшим над тёмными водами эвенкийской красавицы.

Оставшись один, Дёмин, позабыв про всё на свете, поддался азартному и властному желанию наловить как можно больше сига.

Длинный, нескладный, худющий, с белой головой на тонкой шее, в стареньком бесцветном трико, в потерявшей чёткую полосатость тельняшке, он метался между удилищами и был похож на не виданную никем чудную палко-птицу. Та взмахивала крылами-палками над пенящимися порогами, а то приседала на мокрые камни и почти сливалась с ними. Или вдруг принималась неуклюже прыгать по замшелым скользким валунам, едва удерживая равновесие и прилагая к этому видимые усилия, дабы не спикировать на лету в белогривые шипящие буруны, стремительно уносящиеся за утёс от неприветливых, больно бьющих каменных разбойников.

Егор, освоившись с «полётами» над удилищами, без продыху делал одну за другой подсечки. Но... увы. Насадил новые импортные блёсны.

Тунгуска хотя и рябила, но между каменными глыбами, как в больших аквариумах, вода была спокойной. Здесь стайки серебристых туполобых сигов деловито рассматривали непривычный их глазу интерьер. Неторопливо поедали прикорм, с любопытством присматриваясь к чему-то незнакомому их глазу, блестящему, похожему на неизвестную мелкую рыбёшку.

Самый увесистый сиг, лениво отворачиваясь от незнакомки, задел хвостом вздрагивающую на струе обманку. Та ожила, испуганно метнувшись под камень. Тут-то ненасытный богатырь молниеносно заглотнул её.

И пошла-а-а, пошла рыба!

Егор едва справлялся с небывалым клёвом. Его вместительный короб скоро наполнился до краёв. Уже и крышка не закрывалась, а сиг шёл, шёл...

«Куды мне боле-то? Этого за глаза хватит на уху да засол. Ишо разок отведу душу, дней-то впереди — ой-ёй!» Снял тельняшку, натянул её поверх перегруженного короба, завязал рукава на два крепких узла и поплыл с увесистым уловом к берегу.

Над тайгой разгорался жаркий безветренный день.

Сыто облизываясь, к Егору стрелой летел Пират, тоже, видно, удачно порыбачивший в прибрежных зарослях ивняка, куда частенько выбрасывалась ошалелая от ударов о камни мелкая рыба.

— Чо, Пиратка, небось, уж по уши объёмшился? А я вот гостинец тебе несу. Не побрезгуй, дружок, сигатенкой!

Ласково потрепав пса по упитанным бокам, Егор развязал короб и бросил ему первого попавшегося в руку сига.

— Ешь, ешь! Жирком обрастай, наливайся. Так-то твоё собачье житьё-бытьё веселей покажется. Да и зима мене кусат, когда шерсть лоснится.

Пират стал играть со скачущей по галечнику рыбой, подкидывая её сильными лапами выше и выше. С удовольствием понаблюдав за его игрой, Егор подправил кремнём лезвие таёжного ножа и принялся пластать двух-трёхкилограммовых сигов под зимний посол. В его руках всякое дело ладилось. И уже добрался до днища короба. Там, повиливая хвостиком, радужно блестя на солнце крупной чешуёй, лежал его сегодняшний «первенец».

— Не обессудь, красавец, придётся повременить, другу моему показаться.

Егор сапёрной лопатой вырыл на берегу яму, залил водой и бросил туда красавца-сига.

— Не балуй! — и накрыл сверху коробом.

Тайга разгоралась багряными пожарищами скоро приближающейся северной осени. Берёзки стыдливо и робко развесили редкие золотые серёжки. Под порывами ветра они разлетались по сочной зелени кроны то рваными лоскутами царской парчи, то ярким кружащимся солнышком, а то повисали кверху дном небывалой формы бокалами.

Рыжими пятнами обозначились на опушках хвойников осинки, ещё не вспыхнувшие багряным осенним румянцем.

На взгорке у кедрача играли с ветром чуть побледневшие лиственницы.

Егор на минуту задержал взгляд на лесном просторе и отметил, что лета осталось на одну ладошку.

— Пойдём-ка, Пиратка, за сушиняком. Пора костёр разводить, хозяина домой зазывать. Поди, с уловом умаялся, ишь, запозднился.

Вскоре высокое пламя взвилось на каменистом тунгусском берегу. Душистый синий дымок потянуло далеко за утёс. На душе у Егора стало немного спокойнее.

«Не довёл бы себя до такой раскоряки, если б ушёл из райкома сразу после первой стычки с хозяином. Зря поддался уговорам Светланы

Петровны: «Надо дотянуть до нового райкома. Здание передадут другой организации. Где ещё найдут такого хозяина печам? Вот и разойдётся, как в море корабли». Понятно, ей не хотелось видеть меня «домовничим». Она-то одна из райкомовских знала всё об моей жизни, Марии... Хотя от себя не убежишь, но как-то б легче было сердцу... Лишиться работы — полбеды. На пропитание всегда добуду. Русские печи досыта кормили меня во все времена. И ноне они в большом спросе. Не об этом печаль. Не об зароботке. Обидно, стыдно за партию, коей нонче руководят таки вот задушенцы. А ей-то самой служил и служу верой-правдой... до недавней поры. Тапереча уж не с ней я... Не с задушенскими душегубами. Они-то и довели народ до нужды заново перестраивать страну. И опять толком, по-честному, они же простым людям ничего не сказали. Вот тебе и гегемон — а сиди помалкивай. Оно, конечно. Какими глазами на людей смотреть?! Тянули из них жилы, кричали «ура!» успехам, коммунизмом вот-вот обнадёживали. Оказалось, не в ту сторону тянули, не тот даже социализм построили. Вот же пакостники! Народные потуги — коту под хвост! Нынешние вожди не удостоили нас, простых работяг партии, честного разговора. Никто не нашёл мужества признаться в тупости своей, воровстве и предательстве. Нет, Дёмин, с такой шарашконторой заканчивай! Больше не гегемон ты! Задушенские сотоварищи, труба им в дышло, отныне и наперёд будут бесчинствовать в новом житье. Чо путного ждатель-то?!»

Заслышав всплеск вёсел, Егор поспешил к реке. Мишина лодка под тяжестью груза осела, едва не зачерпывая краями воду. А сам он, стоя, радостно приветствовал друга поднятыми вёслами.

— Где тебя лешие носят, сучок ты кедровый? — нарочито грубо и строго отозвался Егор.

— Моя Егоске риби красны лови, стерлядки помай, ягоды собирай.

— Вечный трудяга ты мой неугомонный. Давай уж помогу выгрузиться.

Они вытащили лодку на берег подалее от воды и начали бросать на брезент улов старого звенка.

— Вот это тайменище! Да как ты втащил-то его в лодку? Ну и ну... Нет, Миш, силушка в тебе ещё временем не отнята. Дай-то Бог. А стерлядки ско-о-око! Ты просто водяной царь. Это ж надо так рыбалить! Сдаюсь. Твоя моя победи!

Михаил разулыбался и занялся котлом под уху. Долго тёр его песком, полоскал в реке и только потом, отойдя подалее от ивняка, зачерпнул из стремнины летящей водицы.

— Моя, Егоска, уха вари.

Егор перечистил всю рыбу, часть нанизал на ивовую лозу для провяливания, но основной улов засалил в кедровом бочонке. Потом долго и внимательно освобождал стерлядь от визиги, хорошо промывал её и бросал на раскалённую сковородку для обжарки.

— Завтра, Миша, тебя пирогом с визигой накормлю, знаю — любишь. Тайменя сам соли. У меня энтова навыка нет.

Солнце уже накальвалось на уносящиеся далеко в небо пики вековых хвойников, когда друзья удобно уселись у костра. Михаил наполнил доверху миски с дымящейся ухой и большими кусками добытых ими деликатесов. От котла исходил такой аромат, что сводило скулы от разыгравшегося у рыбаков аппетита.

Ели и пили долго...

Костёр давно опал, но друзья поддерживали его слабое горение лапником, от которого исходил густой смоляной дым. Благодаря ему чёрные тучи голодной мошки оставляли в покое разговорившиеся, истосковавшиеся друг по другу души.

— ... Так много тебе рассказал. Горько от всего, Миша. Куды ни кинь, везде редька да дыры. Горько думается про наше общее житьё. Слушаю, читаю — тоска ест душу. Они доперестраиваются! Нутром чую, должен буду и за лес им платить. За угоды, стало быть.

— Егоска умный, моя не понимаю...

Старый эвенк напряжённо вдумывался в сказанное Егором, вытрясая в костёр нагар из потрескавшейся трубки. Неторопко, тщательно набивал её табаком, раскуривал, глубоко, до кашля, втягивая в себя ядрёный дух.

— И за аргиш деньга дать? Зачем плати? Тайга, олень — моя, чужой не брал. Моя плати нету. Скажи твой райком: наша ботцой вождь така не делай. Твоя начальник, однако, сопсем харги — дьявол, жадный зверь. Монго так понимаю. Делай как он, думай как он — беда приди, всех буди кусать. Сказы ему так, Егоска!

— И не надейся. Он меня не слушает. Кабы грамоты поболее, я бы с ним пободался. А так — кто я для него? Мусор. Дворняга непородистая. Оне, партийное начальство, держатся нонче вроде графьёв. Задушный волком глядит, бугаём бычится. Ну и пусть. А хоть возьми самые что ни на есть верхи. Все хитруют. Вокруг да около. Поди, давно уж и без народа со страной сами порешили, расправились. Жаль, решальщики все такие же и есть для народа — задушенцы. Помяни моё слово, Миш, под перестройщиками, труба им в дышло, их командой жить станем. Стая сих волков ни стыда, ни греха не ведает. По райкому вижу, пять лет печником здесь отслужил. Блудуют да жируют на народных харчах. Об нашем-то великом вожде давно позабыли. Даже, бесстыдники, скоморошничают над ним. На кумаче слова евоны намалуют, вроде поминка... для виду. А сами в барины метят, козе понятно. Ихней своре по-иному править затребовалось. Стало быть, перестроят нас в свою выгоду. Хорошо, коль в живых останемся.

— Не сказы така, Егоска! Поцему? Когда беда пришёл к нам? Моя боитца.

— А ково нам с тобой бояться? Дале севера не сошлют. А он-то нам — отец родной.

— Однако, страшно, Егоска. Моя, твоя кем буди?

— А никем. Были никто — нищими, имя и погрём. Зато нутром нашим, Миша, мы куда богаче некоторых при власти. Да кто нам в души-то когда заглядывал? Простой люд для них — прах.

— Моя, однако, не знай прах.

— Ну, что ли... горсть пепла. Понял?

— Да, понимаю.

Друзья замолчали, углубившись в нелёгкие раздумья. По их старческим лицам пробежали, одна тревожней другой, недобрые тени.

— Вот думаю, Миш, об нас с тобой. Не за то мы воевали... Сынов за родину положили. А что она, власть-то, тапереча делает с нами, а? Из года в год тянулись на неё, да легче не ставало. Ты, окромя тайги да аргиша, ничего доброго не видал. Я тоже. Как и сам, силой-нутром, так и гнездовые моё войной обездолены, обкрадены. А без семейной радости, поросли в будущее како тепло может быть в доме? Так, одна вера да «надо жить» только и держат на этом свете. Охотничал да печами на хлеб зарабатывал, людям дома согривал. Всё ж, Миш, мы с тобой по совести жили, как могли. До десятого пота на страну горбились, мозоли набивали, сынков растили. Где они, кормильцы-то наши?... Твои двое в могилах братских, а души моих троих богатырей, видать, и по сей день над не захороненными телами витают. Как прикажешь тако отцову сердцу переживать, а?! Я ж их, сынков своих, любил... Тебе Господь Николку, поскрёбыша, отрадой послал да внучат полдюжины. Мы ж с Марией остались круглыми сиротами. Ни роду, ни племени.

Егор разрыдался. Михаил, смахивая с худого лица слёзы, участливо прислонился к плечу друга. Всклипывая, Дёмин тихо продолжил:

— Чужой копейки с тобой, брат, не поимели, совестились, стыдились. А эти мздоимцы, увидишь, землю родную по миру пустят, продадут и предадут её, матушку-святиню... икону нашу, от врагов во все века боронимую, спасаемую, людской кровушкой окроплённую...

— Егоска правду говори!

— До глубокой старости трудом себе хлеб-соль добываем. Тайгой, рекой кормимся. Стало быть, хоть и прах мы, Миша, да не пустой, плодородный. На нашем-то прахе всяка добрая травинка охотно вырастет, а то ягель на щипок оленю. А на их, задушенцах, вырождакх и предателях, взростится один чертополох, а либо ещё какой дурман.

Кострище остыло, гореть было нечему, и друзья отправились на взгорок за валежником. Насобирали сушняка — еле-еле доволокли тяжёлые вязанки. И вновь жаркие языки пламени согревали их старческие лица, остывшие на свежем ветру у реки.

— Миш, ты сам видал, знашь не понаслышке, что коммунистом я был принят в окопе. И вовсе не по принуждению, как тапереча злыдни калякают. По собственному большому желанию, по воле вольной, по вере в светлые, пусть и далёкие времена. А тебя, Миш, кто-то в партию насильно тянул, стращал?

— Нет-нет, так не был. Миса очень мала-мала понимай мира. Стыдно проси. Давай, Егоска, скажи всё, скажи. Дуса открой, твоя боль я сами возьми.

— Под пулями за чужие спины твой Егор Дёмин не прятался. Кровью не раз землю полил. Завсегда за отечество горой стоял. За партию... И до последнего дыха был бы с ней, кабы не стала она другой, чужой, нонешней.

— Кто есть «нонешней»?

Егор оставил его вопрос без ответа.

— Если б делами да помыслами чиста была партия, как наша Светлана Петровна! Такой до веку низко б кланялся... Одну току Семёнову из райкомовцев за коммунистку и своего секретаря признаю. Истая партийка. Не для себя живёт, для посёлка старается. Опять же, за наживой не гонится. Словами да обещаниями людям не паскудничают. Жалко, поздно пришла на смену задушенцам молодая семёновская смена. Вот кому доверил бы своё будущее! Не ошибся бы. Однако проворонила партия своё золотое времечко. Не её оно нонче, не её... Другое грядёт. И сама она другим нутром наполнилась, под другой уздой ходит — задушенской. Только в их упряжи ходить не стану. Другого табуна я конь.

Егор вдруг решительно поднялся, отыскал свой рюкзак и вытащил из него небольшой, завёрнутый в газету и перевязанный шпагатом, свёрток. Вспорол его ножом, вынул тоненькую красную книжицу и протянул Михаилу.

— Гляди, Миш, запоминай момент. Это партийный билет, подписанный Задушным при замене моего... окопного. Вовсе не тот... что вручил мне политрук в окопе перед боем и за который я бы любому выгрыз глотку. Мой родной-то друг-билетище, небось, в архивах заточён. Вот ему и останусь верен, пока бьётся моё сердце. А этот...

Егор брезгливо сморщился и бросил свою красную партию принадлежность в костёр.

— Да горите вы синим пламенем, задушенские переродыши, труба вам в дышло!

И сел рядом с другом. От волнения ли, быстрого ли отрезвления Егора бил озноб, дёргались веки, дрожали руки.

— Слышь, Миш, как волны хлебещутся? Так и бьют по вискам, по скачущему галопом сердцу... Тревожно, больно мне...

— Моя Егоску уважай, сегда вместе с Егоска!

Прошло три дня и ночи, как Егор потерял сознание несколькими минутами спустя после сожжения своего партбилета. Михаил, не отходя от него с той поры ни на минуту, отчаянно пытался вернуть друга к жизни своими таёжными премудростями да камланием.

«Миса мал-мал саман, сына самана. Над Егоской камлай делай, арван-ми делай».

Напившись настоек из лесных корней и трав, Егор беспробудно проваливался из одного сна в другой. Старый эвенк кружил над ним чудной птицей в цветном оперении. Со звенящим в его быстрых руках отцовским бубном, Михаил гортанно распевал одному ему известные заклятия, трясся в трансе до изнеможения, призывая на помощь мудрых духов и отца-шамана.

Но этой неистовой битвы за его жизнь не видел и не слышал Дёмин, находясь в глубоком забытии. В добрых снах ему светило яркое солнце, он был молодым и счастливым. Снилось, будто к нему в интернат с гостинцами приходили его приёмные родители, сидели на коленях маленькие вихрастые сынки, а он ласкал их. Целовался с красавицей Марией. Угощал за их семейным столом сигаами да лесными ягодами Светлану Петровну...

Когда Егор открыл глаза, то был удивлён Мишиному наряду. Ни о чём не спрашивая, одобрительно улыбнулся. Друг показался ему усталым, постаревшим. Но, видя на его лице радостную ответную улыбку, бодро поднялся с нар.

— Я скоренько сбегая...

У Егора было приподнятое настроение. Что происходило с ним в эти три дня, он не помнил. Боли не чувствовал, и только лёгкая дрожь в теле вернула его якобы во вчерашний день.

«Вот это порыбалили!»

Заглянув под навес, где обычно Миша держал соленья в зиму, обомлел: ни тачки, ни бочонка с рыбой там не было. И сигов на лозе тоже. «Да мы чо, сморчки старые, на берегу улов оставили?!»

И пулей влетел в чум. На полу, уткнувшись лицом в золу очага, лежал Миша. Он спал мертвецким сном, и разбудить его Егору не удалось. «А Пиратка-то где?»

Наскоро одевшись, спустился к берегу.

Там всё добытое ими добро висело и лежало на прежних местах. Пират, с чувством исполненного долга, устало потянулся и сдал Егору вахту. Голодные, не понимающие, почему хозяин так надолго оставил их на берегу, лайки, однако, не посмели нарушить его строгого приказа: «Сторози!» Освободившись от обязанностей, они мигом взлетели на взгорок, к стойбищу, где в кормушках всегда было чем поживиться.

Дёмин, ходка за ходкой, перетаскивал дорогую добычу под навес. А Михаил продолжал спать.

Уж вечерело, и тихий закат алыми лентами закружил над кедровником.

Егор сидел у чума и выстругивал себе палку-искалку с вилкой на конце для завтрашнего похода по грибы, за рыжиками да груздями.

«Вчера как-то непонятно день закончился. Помню... бросил в огонь партбилет... тот медленно тлел синим угарным прощанием.

И было больно за прожитые годы. Нет, я сказал и сделал всё верно... Дальше уж ничего не помню. Вроде и не пил лишнего».

Слегка пошатываясь, к нему шёл Михаил. Он беззубо и широко улыбался.

— Моя, однако, мало-мало спала.

— Ничего себе «мало-мало»: почитай, день-деньской продрыхал. Ране такого за тобой не примечал. Завтра по грибы пойдём.

— Ай-яй! Твоя, Егоска, один ходи. Моя есть охота, тайга.

— Да-а-а, вспомнил! Ты ж ими брезгуешь.

— Грибы — поганый. Предки говори, мама говори. Чёрный дух там зыви. Не ешь их, друг Егоска!

— Ну уж нет! От такой вкуснятины нос воротить — не царское это дело. Я сыроежки жевал, когда по подворью голой попой елозил, — и ничего! Вона вымахал, здоровенный верзила. Всю войну с тобой по стылым окопам корёжились в одних драных шинельках — и не кашлянули! Ты поёшь, Миша, сколь знаю тебя, а почитай — с малолетства, одну и ту ж небылицу: поганые, поганые. Вовсе мхом порос, пень еловый! Небось, в жильцы третьего тысячелетия попасть метишь? Так подравнивайся. В интернате нашем завсегда впереди меня поспешал.

— Моя краска не менял: тайга был, тайга есть.

— Грибы — они, конечно, деликатности требуют. А ты, поди, ешь не те, не съедобные. Хошь, покажу моего вкуса, что и сырыми не потравишься? Вот, к примеру, рыжик, грибок отменный!

— Ай-яй, Егоска... моя тоснит...

Следующий день они провели врозь, занимаясь каждый своим делом. Егор набрал короб с верхом молоденьких рыжиков, сырых мясистых груздей и чуть обозначившихся коричневой шляпкой белых грибочков. «На всю зиму наслажденье».

Михаил принёс в подарок другу дородную копалуху и трёх «зирнющих» уток. Они сидели на поляне под навесом и доводили до ума дары тайги. Вечером снова спустились к реке, развели костёр.

— Хос анекдот про цюкцю? Сына Колька науци.

Егор оживился и с любопытством посмотрел на Мишу.

— Ну, блин, даёшь! С тобой не соскучишься!

— Слушай. Сиди цюме муза с зыной. Она спроси: «Поцему все зови нас глупи, тупой?» — «Да ми — во!» — и муза стучи своя голова. «Кто-то в цюма присла!» — испугался асис — зына. «Сиди ус, моя дверь сама открой» — сказала муза.

Друзья весело рассмеялись.

— Миш, а я тебе быть расскажу... Тут по весне витютень к подворью моему прибился. Морозец в те дни лютовал. А голубок дикий, да умный. Я ему чердак открыл, он и юрк туды. Видать, здорово намёрзся. Всё живое тепла хочет. Кому непогодь по нутру? Денёк отогрелся меж сухих трав, да и отыскал в открытой сарайке старое корыто,

где осталось пшено от последних кур. Их-то до единой Мария на закусь подружкам снесла. Витютень погостевал ишо пару деньков и улетел. Было это аккурат в день Пасхи. Может, весть каку приносил, а, Миш? К чему бы, не знашь? Ты ж, лесной ведун, до всего ушлый. Меж мирами витаешь, людей лечишь. Вот и мне с тобой полегчало. — Про птица Миса знай! Егоска потом говори.

Ранним утром Егор засобирался домой. Михаил сник, запечалился. — Не горюй, друг. Приду по осени, порыбалим.

Виталий Пшеничников

Клятва

На проходной сержант доложил:

— Старший сержант Мишин из очередного отпуска прибыл!

— Что-то случилось? Почему на неделю раньше? — удивлённо спросил дежурный офицер.

— Всё в порядке, прибыл для дальнейшего прохождения службы.

— Начальник школы просил зайти по прибытии. Он сейчас у себя в кабинете.

— Здравия желаю, товарищ подполковник! Вызывали?

— Михаил! А почему из отпуска раньше времени вернулся? На тебе лица нет, и седины прибавилось, — встревожился Городков.

В одном из боёв Мишин спас от верной смерти раненого майора Городкова, приняв на себя осколки брошенной боевиками гранаты. В тот же день вертолёт, в котором вывозили раненых, был сбит бандитами и упал на склон горы. Раненый в руку Городков до взрыва баков с горючим успел вытащить из развалившегося вертолёта тяжело раненного сержанта. Остальные, кто был в вертолёте, погибли. С той поры Городков, получивший чин подполковника, с отеческой нежностью относился к спасшему его жизнь парню.

— Любимая девушка погибла! — едва слышно сказал сержант.

— Прими соболезнование! Что делать? Господь всех рано или поздно к себе призывает! Кому как на роду написано. Но жизнь продолжается! Пришёл приказ направить наш выпуск в Чечню, в Грозный. Ты у нас командир обстрелянный, назначаю тебя старшиной сводной роты выпускников школы армейского спецназа. В Грозном сдашь бойцов в военный комиссариат, вернёшься к месту службы.

— Товарищ подполковник! Я прошу перевода на передовую, в зону боевых действий. Поймите правильно, привык к опасности, к боям, в тылу служба не для меня!

Внимательно посмотрев на сержанта, офицер подумал: «Настоящий солдат. Не стоит чинить препятствий, всё равно уйдёт».

— Жаль отпускать, но я тебя понимаю! Сам ходил к командиру дивизии с рапортом о направлении в зону боевых действий. Но получил нагоняй. Генерал сказал, что такие люди, как мы, на вес золота и должны передавать боевой опыт молодым бойцам. Если сумеешь договориться в военкомате, я дам добро на перевод. Причина уважительная, молодых спецназовцев будешь учить выживать в боевых условиях.

— Спасибо товарищ подполковник!

— У меня к тебе просьба личного характера. Три года назад в боях за Грозный я был ранен и ненадолго попал в плен. Бандит Алибек, по кличке Бешеный бек, на моих глазах надругался над женой и дочерью, потом зверски убил... Сердцем чувствовал, что этот шакал был там, на перевале. Но меня ранили, не успел покарать его. Если встретишь на дорогах войны, напусти ему Грозный, отомсти за близких мне людей! — сержант видел, как на глазах подполковника заблестели слёзы.

— Клянусь! Он умрёт страшной смертью!

— Я тебе верю, сержант! Иди получай проездные документы, завтра рота грузится в машины — и на аэродром. Береги себя, я надеюсь увидеть тебя живым! — подполковник крепко пожал руку старшему сержанту, а когда за ним закрылась дверь, смахнул набежавшую слезу.

Он знал, что из прежнего выпуска школы армейского спецназа в живых осталось не более двух десятков бойцов, остальные с честью погибли либо были ранены в боях. Бандиты спецназовцев в плен не брали. Но и спецназовцы живыми не сдавались, дрались до последнего патрона, оставляя для себя гранату; подрываясь, уносили с собой жизни десятков врагов.

Утром командиры построили личный состав школы. Курсанты были вооружены автоматами, имели полную экипировку — до котелков и сапёрных лопат. Командир училища подполковник Городков выступил с краткой напутственной речью, поздравил с окончанием школы армейского спецназа, пожелал бывшим курсантам боевых успехов.

На аэродроме в Грозном бойцов встретили представители военкомата с «покупателями» из войсковых частей. Один из офицеров показался знакомым, и сержант подошёл к нему.

— Товарищ капитан! Разрешите обратиться!

— Обращайся, сержант. Какие вопросы?

— Вам не приходилось служить под началом майора Городкова? Вы тогда возглавляли подразделение ВДВ, приданное спецгруппе войскового спецназа!

— Голос знакомый! Дай я на тебя внимательней посмотрю! Неужели сержант Мишин? Ты ли это? Мы считали, что ты погиб в сбитом бандитами вертолёте, вместе с ранеными! Чудеса, да и только!

Старшина рассмеялся:

— Живой! Что со мной случится? Вытащил меня из разбившейся вертушки майор Городков, в одном госпитале лежали!

— Как??? И майор Городков жив! Чудны Твои дела, Господи! Вас давно схоронили! — глядя широко раскрытыми глазами, удивился капитан Катков. Придя в себя, сказал: — В рубашках родились!

— Я был без сознания, когда подбитый ракетой «духов» вертолёт упал в ущелье...

Михаил рассказал капитану о том, как они спаслись из объётого пламенем вертолёта, как раненый майор Городков оттащил его,

находившегося без сознания, от полыхающей от разлившегося из пробитых топливных баков керосина машины.

— Короче, мы выжили. После госпиталя я служил под началом Городкова. Теперь он командует школой спецназа. За тот бой мне присвоили звание Героя России!

— Ну, ты, брат, загнул. Сразу Героя? — усмехнувшись, не поверил капитан.

— Посмотрите, здесь есть запись о наградах! — старший сержант протянул военный билет.

Прочитав, тот удивлённо посмотрел на Мишина:

— Впервые близко вижу Героя России, разговариваю с ним! Поздравляю! От всей души поздравляю!

— Товарищ капитан, и вас надо поздравить с внеочередной звёздочкой!

— Да! Недавно присвоили, обмыть не успел, за пополнением отправили. А ты как здесь оказался?

После смерти от рук бандитов любимой девушки парень перестал бояться смерти, целью жизни стала месть. «Бандиты несут людям зло, какой бы масти и национальности они ни были! Кто взял в руки оружие, чтобы пролить невинную кровь, стал для меня кровным врагом! Надо любыми путями перевестись в подразделения, участвующие в уничтожении бандформирований! А здесь такая встреча, знакомство надо реализовать!» — подумал сержант, обращаясь к капитану:

— Привёз выпуск из школы армейского спецназа. Не лежит у меня душа служить в тылу, возьмите на передовую, на любую должность.

Скулы капитана заострились.

— Ты хорошо подумал?! За год боёв мало кто из твоего призыва в живых остался. Многие погибли, другие уехали домой калеками, некоторые до сего времени лежат в госпиталях. Подумай! Ты своё достойно, с честью отвоевал!

— Срочной службы два неполных месяца осталось. Потом останусь служить по контракту. Не нравится мне в тылу, не могу себе места найти! Возьмите, не пожалеете!

— Если не шутишь, с удовольствием возьму, у меня должность старшины свободна. Как можно отказать Герою России? Давай документы. В военкомате Грозного есть знакомый старлей, он это дело быстро уладит. Это моя палатка, приходи к восемнадцати, звёзды и награды обмоем! — показал капитан.

— Спасибо! Я оправдаю доверие! — едва сдержал радость Мишин.

Он с трудом верил, что так буднично и просто сбылась его мечта: он будет участвовать в боях.

... Долго не гас свет в палатке капитана Каткова. За столом из не струганных досок, на ящиках из-под патронов, сидели боевые офицеры. Они заставили Михаила опустить в стакан с водкой Звезду Героя и выпить до дна. Мишин был счастлив: в военной сутолоке

и полной неразберихе он нашёл однополчан и так просто решил вопрос о переводе.

На третий день капитан Катков пригласил старшину и прапорщика Морозова, воевавшего по контракту.

— Получены разведданные, что на колонну автомашин с боеприпасами, которую командование намерено направить из Грозного в Шали, готовится нападение бандитов. Они постараются любой ценой захватить боеприпасы. Для них это очень удобный случай — одним ударом решить проблему обеспечения бандформирований патронами, гранатами и взрывчаткой. Не мне вам говорить, как у них поставлена разведка, «духи» знают о каждом нашем шаге. В связи с этим нам приказано в течение трёх дней скрытно выдвинуться на огневой рубеж к подножию горы Тон-юрт и, сохраняя режим секретности, установить визуальный контакт с бандформированием, сообщить о месте его дислоцирования, численности. Наша группа, сопровождая колонну, ударами с тыла должна уничтожить засады боевиков в «зелёнке» на пути движения, любой ценой предотвратить захват колонны. Потеря боеприпасов позволит несколько месяцев вести активные боевые действия бандформированиям. А это людские потери! Группа будет высажена с вертолётa в пяти-семи километрах от предполагаемого места базирования боевиков. Для участия в операции будет привлечена часть прибывших выпускников школы армейского спецназа. Их отберёт старшина Мишин. Всем иметь по два боекомплекта. С вопросами по тыловому обеспечению обращаться к старшему лейтенанту Дёмину. Вылет сегодня в двадцать три часа. Сверим часы. Если нет вопросов, все свободны.

Вертолёт, в сгустившейся тьме благополучно доставив десант в точку выброса, зависли над землёй. Как только последние ящики боеприпасов были сброшены на землю, «вертушки», взревев турбинами, растворились в ночном небе. Старшина приказал разбить лагерь. Вчерашние курсанты быстро поставили небольшие палатки, поверх натянули маскировочные сети. Отдав команду «отбой», Мишин с тремя курсантами пошёл на разведку окрестностей. Вернувшись через два часа, доложил:

— Товарищ капитан! Вокруг лагеря чисто, высадка прошла удачно. Обследовали территорию на полтора-два километра по кругу, следов присутствия бандформирований не обнаружено!

— Хорошо! Бойцов отправь отдыхать. Возьми трёх бойцов из школы спецназа, надо выставить боевое охранение с юга, со стороны гор. Оттуда наиболее вероятно могут появиться «духи». Помни, бой принимать в самом крайнем случае, если вас обнаружат!

Забросив на плечо ручной пулемёт, в ночном мраке увёл сержант бойцов в сторону гор. Он выбрал позицию за небольшой возвышенностью, прикрывающей боевое охранение со стороны гор и ночного леса. Расставив спецназовцев и приказав им не спать, пошёл разведать

окрестности. Отойдя километра на три от охранения, в тишине ночного леса услышал неясные голоса людей, долетавшие откуда-то снизу.

Затаившись, опустился на траву, стал рассуждать: «Если лагерь где-то поблизости, должны стоять часовые! Надо ждать смены, иначе могу напороться на засаду, наделаю много шума!»

Прислонившись к стволу дерева, слился с ним. Просидев более часа, услышал шаги: в его сторону шло несколько человек. «Духи даже не скрываются, наверняка не видели выброски десанта», — думал старшина, поближе подтягивая пулемёт. Разводящий остановился, негромко крикнул на чеченском языке:

— Мустафа, ты что, заснул? Это не пески Эфиопии, здесь ещё и стреляют!

— Обижает, брат Шамиль! Я знаю, что такое дозор! Аллах свидетель, даже глаз не сомкнул! — оправдывался боевик, выходя из густого куста орешника в двухстах метрах от старшины.

«Врёт, мерзавец! Если бы не спал, то увидел бы, как я подошёл», — усмехнулся Михаил.

— Что видел в дозоре? — спросил разводящий.

— Ни одна ветка не треснула, ни одна птичка не вспорхнула! — самозабвенно врал бандит.

Стараясь не отставать от караула, Михаил шёл по ночному лесу и вскоре оказался на окраине небольшой поляны, заставленной автомобилями. В темноте, разбавленной призрачным светом луны, насчитал пять грузовиков и четыре «уазика». Они стояли под маскировочными сетями, надёжно укрытые от обнаружения с воздуха.

«Как им удалось в распадок загнать технику по бездорожью? Серьёзно подготовились, сволочи! Но у русских говорят: на чужой каравай рот не разевай!» — усмехнулся разведчик и начал постепенно отходить. Он благополучно прошёл между секретами, сделал многокилометровый крюк к горам. Сбитая им с травы роса могла привести бандитов к лагерю десантников. Бойцы охранения не заметили, как он подошёл сзади и отозвался:

— Тихо, это я — старшина. Ребята, плохо службу несёте. Вас в учебке учили, что от бдительности в дозоре зависит ваша жизнь и жизнь товарищей. Вы подпустили меня не только на бросок гранаты, но и на расстояние применения оружия рукопашного боя! Если хотите жить, надо утроить бдительность. За меня остаётся ефрейтор Спичкин, я ухожу в расположение лагеря.

Отойдя с полкилометра, Мишин пересёк чужой след, хорошо заметный при лунном свете на оббитой от росы траве.

«Странно, след идёт со стороны гор, прошли три человека, двигались прямо на лагерь десанта!» Он, побежал по следу, стараясь прикрываться деревьями и кустами. Увидев впереди какое-то движение, упал между деревьями. Ему навстречу быстро, почти бегом, двигались «духи».

«Их разведка засекла лагерь десанта! Теперь надо ждать нападения. Сволочи! Далековато идут по лесу, стрелять бесполезно, только шум подниму!» — думал он, глазами провожая бандгруппу.

Подойдя к капитану, доложил результаты разведки. На карте уверенно указал место базирования транспортных средств, рассказал о том, что разведка противника засекла базу десанта.

— Значит, скоро банда будет здесь. Надо немедленно свернуть лагерь, передислоцироваться в другой район! Но успеем ли до подхода бандитов? — обратился капитан к старшине.

— Это займёт много времени, бойцы не успеют занять позиции! — качал головой Мишин.

Немного подумав, капитан приказал стоявшим рядом офицерам: — Поднимите бойцов! Тихо выведите и рассредоточьте полукольцом вокруг базы. Пусть подыщут естественные укрытия, деревья, неровности рельефа. С собой взять только оружие и боеприпасы. Палатки, как приманка, пусть остаются, они на них клюнут! Не мешкайте! Через час «духи» будут здесь. Два пулемёта поставить на флангах, один в центре цепи. Когда банда ворвётся в лагерь, открыть огонь на поражение. Их раза в три больше! Хорошо бы расставить сюрпризы возле палаток. В темноте наверняка сработают.

— Палатки жалко, — подал голос старший лейтенант Ковтун, но, подумав, махнул рукой: — Потерявши голову, по волосам не плачут. Я поставлю растяжки, приму бандитов, как дорогих гостей!

— Твоя группа остаётся в засаде. В бой не вступать. Перехватите их при отходе от лагеря. Задача ясна? Выполняй, старшина! — приказал капитан.

— Слушаюсь! — ответил Михаил, исчезая в ночи.

Офицеры рассредоточили бойцов подковой на окраинах ложбины, в которой находился лагерь десантников. По-прежнему стояла тихая ночь. В одной из палаток играл транзисторный приёмник, музыка была слышана на большом расстоянии от якобы крепко спавшего лагеря.

Последним покинул лагерь старший лейтенант Ковтун. Он расставил растяжки на подходах к палаткам. К забитым в землю кольшкам, кустам изоляционной лентой прикрутил гранаты-лимонки, к кольцам привязал растянутую тонкую проволоку. Усы предохранительной чеки гранат были разогнуты. От малейшего прикосновения к проволоке вылетала чека гранаты, через три секунды гремел взрыв, поражая осколками неприятеля.

— Алибек, в пяти километрах от нас спокойно спят гяуры! Человек двадцать! — доложила прибежавшая в лагерь разведка.

— Ты что говоришь, уважаемый Рашид?! Откуда здесь солдаты неверных?

— Они стоят в ложине. Дозорные спят, я подползал очень близко! Клянусь Аллахом, в одной из палаток играет радио.

— Абдулла, поднимай людей! До дороги пять километров, никто не услышит, как мы вырежем этот сброд неверных! Возле машин остаются водители и три человека охраны, остальным срочно выступать! Да поможет Аллах в нашем правом деле! Аллах Акбар! — огладив бороду, Алибек вознёс руки к небу.

Группа боевиков полукольцом скрытно приблизилась к лагерю со стороны гор.

— Ты прав, Рашид, неверные так обнаглели, что не выключают радио на ночь. Пионерский лагерь, да и только! Но почему нет охранения, часовых? Это меня настораживает! — тихо спросил командир.

— Не беспокойся, Алибек, они и два часа назад спали, тёпленьких возьмём! Возле возвышенности у них один пост, второй — возле того дерева, уберём часовых без звука, — показал разведчик.

Два человека, сливаясь с травой, быстро поползли в указанных направлениях. Вскоре с той стороны, куда уполз один из бандитов, раздался сдавленный хрип.

«Отползала змея гремучая», — подумал один из спецназовцев, вытирая от крови нож об одежду боевика. Второй разведчик бандитов, приподнявшись, чувствуя плотно прижатый к спине ствол автомата, жестами показывал, что пост пуст.

— Вперёд, воины ислама! Покажем гяурам, какого цвета их кровь! Аллах Акбар! — закричал Алибек и, стреляя на ходу из автомата, побежал вместе с другими к палаткам.

Бандиты бросились к лагерю федералов, поливая палатки из автоматов. Рашид, правая рука Алибека, сжимая кинжал, бежал впереди всех. Вдруг ему показалось, что в траве что-то серо блеснуло. Он нагнулся: рядом с ним на воткнутой в землю палке висела граната, на траве лежало выдернутое кольцо с чекой. Он не успел раскрыть рот, как в том месте, где он присел, вырос огненный куст взрыва, за ним второй, третий...

Бандиты так и не добежали до палаток: со склона их встретил плотный огонь автоматов и пулемётов. Стоявшие на флангах пулемёты федералов не давали «духам» возможности рассыпаться и скрыться в лесу. Отстреливаясь, они залегли и стали отползать. Животный страх гнал их обратно в спасительную темноту ночи. Но тьмы уже не было, в воздухе лопались и горели осветительные ракеты, со всех сторон в упор били автоматные и пулемётные очереди. Там, где ползли бандиты, рвались гранаты, выпущенные из автоматных подствольных гранатомётов.

— Отходим, отходим! — закричал Алибек. — Всем отходить! Засада!

Только пять человек вырвались из огненного кольца. Они бежали по своему следу, видному на росистой траве. Неожиданно сбоку ударил ручной пулемёт, густо посыпая свинцом, и тут же его поддержали автоматы. Последнее, что увидел Алибек в этом бою, — как в круг его бойцов, сбившихся спина к спине, упала лимонка. Её взрыв разметал отстреливающихся бандитов.

— Не спускать глаз с боевиков, при малейшей попытке скрыться — стрелять на поражение! — приказал старшина и сделал рывок к бандитам.

Один из боевиков подавал признаки жизни. Быстро перевернув на живот, Мишин подтащил его к дереву, охватил руками ствол и застегнул наручники на запястьях. Теперь враг не сможет убежать, будет ждать, пока его не освободят. Раненый бредил, кричал негромко: — Аллах Акбар!

— Акбар, Акбар! — усмехнулся старшина, обыскивая одежду и забирая документы и небольшой кинжал в металлических ножнах.

Вскоре появились бойцы десанта, разгорячённые боем.

— Старшина, где ты видел машины? Попробуем ворваться в лагерь на плечах уцелевших бандитов! — спросил Катков, доставая карту.

— Таковых нет, все уничтожены, только один ранен, похоже, командир! Наручниками к дереву пристегнул. А стоянку бандитов и без карты покажу!

Подхватив пулемёт, старшина направился к базе боевиков.

— Молодец! Надо быстро выдвигаться к месту стоянки транспорта. Они ждут победителей, мы и придём в гости. Надо спешить, скоро рассвет. Продолжить движение за старшиной! — вполголоса приказал капитан.

На ходу старшина доложил:

— Товарищ капитан! Я знаю два секрета; на подходе к лагерю надо бесшумно снять часовых, тогда у нас будет шанс на внезапную атаку.

— Займись одним, а мне покажи, где сидит второй! — сказал Катков, снимая плащ-палатку.

Соблюдая осторожность, солдаты рассыпались в цепь, охватывая подковой лагерь противника. Ползком приблизившись к часовому, Мишин увидел, что тот курит, держа окурки в рукаве ватника. Рядом стоял прислонённый стволом к дереву ручной пулемёт. Когда бандит в очередной раз нагнулся, затаиваясь дымом сигареты, то не успел сообразить, что случилось. Мишин прыгнул на него, зажав ладонью рот, нанёс удар ножом в спину. Тело бандита обмякло, он беззвучно опустил его на траву. Вложив нож в ножны и подхватив ручной пулемёт бандита, старшина сделал рывок к лагерю. Наткнувшись на неглубокую траншею, укрылся в ней, осмотрелся. За изломом стоял дзот. Стараясь не шуметь, подошёл к двери: в нём спали три человека. Достав гранату, выдернул кольцо, стал ждать начала атаки. Третий часовой, которого не удалось снять тихо, с противоположной стороны ущелья открыл огонь.

Выдернув кольцо и сосчитав до двух, старшина бросил гранату в огневую точку. Грохнул взрыв, пламя вырвалось из бойниц. Поставив трофейный пулемёт на бруствер, он поймал в прицел пульсирующий огонёк автомата дозорного, дал длинную очередь. Автомат захлебнулся.

От машин раздалась редкая беспорядочная стрельба, но темнота мешала прицельному огню, была союзником нападавших.

«Сейчас добавлю вам света!» — Мишин прицелился и выпустил очередь в бензобак грузовика. Он видел, как в ночи пули выбивали искры, встречаясь с металлом. Раздался хлопок, и бензобак взорвался, раскидав далеко вокруг сгустки горящего бензина.

— Стрелять по бензобакам! — крикнул капитан, выпустив из автомата очередь в борт стоявшего в ста метрах от него «уазика».

Но вспышки не последовало. «Промахнулся!» — он плюнул с досады; прицелившись, сделал несколько одиночных выстрелов. Сноп огня поднялся над машиной. Метавшиеся бандиты были видны как на ладони. Не находя места, где можно было укрыться, прекратив сопротивление, вышли от пылающих машин к нашим бойцам с поднятыми руками.

— Ближко не подходить! — крикнул старшина, но опоздал.

В гуще боевиков взорвалась лимонка. Оставшихся в живых бандитов добила разозлённые коварством противника бойцы.

— Хорошая работа, ребята! Все убедились, что значит разведка! Благодарю за службу, старшина! — капитан крепко пожал Мишину руку.

— Служу Отечеству!

— Бойцы! Нам предстоит выполнить второй этап операции. Немедленно выдвигаемся к дороге, рассыпавшись в цепь, прикрываем её от нападения бандформирований. Старшина, доложите о раненых! — Два курсанта с лёгкими ранениями конечностей, помощь врача не требуется! Товарищ капитан, возьмите документы пленного, которого я приковал наручниками к дереву.

Он видел, как побелело лицо капитана.

— Тебе повезло! Это полевой полковник Алибек, по кличке Бешеный бек! Ему есть что рассказать нашей разведке. Но терять времени не будем: выживет — заберём после боя! — приказал капитан.

Услышав имя пленённого им бандита, Михаил обрадовался: «Разведка обойдётся и без показаний Алибека! Пришла пора ему держать ответ за свои злодеяния! Наверняка суд оставит его живым! Я поклялся и должен свершить правосудие здесь и сейчас!»

— Товарищ капитан, пробегусь, посмотрю вокруг. Догоню вас на марше!

— Правильно мыслишь, старшина, разведка — главное в воинском искусстве! Иди, но быстрее возвращайся. Может, дать бойцов?

— Один справлюсь. Только пулемёт с собой возьму!

Подхватив отбитый у бандитов пулемёт, он растворился в серой пелене рассвета.

Безошибочно выйдя к дереву, возле которого оставил раненого, услышал брань. Подойдя ближе, увидел, что бандит пытается снять наручники.

Убивать безоружного, даже зная, что он пролил много невинной крови, было не в правилах старшины Мишина. Сняв с пояса кинжал, отобранный у пленённого бандита, небрежно, чтобы он выпал, засунул в карман брюк.

— Как раз вовремя! Давай помогу! Приказано доставить к командиру! — опускаясь на корточки, ключом открывая наручники, сказал он.

В это время из кармана выскользнул кинжал и упал у ног бандита.

«Теперь мы на равных! Ты не упустишь возможность всадить мне нож в спину!» — улыбаясь, думал Мишин, боковым зрением фиксируя действия боевика.

«Слава Аллаху! Ты сдохнешь как собака, проклятый гяур!» — захлёбываясь радостью, думал бандит, которому не было равных в рукопашном бою.

— Вставай, иди вперёд! — разгибаясь, приказал старшина.

Доли секунды было достаточно, чтобы в руке Алибека блеснул подобранный с земли кинжал. Он занес руку для удара в шею ненавистному гяуру. Молниеносно обернувшись, Михаил перехватил его руку с кинжалом; выхватив из ножен десантный нож, сделал выпад. Почувствовав нестерпимую боль в животе, Алибек выронил на траву свой старинный кинжал. Этот смертельный удар Мишин отработывал сотни раз: клинок ножа, проходя через брюшину, повреждал кишки, пробивал печень противника.

Раненый услышал спокойный голос:

— Вот и окончен твой позорный земной путь, самозванный полковник, Бешеный бек, или как тебя ещё зовут? Разве ты солдат? Разве ты бек? Ты гиена, падальщик, шакал вонючий, умеешь только сзади нападать и воевать с женщинами и детьми!

— Клянусь Аллахом! Я никогда не марал своих рук кровью женщин и детей! — едва слышно ответил пленный, зажимая рану окровавленными руками.

— Короткая у тебя память. Вспомни Грозный, жену и дочь раненого майора Городкова! Ты надругался над беззащитным ребёнком и женщиной, зарезал их на глазах майора! Он — мой кровный брат, просил передать тебе проклятье!

Старшина видел, как поникла голова Алибека, понял, что тот всё помнил.

— Вижу, что помнишь свои кровавые злодеяния! Пришло время умереть и тебе страшной смертью, — старшина поднял с земли кинжал, вложил его в ножны, усмехнулся. — Оружие тебе не пригодится, скоро подохнешь как собака! Будешь умирать долго, мучительно, как умирали жертвы, над которыми ты глумился. Пусть мучения послужат искуплением грехов...

— Пристрели меня, ради Аллаха! Умоляю, пристрели! Меня заживо съедят муравьи и комары! — кричал Алибек.

— Чего кричишь? Ты не бек, не солдат, ты — худшая из женщин! И нет тебе прощения, шакал! — отворачиваясь, с презрением произнёс Михаил.

Изо рта бандита летели хлопья пены, у него начался припадок. Он знал, что с ранениями в живот умирают долго, в страшных мучениях. Трусливо и громко визжал, умоляя пристрелить его.

Но старшина спецназа уже не слышал бандита, уходил в «зелёнку», забросив на плечо пулемёт. Уходил с чувством исполненного долга. При встрече ему не будет стыдно смотреть в глаза подполковнику Городкову: он сдержал данную ему клятву, оборвав в честном поединке жизнь кровавого бандита.

Сергей Кузнечихин

Из рассказов Петухова
Алексея Лукича

ав п ав тол ко п ав

Приятель воротился из Северо-Енисейска и рассказал забавную историю.

Местный мужик заглянул после работы в забегаловку, а потом, уже возле дома, хотел перепрыгнуть через лужу, поскользнулся и сел. Зарплата в заднем кармане лежала. Приплёлся домой, жена уже спит. Быстренько разделся — и под бочок. Утром достал получку — а деньги-то мокрые и в грязных разводах. Сюрприз неприятный, но не смертельный. Прополоскал их в раковине и разложил на подоконнике сушиться. Только управился — надоедливый сосед за спичками пришёл. Увидел выставку, глаза до шестой пуговицы вытянулись, пальцем на ассигнации показывает и спрашивает шёпотом, словно вспугнуть боится: «Откуда они такие? Неужели в форточку надуло?» А мужик, не будь дураком: «Ночью напечатал, — говорит, — теперь сушу».

Сосед спичками разжился, пообещал с получки целый коробок вернуть и бочком, бочком к двери. Мужик доволен, что напугал и быстро выпроводил лишний рот, нашёл заначенное на доньшке, подлечился, собрал деньги, чтобы к приходу жены было всё аккуратненько, включил телевизор и задремал. Но поспать не дали. Новые гости заявили. Один в форме, двое в штатском.

«Почему долго не открывал?» — интересуются. «Спал, — говорит. — И телевизор громко работает». — «А где аппарат?» Мужик хоть и с похмелья, но смекнул, кто успел настучать. «У соседа», — говорит.

Серьёзные гости и эту версию не оставляют без внимания. Врываются к соседу. А тот самогонку гонит. Аппарат на плите, под змеевиком литровая банка с прозрачной жидкостью. Это московские артисты в кино мутную пьют, а у народных умельцев самогоночка чище слезы ребёнка.

Для человеческих внутренних органов качество продукта весьма привлекательно, а государственные внутренние органы на качество внимания не обращают и привлекают за другое.

Аппарат конфисковали, а самогонщику выписали штраф и сообщили по месту работы для дальнейшей проработки.

И поделом, и по делам.

Недели через две я встретил Анатолия Степановича и рассказал эту историю. Он — в хохот. Оказалось, что случай этот описан в «Литературной газете». Писателю какому-то живые люди поведали. Дело было

якобы под Архангельском или у вологодских. В любом варианте — на почтительном расстоянии от Северо-Енисейска. Кстати, если кто не знает, посёлок этот к великой сибирской реке не имеет никакого отношения, между ними две с половиной сотни приключенческих километров, но это так, для справки. Дело в другом: приятель мой рассказал историю с аппаратом раньше, чем газета вышла, да и газет он никогда не читал.

Значит, гуляла байка с перелётными бичами, обрастая пёстренькими пёрышками подробностей. Может, её вообще кто-то выдумал, а может, и взаправду где-то что-то похожее приключилось — проверить некому.

Но всем хочется быть очевидцами.

Слушайте дальше.

У близкого родственника моего дальнего знакомого с подружкой курьёз произошёл. Кстати, тоже после полочки. По магазинам прошвырнулась, купила что-то по мелочи. Молочный коктейль выпила. Ну и приспичило. С кем не бывает. Так ведь не мужик, чтобы за телефонную будку встать. Забежала в подъезд, присела под лестницу, а там какой-то бомж отдыхал. Когда мощная струя ударила в голову, бедняга спросонья отмахнулся и шлёпнул дамочку по интересному месту. Невзначай, разумеется. Она с перепугу вскочила и — дёру. Через квартал опомнилась. И сумочка с зарплатой, и пакет с покупками в чужом подъезде под лестницей остались. Побежала выручать, но бомж её не дождался. Она — в милицию за помощью. Рассказала всё как на духу, а принципиальные стражи порядка выписали штраф. Деньги невеликие, но могли бы и сочувствие проявить.

Историю эту впервые услышал в Иркутске. Потом в Красноярске. Потом в Чите. А в Новосибирске мне даже дом показали, в посёлке оловозавода. Там Бугринская роща рядом, но берёзы — не ёлки, растут редко, под ними не спрячешься, а народу много гуляет. Придумали вроде логично, да не учли, что вторично.

Под копирку срисовали.

Могу и продолжить.

Всем известно, что солнечное Забайкалье чудесами переполнено. Народ там смекалистый. И случилось так, что женщина из котлонадзора приехала принимать объект после ремонта. Заглянула в верхний барабан котла — вроде всё терпимо. Будь инспектором похмельный мужик, наверняка бы поленился внутрь заползть. А эта, вредная, решила трубы проверить. И застряла в люке. Верхняя часть тела в барабане, а самое драгоценное — снаружи. И конечно, первыми к месту трагедии подоспели монтажники. Ну как тут не воспользоваться? Рвачи своего не упустят и чужое прихватить не постесняются.

Лично я в эту байку не верю. Не срастаются концы с концами.

Во-первых, не припоминаю инспекторов котлонадзора женского пола.

Во-вторых, трудно найти задницу, чтобы в люке застряла. Разве что в мечтах. А в жизни всё калибруется по ГОСТу.

В чьих мечтах, спрашиваете?

Да в любых. Независимо от пола. И те, и другие горазды выдавать желаемое за действительное.

И в-третьих, с какой стати монтажникам лишний грех на душу брать? Такое могли придумать только эксплуатационники, чтобы отомстить котлонадзору за все издевательства и унижения: дескать, не только они нас — но и мы их при случае можем, а заодно и монтажников опозорить. Короче, каково винцо, таково и здравьицо.

Один кочегар из Кызыла эту байку мне слово в слово пересказал, но заверил, что всё имело место на соседней котельной. Я возразил, что раз пять уже слышал про это и на Востоке, и на Севере.

Он лысину почесал и говорит: «Ничего удивительного. Может, ей понравилось, вот и мотается по всей Сибири, чтобы застревать».

Без Москвы тоже не обошлось. Как же без неё, родимой?

История такая. Приезжает сибирская баба в столицу. Приходит в столовую. Берёт первое, второе, третье — выбор небогатый. Идёт с подносом между столиками, видит — негр сидит. Рядом свободный стул. А негров до этого только на картинках и в кино видела. В Сибири они не водятся. Бабе любопытно посмотреть, как он жуёт и какого цвета у него язык. Сгрузила свои тарелки и пошла за шанцевым инструментом, то бишь за вилкой с ложкой. Возвращается, пожелала соседу приятного аппетита, чтобы культуру показать, и не спеша принялась хлебать жиденькие щицы. Старается ложкой не стучать и чавкать потише, но замечает, что не только она за негром подглядывает, он тоже на неё пялится, и не украдкой, а во все перепуганные глазищи. Улыбнулась ему, чтобы не переживал: не в Америке, чай, никто его обижать не собирается. Но всё равно неловко. Уже и не рада, что любопытство проявила. Торопится, не до этикета стало. Со щами разделалась. Котлету не жуя проглотила, благо что она и без неё пережёвана. На негра глаза боится поднять. Потом чует — кто-то за спиной сопит. Оглядывается — другой негр. Глаза скосила и видит, что за соседним столиком — ещё один. Такой же! И почему-то смотрит на неё. А на столике того, третьего, негра стоят нетронутые первое, второе и третье. Увидела и всё поняла. С перепуга чуть компотом не захлебнулась. Извиняться и объяснять смелости не хватило. Испугалась, как бы лишнего чего не болтнуть.

Бабёнка эта из Прокопьевска в столицу приезжала. Но и в Абакане такая нашлась. И в Туруханске...

Нечто похожее и про мужика слышал. Только он, естественно, к негритянке подсел.

Но все эти истории прошу не путать с розыгрышами. Там другая подкладка. Спланированная и подготовленная, а не шитая белыми нитками. Розыгрыши, они действительно могут повторяться в разных

местах и с разными действующими лицами. Возьмём, к примеру, шутку с человеческим продуктом, от которого мы, кряхтя, освобождаемся по утрам. Здесь, конечно, определённые условия нужны. В городской квартире или гостинице такое не провернёшь. А на природе, когда эта процедура проходит под кустами или в дощатой будочке за баракон, — очень даже удобно. Сел человек покряхтеть, а шутник за кустом с совковой лопатой спрятался. Подставил лопату под кучку, а потом аккуратненько и без лишнего шума убрал. Человек освободился от переработанных продуктов питания, поднялся с лёгкой душой, оглянулся... А за ним — пусто. Исчезло оно. По всем законам должно присутствовать, а его нет! Куда делось? И начинается паника. И ходит человек целый день в глубокой философской задумчивости, стесняясь поделиться с друзьями.

Сам я такую шутку ни над кем не учинял и не попадался на неё, но слышал о ней многократно. Анатолий Степанович говорил, что в трёх книгах читал про это. А он врать не будет.

Зато другие горазды.

Только не Петухов! Алексей Лукич перед вами как на суде: правду, правду и только правду.

Ну, если самую малость привру, так, опять же, о вас, родимых, заботясь, чтобы не скучно было вам.

о сне н к

Кто подснежников не видел? Но можно прожить всю жизнь на Волге и быть уверенным, что они голубые. А для сибиряка они — фиолетовые. Для норильчанина — красно-белые.

Не верите, что в Норильске подснежники растут?

Напрасно! Травы на газонах нет, это правда. А подснежников — заросли. Когда в мае сходит снег, весь асфальт возле общаг завален треугольными упаковками из-под молока. Были такие пирамидки из непромокаемого картона ёмкостью в один литр. Белые, с красными буквами, — очень впечатляюще выглядели на сером фоне. А зима в Норильске долгая, так что цветники собирались очень даже густые.

Но был ещё один вид подснежников. Профессионального спорта, как и проституции, у нас не было. Утомлять спортсменов работой власти почему-то боялись. Но без зарплаты не проживёшь. Вот и числились они: кто — слесарем, кто — шофёром, кто — аппаратчиком...

Нет, не партаппаратчиком, туда молодых не допускали. Аппаратчиком химического производства, например. Там, между прочим, надбавки за вредность положены и бесплатное молоко. Посылать за ним свою родню спортсмены, мне кажется, стеснялись. А когда талоны на водку ввели — другие ставки и приличия другие. Хабаровские ребята рассказывали, что папаша хоккеиста Могильного получал. Сынок дезертировал из ЦСКА и прятался от трибунала в Канаде, а хабаровская прописка оставалась. Значит, всё по закону. Распишишь

в жилконторе за талоны и войой с распроклятым зельем за себя и за того парня. Может, и завистники выдумали. А может, и...

Всякое может быть.

В Белове, помню, поселили в двухместный номер. Вечером приходит сосед с бутылкой. Выпили, разговорились. Парень на какой-то турнир по хоккею с мячом приехал. Молодцу тридцать второй годик шёл, а он ещё ни дня не работал. Со школы в «подснежниках» числился. Летом — футбол, зимой — хоккей. И всего-навсего перворазрядник. Не мастер даже. Пацаном два сезона поиграл за «Кузбасс», отчислили за нарушение режима. А потом... то за одну шахту, то за другую голы забивал. С горняками не сыграешься — можно и в заводскую команду перейти: район-то индустриальный, и каждому заводщику нужны парни, способные их честь защитить. Я на бутылку кивнул. Отмахнулся.

«Пока не мешает,— говорит.— Русский хоккей — игра весёлая, на свежем воздухе, на морозе сто грамм не повредят, только удали прибавят».

Так ведь не только спортсменам — даже родителям их от этих щедрот перепадало. Не сказать, что чистыми «подснежниками» были, но тоже цвели. Не так ярко и не совсем под снегом, на работу приходили не только зарплату получать, а пять раз в неделю, как обычные труженики.

Мальчишка из нашего города на «Кожаном мяче» звезданул. Питерцы вундеркинда заметили и быстренько оформили в спортивный интернат. А поскольку ребёнок несовершеннолетний, пришлось отца в нагрузку брать, угол предоставлять и рабочее место. Три или четыре сезона отыграл парень за «Зенит», потом перешёл в «Торпедо». Сытным калачом переманили, а может, и не сыгрался. Разное поговаривали. Короче, вали волку на холку, серый всё вывезет. Дело в другом. Взросленьким стал. В Москву уже без родителя поехал.

Папаша вернулся в родной город. И наш начальник взял его к себе. Слава — штука соблазнительная. Даже чужая греет. Ею и поделиться не жалко. Начальник собрал конторских и торжественно представил нового работника. Напомнил о достижениях его сына. Коллективу приятно. Все, конечно, понимают, что проку от специалиста никакого. Так не впервой же. Без балласта не получается. Зато благодаря ему вроде как и к неведомым высотам поближе. Каждый вправе сказать: я, мол, с папашей центрального нападающего из «Торпедо» в одной конторе работаю. Команда в те времена в середнячках болталась. Но «Торпедо» есть «Торпедо»! В нём сам Стрельцов когда-то играл. Кстати, под тем же номером.

Желающих покрутиться возле знаменитости всегда хватает. Они как мухи над кучей варенья. Да и просто любопытных пруд пруди.

Заманили папашу в шашлычную. Водочку он позволял, но не курил — здоровье сына с детства берёт. Наши благородному примеру

не последовали, но оценили. Герой один, а вопросов тьма. Те, кто попроще и на имена падкие: «Видел ли живого Федю Черенкова? Видел ли Блохина? Что там про Эдика говорят? Правда ли, что это дочка турецкого дипломата к нему в постель залезла, или динамовцы специальную девицу подослали, чтобы потом изнасилование пришить?» Кто-то вспомнил, что и про дочку Фурцевой поговаривали. Сплетен много, но проверить-то хочется. Вдруг какая-нибудь правдой окажется?

А что он мог прояснить? На той злосчастной даче его не было. А врать не стал. Молодец!

Про заработки, конечно, спрашивали. Как же без этого. Думали, что лапшу на уши вешать начнёт. Ничего подобного. Признался, что платят не хуже, чем профессорам, премии за победы дают. Но кому и сколько — замаял.

Зато когда про договорные игры зашёл разговор — встал горой. Сплетни, мол, болтовня, всё по-честному, ребята костями за победу ложатся, а если не получилось, так на то она и игра: поле ровное, мяч круглый. Это на Западе, где большие деньги крутятся, там всякой грязи полно. А у нас тотализаторов нет, деньги маленькие, потому и корысти взяться неоткуда. Кого-то даже убедил.

Короче, зря поили.

Правда, перед тем как расходиться, намекнул, что сынишку в сборную могут взять. Может, и обещали парню, может, папаша прихвастнул — выпил всё-таки. Но лучше бы не заикался.

Потом ему эту сборную припомнили.

Первое любопытство утолили и перестали обращать внимание.

Сидит мужичок в ПТО, бумажки перекладывает. Дело, конечно, пустое, но и в пустом деле свои тонкости присутствуют. А человек в возрасте. Извилины гнутся со скрипом. Раз ошибся, два перепутал, три напортачил... Исправить, может быть, и не трудно, а в народе раздражение. Особенно в женском. Им до его футбола — как до Марса. Впрочем, и до Маркса так же далеко. Да ещё и свой мужик вместо концерта Пугачёвой футбол включает. Как тут не поворчать?

От нудной работы и тараканы на полати ползут, а человеку, если здоровье не позволяет бюллетенить, спасение только в курилке. Сам пусть и некурящий, зато коллектив заинтересованный и благожелательный. Кто-нибудь обязательно спросит, как там сынишка, какие новости в команде мастеров.

Дотянул до весны. Сезон открылся. Ждали обозу, а дождались навозу. Папаша надеялся, наверно, что люди подобреют, интерес подогреется. А вышло наоборот. Надежды юношей питают, отраву старцам подают — так вроде в школе учили.

«Торпедо» по телеку не показали — объясняй почему.

Сын на скамейке просидел — опять выкручивайся, причины выдумывай.

По воротам не попал — хорошую атаку испортил.

Пас не дал — позадничал.

Гол забил — с такой позиции любой колхозник не промажет.

Хоть в курилку не заходи. Так и в отделе покоя не дают. Бухгалтерша с претензиями подошла: спрашивает, почему сынишка за собой не следит, знал же, что по телевизору показывать будут, а вышел на игру с невымытыми волосами. Секретарша с издёвочкой заглянула: неприлично молодому человеку на виду у всей страны закрывать руками причинное место. Сборная проиграла — сразу припомнили хмельное хвастовство, и без ехидинки не обошлось: дескать, если бы вашего пригласили, совсем бы другая игра была.

Куда бы ни ткнулся, всюду офсайд. Года не продержался и уволился.

А мы, между прочим, не упустили случая похвастаться, что работали с ним в одной конторе. И год спустя, и два, и три.

е е т к ко е в н е ст ва

Вы знаете, где находится центр Азии?

Нет, не в Одессе, хотя говорят, что там на барахолке можно всё найти. Если вам предлагали — значит, обманывали.

Центр Азии принадлежит Туве. Я тоже не подозревал, но девушка просветила.

Небо закапризничало, и пришлось из Кызыла до Хову-Аксы добираться по земле. Дорога длинная, но всё лучше, чем в аэропорту маяться. Железную дорогу в Туве не проложили. Видимо, комсомольцев-добровольцев не смогли набрать. Автобус — колымага муторная, но деваться некуда. Бросил сумку на сидение и вышел покурить, до отправления минут десять оставалось. А когда вернулся, увидел на своём месте девушку. Надеюсь возле окна прокатиться, чтобы дорогу пейзажными красотами скоротать, но не требовать же у неё билет, не в моих правилах с дамами скандалить. А если она ещё и улыбается мне, так я вообще готов к труду и обороне.

Молодая и очень даже симпатичная тувинка. Впрочем, это не редкость. Удивила её разговорчивость. Сразу же представилась: «Меня зовут Анжеликой». — «А по-тувински как?» — спросил я. «И по-тувински — Анжелика Монгушевна. Мне нравится моё имя».

И ведь не просто болтушка. Она мне целую лекцию про Туву прочитала. Как по писаному шпарила, но от души, с горячей гордостью за родной край. Заслушался. Тут-то я и узнал и про географический центр Азии, и какой самый человечный человек их вождь Салчак Тока. Чтобы совсем профаном не выглядеть, похвастался, что имею понятие, где у них кобальт и асбест залегают, даже посильную лепту в добычу внёс. Ей этого мало показалось. Спросила, на что ещё обратил внимание, чего интересного заметил.

Сдуру ляпнул про министерство торговли. А я и впрямь развесялся, когда перед входом на базар увидел бревенчатую избу

с вывеской «Министерство торговли». Она немного смутилась, но, не теряя серьёзного достоинства, объяснила: «Это временное явление, в центре города уже строится современное здание, по первейшему слову техники: бетон, стекло, металл,— и все республиканские министерства в ближайшее время переедут в него». Формулировка от зубов отскакивала.

«А вы, наверное, экскурсоводом работаете?» — попробовал угадать. Но промахнулся.

Анжелика Монгушевна была комсомольским работником.

Едем дальше. Она говорит, я слушаю, автобус потрясывает на колдобинах, но дорога укорачивается.

По другую сторону прохода, чуть впереди, сидели два молодых тувинца. Один в форме — по всей вероятности, дембель, а второй в гражданском. Оба поддатые, особенно солдатик. От свободы и от родного воздуха любой захмелеет. Картинка до боли знакомая и понятная. Трезвый дембель — это всё равно что пьяный дегустатор. Всё бы ничего, но слишком громко объяснялись. Попутчицу слушать мешали. Были бы русские, можно было бы и одёрнуть, но местных призывать к порядку не совсем удобно. Я — гость, но и Анжелика Монгушевна не выдержала, прикрикнула на правах хозяйки, чтобы вели себя прилично. Даже внимания не обратили, балаболят, не сбавляя оборотов. Тогда уже и я попросил не мешать людям. Какой-то мужик с хриплым голосом вообще выкинуть пригрозил. Не подействовало. Как об стенку горох. И главное, непонятно, то ли они встрече радуются, то ли скандалят. Чем дальше, тем громче. Больше часа надоедали. Наконец дембель увидел своё село. Встал и уже по-русски: «Он у меня перчатку обокрал!»

Народ зашикал на него. Мало того, что болтовнёй задолбал, так ещё и на человека напраслину возводит. Сам, поди, по пьяни потерял, а теперь виноватых ищет. Кричат, чтоб проваливал, чтоб рейс не задерживал. А он не выходит, бубнит: «Он у меня перчатку обокрал».

Мужик, который одёрнуть их пытался, не выдержал, встал и вытолкал парня из автобуса. Водила сразу же дверь закрыл. А дембель ладонью, что без перчатки осталась, колотит по раме, кричит что-то, глаза сузились, губы побелели. Водила по газам — и вперёд.

Едем дальше. В автобусе тишина. Даже Анжелика примолкла.

Я случайно скосил глаза и увидел интересную картинку. Сосед обруганного и вытолканного дембеля натянул на руку перчатку и нежненько поглаживает её. Я толкнул девушку и показал пальцем. Она сначала побледнела, потом вспыхнула.

«Какой стыд, — прошептала и, немного помолчав, добавила: — А что же вы хотите? Тува присоединилась к Советскому Союзу только в сорок четвёртом году, вот они, мрачные пережитки кочевничества, но мы с этим боремся и обязательно искореним».

Я начал успокаивать, говорить, что воруют не только бывшие кочевники.

Она хмурилась, молчала, потом громко, на весь автобус, объявила срывающимся голосом: «Вон сидит негодяй, который действительно украл перчатку. Товарищ шофёр, я прошу вас помочь мне на ближайшей станции сдать его в милицию».

Водила пообещал. Даже добровольные помощники вызвались. Но не понадобились. Несчастный в перчатке на левой руке не оправдывался и не сопротивлялся.

Сдали и успокоились.

А через пятнадцать лет в Туве вызрели такие сложности, такие пережитки... До стрельбы доигрались.

Бедная Анжелика Монгушевна! Как она это пережила? Если, конечно, до того не уехала на повышение в Москву.

Александр « ербаков

Побольше гордости!

В пору нашей литературной молодости наставники часто приводили нам строки Бориса Пастернака: «Кавказ был весь как на ладони и весь как смятая постель». В качестве образца предельно точного художественного сравнения. Чуть позднее почти образцовым стало и сравнение Андреем Вознесенским чайки в небе... с плавками летящего ангела. Несмотря на очевидное кощунство. И молодые поэты должны были стремиться к чему-то подобному. Помню, мой коллега из местных сравнил колос ржи с... львиной лапой и очень гордился этим.

А когда я на одном семинаре встал и с крестьянским здравомыслием спросил: «Допустим, Кавказ похож на постель — ну и что? Чайка на плавки, колос на звериную лапу — ну и что?» — меня обвинили в тупости и глухоте.

Между тем классики в употреблении «сложных» метафор-сравнений весьма сдержанны. И если прибегают к ним, то не ради того, чтобы отметить внешнее сходство чего-то с чем-то, а ради более точного выражения чувства и смысла, ради одухотворения окружающего мира. У Александра Пушкина о буре: «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». У Сергея Есенина о затурканных нуждой и смутой крестьянах: «Они, как отрубь в решете, средь непонятных им событий». У Николая Заболоцкого о старой супружеской чете: «И только души их, как свечи, струят последнее тепло». Без вычурности, просто, органично и весьма многозначительно — в добром смысле этого слова.

Но даже такие «явные» и скрытые сравнения у классиков довольно редки. Они для них далеко не главное средство художественной выразительности. А что же главное? Пушкин сказал прямо: «Поэта делает эпитет». То есть яркое, образное определение. Сам Пушкин следовал этому правилу неукоснительно. У него почти нет банальных или случайных эпитетов. Они, как правило, новы, точны и выразительны. Ко многим мы с вами просто привыкли, как к «постоянным эпитетам» из народных песен, былин и сказаний. Но попробуйте взглянуть свежим глазом и прислушаться свежим ухом: «От финских хладных скал...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Или, наконец, вот это, ради чего я горожу весь огород: «И гордый внук славян...»

Да, только так: «гордый внук славян». Не в смысле — обуянный гордыней, а в смысле — прямой, с чувством самоуважения и человеческого достоинства.

Думается, Пушкин перебрал дюжину эпитетов, но остановился на этом «гордый», оказавшемся самым верным, на его взгляд. Единственно точным. А разве не так? Разве не эту черту, наряду с патриотизмом и удалью, нестяжательством и любовью к справедливости, отмечаем мы среди главных у наших национальных героев и просто ярких исторических фигур, запечатлённых народной памятью? Вспомним того гордого, непокорного стрельца петровских времён, шагнувшего на эшафот со словами: «Отойди, Государь, здесь моё место!» Вспомним «архангельского мужика» Михайлу Ломоносова, что ответил графу Шувалову, вздумавшему пошутить над ним: «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве не отымет». Или того же Пушкина, прямо признавшегося самому царю: «Я был бы с ними... на Сенатской площади». Вспомним Ивана Сусанина, протопопы Аввакума Петрова с боярыней Феодосией Морозовой или Дмитрия Менделеева, величайшего учёного и горячего патриота, даже не избранного в Академию за эти «излишние» русские прямоту и патриотизм.

Да, «гордый внук славян»...

И если у иных народов родилась мудрость: «Лучше быть живым псом, чем мёртвым львом» (зверь явно не из русского пейзажа), — то у нашего в почёте другой нравственный выбор: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Или, как изрёк новгород-северский князь Игорь, обращаясь к «полку» перед сечей: «Лучше убитому быть, чем полонённому быть...»

И об этом знает весь мир. Недаром Бисмарк когда-то сказал, что «русского солдата мало убить, его надо ещё повалить». А вспомните казачьего есаула Филиппа Миронова, сперва смело бросившего царским сановникам, скорым на расправу с недовольными: «Готов снять чины и ордена, но жандармом не буду!» — а позже, будучи уже красным командиром, с не меньшей «дерзостью» заявившему советскому вождю: «Именем революции требую прекратить политику истребления казаков!» И это в тот момент, когда генерал Краснов обещал за его голову четыреста тысяч золотом, а комиссар Троцкий призывал первых встречных пристрелить его, «как бешеную собаку». И оба — за веру в свой народ и приверженность «народному самодержавию»...

А сколько напрашивается примеров из времён Великой Отечественной, да и новейшей истории! Достаточно упомянуть, положим, генерала Дмитрия Карбышева (военного инженера из белых), превращённого в Маутхаузене фашистами в ледяной столб, но отказавшегося служить врагам. Или московскую девочку-школьницу Зою Космодемьянскую, внучку священника, добровольно ставшую партизанкой, которая после лютых мук, принятых от захватчиков, сказала жителям Петрищева: «Русский народ всегда побеждал, и сейчас победа будет за нами», — а с петлёй на шее бросила извергам:

«Всех нас не перевешаете, нас сто семьдесят миллионов! А за меня вам отомстят наши товарищи!»

Иные скажут: ну, это война, это история... Однако в жизни всегда есть место не только подвигам, но и просто порядочным, гордым поступкам. И, слава Богу, у нас ещё немало людей, способных на эти поступки. Взять хотя бы писателя-фронтовика Юрия Бондарева, гордо отказавшегося от награды из рук новых правителей, разрушителей великой Державы. Или талантливого артиста, бывшего детдомовца, ставшего последним министром культуры в Советском Союзе, Николая Губенко, который, как я недавно читал, брезгливо отклонил предложение сыграть роль Георгия Жукова, маршала Победы, с... «постельными сценами» в очередном фильме пакостников — очернителей прошлого, хотя ему сулили за это гонорар аж в семьсот пятьдесят тысяч «баксов»...

Да, «гордый внук славян» И, повторим, отнюдь не потому, что спесив, самовлюблён, одержим греховной гордыней, а потому, что превыше всего ставит честь, достоинство, справедливость. И что бы ни сочиняли ныне лукавые щелкопёры о «рабской душе» русских людей, как бы ни обзывали их «детьми Шарикова», косорукими «дармоедами» и «оккупантами» — жив он, «гордый внук славян». Ему по-прежнему чужда сатанинская гордыня, он по-прежнему просто-сердечен и простодушен, но это не значит, что у него нет гордости. Да, согласимся, чувство это было искусственно принижено и частично придавлено в нём. Ведь семьдесят с лишним лет он без передыха тянул колымагу интернационализма, впоследствии, как оказалось, никому не нужную, «сидел» на постной соломе, уступая отборный овёс красовавшимся пристяжным, понатёр в пути плечи и растерял подковы, но его ещё рано списывать на живодёрню. Тут надежды вьющихся над ним оводов, слепней и прочего гнуса неоправданно оптимистичны. Он не загнанная кляча, а лишь укатанный на горках Сивка-Бурка и утомлённый Холстомер, который при добром уходе ещё покажет свою летящую рысь, свою русскую иноходь.

Тому порукой — картина текущих дней. Ведь и сегодня, в «рыночные» времена, разве не он же, не русский, не славянский «коняга», тянет главную лямку на тощей пашне, редком заводе, в воинском строю на суше и на море?

Пока ушлые ребята из числа советников, экспертов и серых пиджаков офисного планктона с мушиной быстротой плодят сомнительные экономические прожекты, сводящиеся в основном к перераспределению дармовых, ранее созданных благ (да ведь и сам рынок — это вовсе не производительная сила, но лишь инструмент распределения продукта), рабочий, трудящийся человек, а в России это на восемьдесят пять процентов русский человек, «доит, пашет, ловит рыбицу», куёт, строит, печёт и варит. И уже ясно как день, что спасение наше придёт не от чудодейственных программ и указов, а именно от этого кропотливого, ежедневного созидательного труда. От мастерства

и умения, которых не занимать россиянам, и не в последнюю очередь — «гордому внуку славян».

Кажется, это начинают понимать наши мудрые поводыри разных рангов, погрязшие было в политических сваргах, дворцовых интригах и пустых, безответственных речах. Даже на самом верху озаботились вдруг дефицитом толковых инженеров, механиков и задались вопросом, как поднять престиж рабочих профессий. И уже звучат ответные предложения, что, может, стоит для молодых ребят, выбравших рабочие специальности, утвердить систему поощрений. Или, например, возродить движение наставничества, какое было в советские времена. Что ж, неплохо, наверное, поразмыслить и над этим.

Но главное, думается, — надо срочно что-то менять в системе, так чтобы она нуждалась не в бесправном и полуграмотном рабе, завезённом извне, готовом жить в скотских условиях и работать за гроши, а была прямо заинтересована в настоящем мастере. Своём, отечественном, русском Левше, знающем, смекалистом и умелом, который способен гарантировать качество самого высокотехнологичного продукта, но, конечно, требует и соответственного уважения к себе и к своему труду.

А без этого уважения, морального и материального, мы мастера-умельца не воспитаем, не удержим в стране, и все наши разговоры об инновациях-модернизациях останутся блефом. В том числе — и в сфере «оборонки», какие триллионы рублей ни вколачивай в неё. Ведь если верны данные нынешних социологических опросов, согласно которым почти две трети призывников заявляют, что они не будут воевать с оружием в руках за «эту страну», то мы имеем дело просто с катастрофой. И корни её — в многолетнем унижении человека труда, рабочего класса, «гегемона», нагло превращаемого в посмешище рыночными властями и продажными борзописцами. Так что начинать придётся не только с закачки средств, но и с пробуждения национального самосознания народа, прежде всего — «гордого внука славян». С возвращения ему чувства человеческого достоинства, самоуважения, самостояния и гордости за своих предков и современников, за свою страну.

А возрождение этих чувств и черт неразрывно связано с воспитанием, с привитием трудолюбия, тяги и уважения к мастерству. Ибо не зря говорят в народе, что мастер — везде властен.

Бывший главный приватизатор советского имущественного наследия и ярый ненавистник духовного, как-то выступая перед своими однопартийцами, единомышленниками и подельниками, дал им «нажитый» совет: «Побольше наглости!» Нам же с вами, дорогие радетели и печальники России, пришла пора обратиться к собратьям с призывом: «Побольше гордости!» А если иные напомним, что главная добродетель православного — всё-таки смирение, то согласимся с ними в смирении перед Господом и ближними, но не перед недругами же Отечества!

Авторы



Астафьев Виктор Петрович (1924–2001) родился в деревне Овсянка Красноярского края, в семье крестьянина. Родители были раскулачены, Астафьев попал в детский дом. Во время Великой Отечественной войны ушёл на фронт добровольцем, воевал простым солдатом, получил тяжёлое ранение. Вернувшись с фронта, Астафьев работал слесарем, подсобным рабочим, учителем в Пермской области. Первая публикация — в 1951 году. В 1959–1961 годах учился на Высших литературных курсах в Москве. В 1978 году — лауреат Государственной премии СССР за повесть «Царь-рыба». С 1980 года жил и работал в Красноярске. Лауреат Государственной премии России.



Астраханцев Александр Иванович родился в 1938 году в деревне Белоярка Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького (Москва). С 1959 года живёт в Красноярске, более двадцати лет проработал на стройке — от мастера до заместителя начальника Красноярского домостроительного комбината. Первая книга вышла в 1978 году. В 1981 году принят в Союз писателей. Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ.



Булава Иван Антонович — президент Ассоциации судовладельцев Енисейского бассейна; родился 16 сентября 1938 года в деревне Слобода Петриковского района Гомельской области Белорусской ССР; окончил с отличием Омское речное училище по специальности «Судовождение на внутренних водных путях», Новосибирский институт инженеров водного транспорта; с 1959 года работал в Енисейском речном пароходстве, начинал с должности третьего штурмана ледокола «Енисей» Игарского речного порта, был инженером-механиком, капитаном судна; 1975–1981 — начальник Красноярского речного командного училища; 1981–1983 — заместитель начальника Енисейского речного пароходства по кадрам; 1983–1987 — инструктор отдела транспорта и связи Красноярского краевого комитета КПСС; 1987–1995 — заместитель начальника Енисейского речного пароходства; 1995–2003 — генеральный директор АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск); заслуженный работник транспорта России (1997); награждён орденом Почёта (1995). Член Союза писателей России.



Булевич Тамара Анатольевна родилась в Казахстане, в казачьей станице Пресногорьковке. Окончила факультет

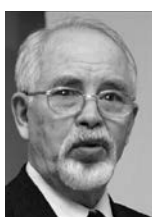
журналистики Уральского государственного университета. В Красноярске живёт с 1977 года. Член Союза писателей России, общественной Академии российской литературы, Международного Союза писателей «Новый Современник», творческого клуба «Московский Парнас». Лауреат международной литературной премии и Золотой медали имени Константина Симонова, лауреат «Московского Парнаса» в номинации «Проза», серебряный лауреат международного конкурса «Лучшие публикации за 2008 год» в номинации «Проза».



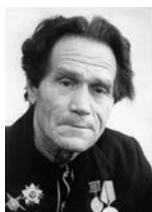
ВАЛЕЕВ МАРАТ ХАСИМОВИЧ родился в 1951 году в Красно-турьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятёрыжск в целинном Казахстане. В профессиональной журналистике с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области. Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). Работал в газете «Советская Эвенкия». Без отрыва от основной работы написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов, миниатюр, фельетонов. Член Союза российских писателей, автор нескольких сборников.



ЗАМЫШЛЯЕВ Владимир Иванович, 1938 года рождения, работает в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени М. Ф. Решетнёва с октября 1991 года. Он формировал гуманитарный факультет вуза в трудный период реформирования страны и системы образования и был деканом факультета с 1991 по 2003 год. За успешную научно-образовательную и культурную деятельность профессору В. И. Замышляеву присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Федерацией космонавтики России он награждён почётной медалью имени К. Э. Циолковского. Член Союза журналистов России, Союза писателей России.



ЗЫКОВ Владимир Павлович родился в 1935 году в посёлке Лесотехникум на Вятке. Окончил Горьковский (Нижегородский) государственный университет. Филолог. Работал в районных, городских и краевых газетах Алтайского и Красноярского краёв. В последние десять лет перед выходом на пенсию — главный редактор Красноярского книжного издательства. Автор нескольких краеведческих книг. Участник строительства Красноярской ГЭС. Лауреат премии комсомола Красноярского края. Автор пяти книг стихов. Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.



КОВАЛЕНКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ (1923–2013) родился в Ужурском районе Красноярского края. Участник Великой Отечественной войны, инвалид ВОВ 2-й группы. Имеет шесть боевых орденов и медалей. Вернувшись домой, всю жизнь прожил на станции Крутояр Ужурского района Красноярского края и сорок семь лет проработал на Красноярской железной дороге. Ветеран труда; имеет трудовые награды. Писать стихи и публиковать их в газетах начал со школьной скамьи, с довоенных лет. Автор семнадцати поэтических сборников. Много печатался в центральной и краевой прессе. Член Союза писателей России. С 2010 года жил в Красноярске.



Кузнецова Зинаида Никифоровна родилась в Воронежской области. В Сибири живёт с 1966 года. Стихи и рассказы печатались в городских, краевых и центральных газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», в коллективных сборниках «Антология поэзии закрытых городов», «Поэтессы Енисея», «Поэзия на Енисее». Издано семь поэтических книг. Руководитель городского литературного объединения «Родники». Член Союза российских писателей. Живёт в Зеленогорске.



Кузнечихин Сергей Данилович родился 14 июля 1946 года в посёлке Космынино, под Костромой. После окончания химфака Калининского политехнического института уехал в Свирск, потом перебрался в Красноярск. За двадцать лет работы инженером-наладчиком изъездил Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки. Выпустил поэтические сборники: «Жёсткий вагон» (1979), «Поиски брода» (1991), «Похмелье» (1996), «Неприкаянность» (1998), «Ненужные стихи» (2002), «Местное время» (2006), «Дополнительное время» (2010) — все в Красноярске, — и четыре книги прозы: первую («Аварийная ситуация») — в издательстве «Советский писатель» в 1990 году, затем «Омулёвая бочка» (1994), «Где наша не пропадала» (2005), «Забавный народ» (2007) — в Красноярске. Печатался в «Литературной газете», в журналах «Дальний Восток», «Сибирские огни», «День и ночь», «Наш современник», «Зарубежные задворки», «Киевская Русь», «Арион», «Дети Ра» и др. Член Союза российских писателей.



Матвейчев Александр Васильевич родился 9 января 1933 года в Татарстане, в деревне Букени. С 1959 года живёт в Красноярске. Окончил Казанское суворовское (1951) и Рязанское пехотное (1953) училища. Лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и в Прибалтике. После демобилизации (1955) учился в Казанском авиационном и Красноярском политехническом институтах (1956–62). Инженер-электромеханик. Был рабочим, инженером, главным инженером НПО и директором предприятия. В семидесятые годы более двух лет работал на никелевом комбинате на Кубе. После выхода на пенсию в 1993 году был журналистом и пресс-секретарём, переводчиком с английского и испанского, помощником депутатов Госдумы и Законодательного собрания Красноярского края. Посетил несколько стран ближнего и дальнего зарубежья. Первые рассказы опубликовал в 1959 году. Член Союза российских писателей, автор нескольких книг стихов и прозы.



Нестеренко Владимир Георгиевич — член Союза журналистов СССР, Союза писателей России. Печатался в ряде журналов, альманахов и коллективных сборников, изданных в Туве и Красноярске, автор более десяти повестей и романов. Три книги для детей и юношества напечатаны ещё при советской власти. Трилогия «Перекасти-поле» о судьбе поволжских немцев опубликована в библиотеке журнала «Енисей» в 2006 году. В 2008 году трилогия издана в Москве. В 2009 году в дополненной редакции трилогия в четвёртый

раз издана в Красноярске и переведена на немецкий язык в Германии. В 2006 году стал редактором и автором ежегодного альманаха «Истоки». Автор детских литературных порталов «БрайлЛенд» и «Я САМ» Международного творческого объединения детских авторов (МТО ДА). Живёт в селе Сухобузимское Красноярского края.



Пшеничников Виталий Фёдорович родился 1 марта 1948 года в лесопункте Хабайдак Уярского района Красноярского края. Выпускник юридического факультета КГУ, работал следователем прокуратуры города Канска, прокурором Новосёловского района, с 1985 года по декабрь 2009 года — судьёй федерального суда Советского района Красноярска. Находится в почётной отставке. Член Союза писателей России с 2009 года. Публиковался в альманахах «Московский Парнас», «Новый Енисейский литератор», журналах «Приокские зори», «День и ночь». За литературную деятельность в 2005 году награждён дипломом и медалью имени Альберта Швейцера «За гуманизм и служение народу» Европейской академии наук города Ганновера в Германии. В 2010 году за романы «Река жизни» и «Войну не оставить за порогом» награждён международным дипломом и Золотой медалью конкурса имени Валентина Пикуля. Лауреат альманаха «Московский Парнас» за 2008 год. Призёр литературного конкурса малой прозы «Триумф короткого сюжета» в номинации «Пространство времени». Ветеранскими организациями войны в Афганистане, Союза десантников России за воспитание мужества и патриотизма в произведениях награждён медалями: «15 лет вывода советских войск из ДРА», «За мужество и гуманизм», «За верность долгу и отечеству», «К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерала Маргелова».



Пырьх Виталий Петрович родился в 1944 году. Выпускник Запорожского металлургического техникума и Уральского государственного университета. Журналист с 45-летним стажем. Автор нескольких книг стихов и пародий. Живёт в Красноярске.



Рождественская Лидия Игнатьевна родилась в Красноярске, в семье известного сибирского поэта Игнатия Дмитриевича Рождественского (детдомовского учителя В. П. Астафьева). Заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов России, руководитель «Творческой мастерской Лидии Рождественской». В 1973 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии; кинодраматург. Работала главным редактором художественного вещания Красноярской государственной телерадиокомпании. Автор и ведущая многочисленных телевизионных программ. Получила Гран-при международного телефестиваля «О женщине с любовью» за цикл передач «Просто женщина». Автор более двадцати документальных фильмов («Сакман в школьном расписании», «И внукам передать», «Несколько дней из жизни Семёновны», «Воспоминание об отце» и др.). Живёт в Красноярске.



Русаков Эдуард Иванович родился в 1942 году в Красноярске. Выпускник Красноярского медицинского института и Литературного института им. Горького. Работал врачом-психиатром, редактором на студии документальных фильмов, корреспондентом СМИ. Печатается с 1966 года. Автор более десяти книг прозы. Публикует прозу в журналах «Знамя», «Юность», «День и ночь». Произведения переведились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский и японский языки. Заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Член Союза российских писателей, международного ПЕН-клуба.



Саввиных Марина Олеговна родилась в Красноярске 9 декабря 1956 года. В 1978 году окончила с отличием факультет русского языка и литературы Красноярского педагогического института (ныне — университет им. В. П. Астафьева). Стихи, проза, публицистика печатались в журналах и альманахах «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Москва», «Дети Ра», «Крещатик» и многих других. К началу XXI века — семь книг стихов и прозы. Множество статей о творчестве современных сибирских писателей, предисловия и послесловия к всевозможным сборникам. Лауреат Фонда Астафьева (1994), газеты «Поэтоград» (2010) и журнала «Дети Ра» (2011). Автор проекта и первый директор Красноярского литературного лица (1998–2012). С 2007 года — главный редактор журнала «День и ночь». Член Союза российских писателей. Член Президиума Международного Союза писателей XXI века.



Сергеева Екатерина Юрьевна окончила Красноярский государственный медицинский институт, лечебный факультет; Красноярский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков. Доктор биологических наук, доцент кафедры патологической физиологии Красноярского государственного медицинского университета. Публиковалась в журнале «День и ночь» (Красноярск), нескольких коллективных сборниках. В 2008 году вышла первая книга стихотворений «Маленькие кошки». Победитель конкурса «Пушкин. Лето. Красноярск» (2008) в номинации «Лучшее литературное произведение». Руководитель студенческого поэтического клуба Красноярского государственного медицинского университета «Альгер Эго». Живёт в Красноярске.



Сысолятин Геннадий Филимонович (1922–2003) родился в селе Окунево Тюменской области. Геннадий окончил Минусинское педучилище, работал учителем, заведующим начальной школой. В 1941 году добровольцем ушёл на фронт, окончил артиллерийско-миномётное училище, воевал на Донском, Сталинградском, Брянском и 1-м Белорусском фронтах, в 6-й гвардейской армии. Все послевоенные годы Г. Ф. Сысолятин занимается журналистикой, пишет стихи, изучает фольклор Хакасии. С 1956 по 1992 год Г. Ф. Сысолятин — штатный консультант, заместитель ответственного секретаря Хакасской писательской организации. За большой

вклад в развитие хакасской литературы в 1992 году награждён орденом Дружбы народов.



Третьяков Анатолий Иванович родился в 1939 году в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете ВГИКа, в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов России. Автор семи книг стихов. В Красноярске и крае известен как поэт-песенник, автор гимна Красноярска и многих других песен. Лауреат губернаторской премии Красноярского края. Член Союза писателей России.



Шалыгина Нина Александровна (1934–2013) родилась на Украине. Автор двенадцати поэтических сборников, шести книг прозы. Печаталась в «Антологии закрытых городов», журналах «День и ночь», «Енисей», коллективных сборниках. Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.



Шанин Владимир Яковлевич родился в 1937 году в селе Бирилюссы Красноярского края. Работал на Злобинской нефтебазе, в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш». После службы в армии окончил заочно Иркутский госуниверситет и аспирантуру Высшей школы профдвижения СССР при ВЦСПС в Москве. Работал в крайкоме профсоюза работников сельского хозяйства, в редакциях районных и многотиражных газет, в журнале «Енисей». Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», «Енисей», «День и ночь», в коллективных сборниках. Автор нескольких книг прозы, изданных в Красноярске и Москве. Автор романа-трилогии «Суриков, или Трилогия страданий» о великом русском художнике В. И. Сурикове. Составитель ещё не изданной «Енисейской летописи» (хронологического перечня важнейших дат и событий из истории Приенисейского края 1207–1917 годов). Член Союза писателей России. Живёт в Красноярске.



Щербаков Александр Илларионович родился в 1939 году в селе Таскино на юге Красноярского края. В различных вузах окончил с отличием факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, журналистом, редактором Красноярского книжного издательства. В 2003–2007 годах возглавлял Красноярское региональное отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, изданных в Москве и Красноярске. Печатался во многих журналах СССР и России. Заслуженный работник культуры РФ. Академик Петровской академии наук и искусств. Лауреат региональных и российских журналистских и литературных премий. Награждён медалью «За трудовую доблесть», почётными знаками «300 лет российской прессы», «100 лет М. А. Шолохову», «Золотое перо» и др. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Живёт в Красноярске.

